

№ 1 (79)

1997 г.

# Стрелец

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ



“СТРЕЛЕЦ”

№ 1 (79) 1997 г.

**Номера альманаха "СТРЕЛЕЦ"  
и книги издательства "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"  
(современная русская поэзия, проза,  
литературоведение, воспоминания)  
можно купить или заказать в магазине  
книжной торговли "У Сытина"  
Москва, Пятницкая ул., дом 73  
(проезд: метро "Добрынинская")  
Тел.: (095) 230-89-00  
(095) 237-36-11  
а также в литературном салоне  
АХМАТОВА  
(музей-квартира Ардовых)  
Москва, Большая Ордынка, дом 17, кв. 13  
(проезд: метро "Третьяковская")**



№ 1 (79)

1997 г.

**АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"



Москва



Главный редактор — Александр Глезер

Зам. главного редактора — Анатолий Кудрявицкий

**Редакционная коллегия:**

Василий АКСЕНОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ,  
Дмитрий БОБЫШЕВ, Георгий ВЛАДИМОВ,  
Виктор ЕРОФЕЕВ, Вадим КРЕЙД,  
Виктор КРИВУЛИН, Юрий КУБЛАНОВСКИЙ,  
Алла ЛАТЫНИНА, Генрих САПГИР,  
Николай ФИЛИППОВСКИЙ, Сергей ЮРЬЕНЕН

Publishers:

Third Wave Publishing House

**Адрес редакции:**

121552, Россия, Москва, Г-552,  
Ельнинская ул., д. 19, кв. 7

Телефон:

(095) 141-12-43 (с 13 до 16 часов)

К сведению уважаемых авторов!

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать поступившие рукописи, а также рассматривать материалы объемом более четырех авторских листов.

Library of Congress Catalog Card No. 84-8582

ISSN: 0747 — 7287

## ОТ РЕДАКЦИИ

Последние годы нашего века — годы юбилеев. Два года назад мы отмечали двадцатилетний юбилей “бульдозерной выставки”, в 1996 году — двадцатилетие нашего издательства “Третья волна” и монжеронского “Русского музея в изгнании”, в 1997 году грядет тридцатилетие выставки в клубе “Дружба” на шоссе Энтузиастов и сорокалетие русского неофициального искусства.

Настоящий номер “Стрельца” в связи с этим — юбилейный. Надеемся, что наши юбилейные материалы — например, воспоминания Оскара Рабина — вызовут у вас не меньший интерес, чем повести, рассказы и стихи.



Москва, 24 декабря 1996 г. Государственный литературный музей.

Вечер двадцатилетия “Третьей волны”.

Слева направо: Генрих Сапгир, Валерия Нарбикова, Лев Аннинский, Александр Глезер, Анатолий Кудрявицкий



*Александр Кушнер*

## НОВЫЕ СТИХИ

\*\*\*

Я сам свой создал век, — так он сказал, и в этом  
Согласны были с ним и звездный наш поэт,  
И тысячи солдат, за ним встававших следом  
Из гроба по ночам, кователи побед.

Но сердцу все равно понятнее прозаик,  
Поставивший его на место в мировой  
Сумятице, творец эпических мозаик, —  
И слово-то ему не нравилось: герой.

Поэзия несет убытки, да какие!  
Упрямец, вижу их на собственных стихах.  
Но звезды ни при чем, — осколки золотые,  
И жизнь не для того дана, чтоб жить в веках!

## РАДОСТЬ

Радость — это редкость и, в отличие,  
Например, от счастья, — прихотлива.  
Что-то в дорогом ее обычае  
Есть от музыкального мотива,  
Жмущегося к сердцу, дело случая!  
Как сказал один, любимый мною  
Автор: тело зыбкое, текучее —  
Радость, а не твердое, сплошное.

Вздутости, холмистости, покатости,  
Весело пружинящие сходни...  
Извини, что речь идет о радости.  
Как бы и не принято сегодня  
Говорить о ней; вчера, наверное,  
Было можно? Мы не догадались.  
Сходней проседанье характерное, —  
Шли по ним гуськом и улыбались.

Виноват. Взаимные любезности,  
Вежливости. Руку подавали,  
Может быть, любовь к открытой местности?  
Ветреные, пасмурные дали?  
Ласкова земля, необитаема.  
Счастье, то есть вечная тревога  
За него, еще страшит цена его.  
С радости нет спроса: ради бога!



*Сергей Юрьенен*

## ДОЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Глава из романа

\*\*\*

В Москве из Центрального телеграфа Александр переместился в Центральный Дом литераторов.

Между кафе, где можно было писать на стенах эпитафии, и Дубовым залом — нечто вроде бара. Он сел к стойке, заказал. Несмотря на безразличный вид немолодой, но крепкой барменши, все считали ее стукачкой, и доверительные разговоры за этой стойкой не велись. Налив в стакан сто грамм водки, она сняла с полки яркую банку греческого сока.

- Апельсинового нет?
- Только грейпфрут.
- Что ж...

Барменша стала наносить по жести удары шилом с намозоленной рукоятью. Подсел литератор, глянул: “Цивилизация, да? Это как в конце той книги”. — “Имеется в виду “Процесс”?” — “Нет, “Москву—Петушки”. Неужели не читали? Лучшее в самиздате”. Заказав то же самое, литератор поднял стакан:

- Ну... За успех предприятия.
- Какого?

— Ладно вам. Все знают, что вы оформляетесь к жене во Францию. Надолго убываете?

— Два месяца попросил.

— Это как раз в Безбожном переулке писательский дом начнут заселять. Так что вернетесь прямо к новоселью. Что, не в курсе? Трехкомнатную получаете. Ваша фамилия в начале списка. И хрустнул шейей вверх, имея в виду второй этаж, где располагалось руководство Московской писательской организации.

— Я на расширение не подавал.

— Вот видите? Другие подают всю жизнь. Надежды, значит, возлагаются на вас.

— Какие могут быть надежды...

— Вам лучше знать.

Глядя в стакан, Александр кивнул.

— Не печататься ни здесь, ни на Западе, но писать в свой стол как можно больше, лучше и острее. В терпеливом ожидании Годо.

— Годо не Годо, а нетерпение к добру не приводит. — И, бросив взгляд на барменшу, литератор понизил голос, назвав имя последнего по времени невозвращенца, критика. — Еще не знаете?

— О чем?

— Достали его.

— То есть?

— В лепешку смяли. — С изометрическим усилием вздувая бицепсы, он сжал ладони. — Меж двух грузовиков. Те его пытались вывезти из Югославии, но наши пресекли.

— Я думал, он давно в Америке.

— Нет. — И повторил малолитераторский жест. — В лепешку. Вместе с женой. Так что давай-ка — за помин души...

\*\*\*

Сопrotивляясь коварному обаянию оратора от компартии, она напоминала себе, что галстук ему, как обычно, завязала мать. Превращенный акустикой дворца в гиганта, творящего Историю, отец говорил в микрофон таким низким, хриплым, грудным, таким *испанским* голосом, что при всех своих мирах и языках она тоскливо переживала глубинную свою непринадлежность ничему. Безродная космополитка. Но благодаря кому?

— Победа демократии в Испании. — гремел он, — это и наша победа. Считая гражданскую войну, за эту победу мы боролись ровно четыре десятилетия. В Мадриде и Мехико, в Барселоне и Москве, в Лондоне, Гамбурге, Цюрихе и здесь, в Париже, внутри и снаружи, в изгнании и в стране мы неизменно ощущали себя частью большого мира, идущего к свободе. Партией в изначальном смысле слова... Частицей целого! — Он поднял кулак. — Да здравствует коммунизм!

Это был не Кремлевский Дворец съездов, где “долгие и продолжительные” автоматически переходят в овации, это был Париж, причем не Левый берег, а реакционный Правый, — но зал взорвался. В полном экстазе отбивая себе ладони, ряды поднимались за рядами. Под недоуменно-угрожающими взглядами соседей оторвались от кресел Тео, Палома, Рамон. Поставив на сдвоенные подлокотники Анастасию, встала и она — старшая и, как ей до сих пор казалось, любимая из четырех детей товарища Висенте, свинопаса, флейтиста в муниципальном оркестре, команданте Народной армии, последнего защитника Мадрида, отличника Высшей школы Коминтерна, Сталиным лично выбранного и отправленного вместе с Пасионарией возрождать в подполье партию, самого рискованного члена парижской группы, “исторического лидера”. Отец стоял на сцене с поднятым кулаком и вылезшим на лацкан воротником рубашки.

Рамон перекричал свои хлопки:

— Знала бы ты, как было в Швейцарии!

О Швейцарии не давали забыть новые часы на металлических браслетах, которые бились о запястья Тео и плотно обжимали руку Рамона. Она не знала, как было в Швейцарии, но, судя по дыханию, Рамон еще не избавился от гастрита, который вместе со своей Оксаной вывез из Москвы.

— Они с Долорес собирали стадионы! Как звезды рока!

Не создай себе кумира, сказала бы Инес, но в случае Рамона поезд ушел, что он и подтвердил, когда толпа заклонила их между рядами:

— Оксана упирается, но я тоже намерен завязывать с Парижем. Пора делать выбор, падре прав...

Она только усмехнулась, вспомнив, как учила его читать по-испански — в Варшаве, по переводной советской книжке “Первоклассница”.

С большой, тяжелой, слишком белой дочерью на руках Инес проталкивалась к выходу в фарватере отца, к которому рвались с его последней книжкой за автографом или просто пожать руку, что в испанском варианте сочетается, к несчастью для сердечника, с ударами по спине. Где же мать? Издалека махнула рукой Палома, уводимая французским мужем на бракоразводный процесс. Братья, вынужденно превратившись в телохранителей, сдерживали напор “камарадос”, местных испанофилов, а также журналистов, которых оказалось столько, что на ступенях отцу пришлось остановиться для импровизированной пресс-конференции, по ходу которой нельзя было не отметить физической подготовки советских корреспондентов: отец улыбался им, каменнотолчком, которых только за внешний вид можно сразу объявлять персонами нон грата с немедленным выдворением за пределы.

Мать нашлась среди японцев. Обняв себя под накинутой кофтой, мать любовалась с эспланады открыточным видом на фонтаны и Эйфелеву башню за блистающей на солнце Сеной. Она косо глянула на красно-желто-красный, *монархический* флажок, который засунули в нагрудный карман “моно” Анастасии не разбирающиеся в испанских

тонкостях французы-энтузиасты. Мать признавала только флаг республики, которой не стало в 39-м.

— Представляешь? — Нервный смешок. — Я с восемнадцати лет в Париже, а в Мадриде не была.

— Даже во время войны?

— Нет. Мы сражались в Каталонии.

Отца и камарадас из исполкома Гомес повез на партийной машине, за ними мать, Оксана и Рамон на “ситроене”, потом на студенческой “симке” Эстер и они с Тео — заговорщики. Кавалькада устремилась к набережным. Миллионы сюжетов пронизывали город, но ей, Инес, в Париже был задан этот проклятый испано-русский, из которого не вырваться, разве что открыть дверцу и вывалиться на полном ходу.

— *Вон\**, — заговорил Тео, — за Пиренеями дела у нас в порядке. А на Восточном фронте? — В ответ на молчание он сменил тон. — Насчет посадить, конечно ерунда. Но если его не выпустят?

— Отец сказал однажды: “Я не могу ничего вам дать, кроме моего имени. Пользуйтесь им”. Вот я и воспользуюсь.

— Как?

— Приглашу журналистов и чучело сожгу перед посольством.

— Какое чучело?

— Советского генсека. Представляешь сенсацию?

Эстер бросила на нее взгляд в зеркальце. Их это совсем не рассмешило, парижан хотя и юных, но отнюдь не образца 68-го года.

\*\*\*

Александр допивал третий стакан цэдээловского скрюдрайвера, пищеводом чувствуя, как поднимается кислотность от историй про советских невозвращенцев.

“Длинная рука” их доставала всюду. Их выбрасывали из небоскребов, заливали в фундаменты домов, топили в бочках, а в расчлененном виде — в чемоданах, которые стоят на дне всех европейских рек от Темзы до Дуная голубого. В последнее время, говорил осведомленный литератор, упор на автомобили. Специальные автокомандос смерти размазывают их по стенам, улицы там узкие — ты в Риге был — удобно очень.

Александр увидел себя отлипающим с парижской стены, как слой афиш. Картинку он растворил глотком.

— Я слышал, — сказал он, — что после Сталина победила другая школа мысли. Что работать надо чисто.

— Инфаркты делать? Завсегда. Как этому устроили, певцу протеста.

— Он не невозвращенец.

— Невозвращенец, сука.

— Нет. Ему предложили по израильской.

---

\*Ладно (*фр.*).

— “Свободу” слушаем? Ничего, он допоеется. Конечно же, работать надо чисто. Но важен устрашающий эффект. Взять бегуна и на хуй зарубить.

— То есть?

— А топором бля на хуй. И лучше не на Западе, а здесь. Как говорится, превентивно. Да заодно с семьей. Тогда бы перестали, падлы, бегать от неизбежности русского ренессанса.

Александр допил до дна. Имея в виду контекст литературно-общественных споров той поры, когда скорлупу коммунизма стал изнутри поклевывать фашизм, он заметил:

— Вот это, наверное, критик Палиевский и называет *свиренный* реализм. Вы тоже из свирепых?

— Куда, куда вдруг? — Хватка была крепкой, из-под манжеты выглянул кончик змеиного хвоста — начало синей татуировки. — Марь Иванна, еще по одной! Сиди, говорю! Или не веришь в ренессанс? В русское наше возрождение?

Уронив на стойку мятые рубли, Александр вырвался.

— Ну сссс-мотри...

На улице невозвращенца Герцена было уже темно.

Александр поднял воротник и повернул налево, имея целью стоянку на площади Восстания и возвращение домой: зажечь повсюду свет, заглянуть за шторы, закрыться на цепочку и замки, — и на кухонный топчан, ухом к взятому напрокат транзистору: “Вы слушаете радио “Свобода” из Мюнхена...” Нет, почувствовал он, домой невозможно. И повернул назад, к неблизкому метро. Этика преступного намерения обзывала к самоизоляции, но страх, постыдный и неразстворимый алкоголем, толкал к себе подобным отбросам — писакам, художникам, разгульным инвалидам мирной армии, взрослым детям политэмигрантов, жертвам опрометчивых отцов, упорствующим в невыезде евреям-русофилам: здесь, мол, центр Апокалипсиса...

Напоив “бормотухой”, ему разложили раскладушку в прихожей на краю Москвы, где под brutальные звуки любви он отключился, ногами упираясь во входную дверь.

\*\*\*

Перед сном отец пригласил ее на прогулку.

Фонари озаряли пустыньность улицы имени французского соцреалиста. Листва еще держалась, но сезон бесповоротно кончился, и прокатная стоянка отпускных прицепов за сетчатой оградой была забита до следующих каникул, а ворота заперты на висячий замок.

Отец свернул на рю Эглиз — улицу Церкви. По обе стороны опущены до старых плит, где заперты, шторы лавок из рифленой жести.

— Дай мне сигарету.

— Тебе нельзя...

— Ерунда.

Он похлопал себя по карманам официального пиджака, и она решила дать ему прикурить от своей зажигалки.

— Я всегда знала, когда ты уезжал в Испанию.

— Разве?

— Знала, ты рисковал. Все-таки гаррота страшней, чем гильотина.

— Нет, — оспорил патриотически отец, — отрубленная голова живет четыре с половиной минуты, а тут умираешь сразу. Я не гарроты боялся, а допросов на Пуэрто дель Соль. Они...

— Я знаю. Вбивали в глотку все, что против них написано. Но ты возвращался. Каждый раз.

— Просто не совсем дурак был. Поэтому послушай, что я говорю. Когда-то я просил, чтобы ты не выходила замуж за русского...

— Не надо было посылать меня туда.

— Так получилось. Но сейчас пора все начинать сначала. Твоему поколению строить новую Испанию. Там ты станешь большим человеком. Министром. Хочешь? По делам женщин, например? И в мужчинах недостатка там не будет, в настоящих, *наших*... — Почувствовав, что тему лучше не развивать, отец сказал: — История дает нам шанс, которого потом не будет.

Улочка кончилась. Справа на пустыре запаркованы автобусы, натянут шатер бродячего цирка.

— Чего молчишь? Оставляем во Франции. Может быть, в Америку хочешь? Чего смеешься, делаем Америку. Куда угодно, только не в Москву. Надеюсь, что ты меня понимаешь?

У подножия холма была церковь, Нотр-Дам в миниатюре. Никогда в нее Инес не заходила, хотя всегда хотелось: несколько лет ходила мимо в лицев Дидро на вершине.

Еще затяжка, и сигарета выкурена до пальцев. Отец уронил огонек на сточную решетку.

— Как политик я не хочу иметь заложницу в Кремле.

Обогнув квартал, они вернулись к дому в излучении станции обслуживания, откуда отваливал очередной международный трейлер. На крыльце он обнял ее и отпустил, как оттолкнул:

— *Adios!*

В аэропорт Руасси она не поехала. Закрыв за ними дверь, вернулась в гостиную и пришла в себя семь сигарет спустя.

Погода была летная, прекрасное небо смотрело в давно немывое окно с опущенным каркасом, на котором трепыхались обрывки защитного козырька. Она сидела с ногами в драном кресле посреди невероятно грустной свалки, и в первую очередь хотелось выбросить газеты с крикливыми по-уличному заголовками: **“МОНАРХ-ДЕМОКРАТ? В ИСПАНИИ ЛЕГАЛИЗОВАНА КОМПАНИЯ!”** Она подобрала “Суар”. На вчерашнем митинге отец был снят в своем безотказном ротфронттовском салюте: **“АДЬОС, ПАРИЖ! “Товарищ” Висенте возвращается на родину!”**

В комнате матери раздался гневный рев, явилась Анастасия, нагая, румяная, потная со сна, и пнула пластмассовую бутылку из-под “эвиана”. “Я описалась”. Опустившись на колени, Инес обняла ее плотное тело. Дочь взревела с новой силой по поводу того, что ее Миша собирается уйти, потому что не может существовать в подобном бардаке: “Почему повсюду *мерзость попустения?*”

Накормив ее, Инес оторвала от рулона большой мусорный мешок и стала ходить по комнатам, подбирая с пола фото, на которых была она. Дочь сразу поняла принцип: “Ты ищешь себя?” — и стала помогать, потом исчезла и нашлась на пороге лоджии, через который перетаскивала лейку, наполненную до предела своих возможностей.

— Полить дедушкин садик, не то он умрет.

Октябрьское солнце озаряло крашеный красноватый цемент, вдоль перил стояли вазоны с помидорами, засохшими на палочках, а в дальнем углу из кадки торчало взращенное ностальгией Висенте деревце — три-четыре апельсина размером в мандарин среди листьев, закопченных смогом парижского “красного пояса”. Еще тут было кресло, когда-то недоехавшее до столицы мирового коммунизма: этакий топорно сработанный трон, в верхней части спинки вырезан герб СССР, окруженный безумно грустной надписью: **“ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ — ГОР-НЯКИ АСТУРИИ. 1937”.**

Виски заломило, а горло сдавило так, что, если бы не дочь, Инес бы разрыдалась. Затягиваясь из дрожащих пальцев “голуазом”, она в ожидании протестующих криков слушала, как разбивается вода во дворе семью этажами ниже, смотрела на дочь, которая пыталась оживить невозможное, на застроенный за годы ее отсутствия во Франции недалекий холмистый горизонт, на проступающую сквозь зелень крышу лица, на старую церковь под холмом. Оставив под присмотром этой церкви дочь, Инес вернулась в гостиную, прорезанную дымным лучом, сняла с торшера телефонный том и отправила в Москву телеграмму, продиктовав ее по буквам: **“ПРИЕЗЖАЙ КАК МОЖНО СКОРЕЙ”.**

Справившись с задачей, телефонист засмеялся.

— Пардон, мадам, но этого не расшифруют даже в Си-Ай-Эй.

Зато *товарищи* поймут, подумала Инес.

— Как подписать?

Не учесть волеизъявление они не смогут, поскольку по адресу отправителя проживает большой друг Советского Союза. Подписать его именем? Но они способны изыскать способ удостовериться, а действительно ли товарищ Висенте жаждет увидеть своего советского зятя в исторически обреченном мире. Однажды ему намекнули, что не стали бы чинить препятствий к выезду, если молодая семья пожелала бы воссоединиться на Западе, но, по словам отца, он отказался дать добро: “Мне только диссидента на шею не хватало!” Тогда без подписи. Что дает еще больше оснований предположить Висенте: решат, законспирировался. А в худшем случае пусть думают, что Александра жаждет она,

жена, как часть семейства, клана, рода, а эти вещи — КГБ или нет — в России пока еще серьезны, как в Сицилии. Чувствуя себя достойной дочерью “крестного отца”, Инес ответила вопросом:

— Можно послать без подписи?

— Как угодно, мадам.

С набеганием хмельной слезы ее супруг, который вторую неделю не ночует дома, выводит на чужой кухне:

Страна не пожалеет обо мне,  
но обо мне товарищи заплачут...

В хрущобе ни дивана, ни раскладушки, но товарищ нашел решение проблемы, сообщив, что Томка не возражает против “тройника”, после того, однако, как в смежной комнате заснет больной ребенок. “Затодно поймашь кайф”, — говорит товарищ, с которым Александр заливает водку “жигулевским” Он, собственно, товарищ первый день, но именно поэтому, как граф Безухов случайному французу и чтоб не подставлять тех, кого в первую очередь вызовут на допросы, именно этому на все готовому Сашку (они тезки) Александр выкладывает все — про весь этот ебаторий, который начался с подачи заявления на зарубежный паспорт. Из меня хотят сделать параноика, с горькой обидой говорит он, рассказывая, как потерял он в городе ключ, а вернулся домой — ключ в двери. Как понес в комиссионку фотоаппарат, а там засада в подворотне, подзывают, предлагая вдвое, только он начал поддаваться на уговоры, как вдруг мусор. Еле убежал. Без аппарата. Сраная “Практика”, а жаль. Тем объективом запечатлен был первый наш период — еще до ребенка, понимаешь, Толик... “Сашок”, — тот уточняет, подливая. Как человек из Союза писателей объявляет вдруг про новую квартиру, одновременно угрожая топором: “А я у них на хуй ничего не просил, ты понимаешь? Сашок?” — “Гэбуха ебаная...” Угрожая “Аэрофлотом”, “Автотранспортом” и прочими средствами возвращения невозвращенцев, чтобы закопать живьем в родную землю, или, как не важного, государственно-военных тайн не причащенного, размазать по старым камням Европы, а лучше здесь, как того грузина со сценарных курсов, который тоже пытался... — Что? — Жениться на иностранке. — На какой? — Но Александр, трезвея, выбирает затемнить, возможно, спасая тем — кто знает? — собственную жизнь: — Не важно. Тоже на дочери...

Толик, а точнее Сашок все понимает. Он наливает, жмет плечо. Потом исчезает, плохо затушив свою “приму”. Александр смотрит, как она дымится, и вспоминает, что предстоит еще “а труа”. До тошноты пресыщенный чужим и чуждым бытом, Александр отводит занавеску — стекло залеплено снегом. Выйти сейчас на хер и околеть во имя ренессанса. Снова мазохизм, ловит он себя на чувстве. Неужели так и не выйти из категории жертв? Неужели, внук, сын и пасынок рабов, он, Александр, обречен?

С пальцем на губах: “Уснули обе!” Сашок вынимает из-за спины изъеденную молью муфту, из которой вылезает вороненый ствол. От бати, говорит, остался. Парабеллум? Тс-с... Ухватясь за ушки, передергивает затвор, отчего вылетает патрон, который, набивая шишки, Александр находит под газовой плитой, где девятимиллиметровый влип в животный жир. Обтерев, друг загоняет патрон обратно и разворачивает пистолет, держа за ствол. Девять маслят в обойме, десятый в стволе. Бери и никого не бойся. Понял? Чтоб жизнь мне дорого продал! Всей насечкой рукоять впиивается в ладонь. Друг, говорит Александр. С ним я рискну домой. Обожди, обидим Томку. Но она ведь спит? Сейчас разбудим, зря, что ли, купалась. Но ей же на работу. А завтра у нас что, то есть сегодня? В первую смену, да. Видишь. В другой раз. Ладно. Только смотри. Если что, вдруг дома засада, переключаешь на “огонь”. Дай покажу...

Александр засовывает пистолет под пояс, но Сашок извлекает чешку и пару пива:

— По последней, Сашок. За дружбу нашу, а они пусть сдохнут!

Снаружи буран.

И до того незнакомый микрорайон превратился в поселок за Полярным кругом. Ощущая членом ствол, Александр стоит посреди того, что было проспектом. Из бесовской круговерти наконец выныривают фары. Такси? Но тут же прошибает до пота. *Мусорка!* А он с огнестрельным. Неужто Толик подставил? То есть, Сашок? Абзац. Пятнадцать сутками по пьяни не отделаться. Запад накрывается автоматически. Лет пять впаяют, потом, опущенного, отпустят доживать... Что делать? Оставить пару трупов и пропасть в метели?

Взгляд из окна патрульной машины недобрый: с одной стороны, *клиент*, поскольку явно выпил, с другой — на ногах стоит, а главное одет. Пыжик, дублон... Спецраспределитель, может быть. Ошибешься, себе дороже будет. Проезжая мимо социально защищенного гуляки, клетка исчезает.

Александр утирает шапкой пот.

Со стороны блочных домов возникает девушка. Переставляет как попало длинные ноги. Поскользнувшись, съезжает прямо в сугроб. Отстаньте, сволочи, — бормочет, поднимаемая Александром. Под заснеженной прядью серые незрячие глаза.

На заднем сиденье она приваливается, он трет ей маленькое ухо. Остро воняет бензином. Пожилой таксист проворачивает на шарнире зеркало, следя за ними, а в конце пути отводит протянутую трешку, прося отдать пацанку. Нет, не себе, сам он семейный. Черномазым сдаст. А если за десятку?

Ударом ноги захлопнув дверцу, Александр втаскивает найденную малолетку в подъезд, где прислоняет к стене, чтобы открыть почтовый ящик.

Открытка от матери — поздравление к 60-й годовщине Великого Октября. С чего она вдруг? Международная телеграмма из Парижа, почему-то не подписанная: *Priezjai kak mojno skorei*.

С горькой ухмылкой Александр подхватывает нимфетку, одновременно схватывая на лету еще одну бумажку лимонного цвета. Нет! Не может быть... Сердце срывается от государственных инфинитивов. *Явиться за получением. С собой иметь...*

Он так целует девушку, что на мгновение она приходит в себя:

— Отстань...

На третьем этаже он открывает новообитую дверь, без боязни вступает спиной в темноту. Уже запах нежити. Свалив ношу на супружескую их кровать, он раздвигает шторы и застывает. Вдали, где в зоне стройки оставлен до весны в живых уже ничейный фруктовый сад, отбрасывает искры и блики большой, страстно пылающий костер.

Он встает коленями на кровать, снимает с нее сапоги из кожзаменителя, пальто с воротником искусственного меха.

— Не трожь...

— Очень мне нужно.

С разворотом к стене, накрыв ее присланным из Андалузии тяжелым покрывалом, Александр ложится не раздеваясь — парабеллум под матрас.

Он просыпается от шума воды. За окном светло, костер в снегу не гаснет.

Отстирывая в умывальнике колготки, она бросает взгляд исподлобья, потом приходит босиком на запах кофе. Нет, она не откажется, если с молоком. Прокисло молоко. Но есть сгущенка.

— Сойдет. Мерси... Хата твоя?

— Моя.

— Обставиться бы надо. Это какой район?

— Хороший. Почти центр.

— Ну да... — Она встает, смотрит в окно. — Что там за пушки?

— Музей Вооруженных Сил. Не водили на экскурсию?

— Нет, но можешь меня сводить.

— С какой вдруг стати?

— А целку мне ломал — с какой?

— Не я.

— А кто?

— Те, с кем гуляла. Не помнишь?

— А, да, — пытается она наморщить лоб. — Что-то припоминаю. Спиртом с сиропом напоили школьники. Но ничего у них не получилось, только обтрухали.

— Что называется *преждевременная эякуляция*.

— Как?

— Проехали.

— Что мне больше всего в мужчинах нравится, так это интеллект. Вы холостой?

— Женатый.

— А где она?

— В Париже.

Захотела.

— Зовут, случайно, не Марина Бляди?

Он ее выставил, дав трешку на такси. Принес в комнату пыльный чемодан, раскрыл на полу и начал укладывать бумаги. Звонок. Он поднял голову. Ноги затекли. Приложившись к глазку, он открыл.

— Отец убьет меня с похмелья, — сказала она. — Можно еще побуду?

— А это что?

— Вам же есть нечего.

Она укладывает в холодильник яйца, масло, сыр.

— Ничего, что я колготы сниму? А то сырые...

Потом просит разрешения поставить пластинку. Ложится и, опираясь на локоть, смотрит, как он на коленях собирает бумаги.

— Я правда еще девушка.

— Супруг доволен будет.

— Это мне как раз без разницы. Просто, понимаете, никто не смог. Повысить до ранга женщины, как говорится...

— Все у тебя впереди, — говорит он, просматривая дневники, которые начал в одиннадцать лет, вел в школе на окраине Минска, и когда работал, и в Московском университете: безумно жалко, такой ведь материал...

— В шэрээм у нас, ну в Школе рабочей молодежи, преподаватель литературы. Одна грязь у него на уме.

— Да ну?

— Ага... — Она садится, натягивает юбку на колени. — Научил меня штукам, которые мужчины любят. По разврату ну просто профессор. И слова знает, как ты. Не такой симпатичный, но очень-очень умный.

Он бросает папки чемодану в пасть. Рукописи, письма. Без разбора.

— Может, ты импо? — Она смеется провокационно. — **ИМПО-77**. Фу, пылищу поднял. Уж не в Париж ли собираешься?

— Идем, — он поднимает чемодан.

Вокруг костра грязь.

Вытряхивая бумаги, Александр бросает следом картонные папки и возвращается в снег, где, поскрипывая, переминается длинноногая красивая девчонка. “Я думала, вы шутите...” Когда он приходит за новой охапкой, ее рядом с чемоданом уже нет. Бумаги горят долго, он начинает нервничать. Костер сжигает тайны, но выдает их носителя. Дом за спиной огромный, такой, что, как бы ни было поздно, окна у кого-нибудь да светятся. Может быть, его уже засек какой-нибудь бессонный офицер ГБ? Обойщик двери говорил, что в доме их полно.

Отворачивая лицо, Александр вываливает в гудящее пламя все, что осталось. Бросает и чемодан, с которым десять лет назад приехал брат Москву.

Этим разрешили.

Кланясь за то советской власти чуть не в пояс, пара будущих эмигрантов возвращается в зал ожидания задом. На улетающих в западном направлении персонажей Шагала эти местечковые не похожи. Супруг лет сорок, кровь с молоком и слишком короткие лавсановые брючки над носками и ботинками на микропоре. Обалдев от счастья, закурил, причем не сигарету с фильтром, а неожиданную в его случае папиросу. Первым возник, однако, не переодетый в мусора гэбэшник в дверях, а соплеменник в очереди: “Молодой человек! Здесь курить не положено”. — “Виноват! — бесконечно счастлив тот признать. — Да, да, конечно! — И сует выездные бумаги супруге. — Я сейчас...” Выходя, он держит пригоршню под возможным пеплом, потом возникает снаружи, в переулке, где ходит взад-вперед мимо низких окон ОВИРа, и все наблюдая, как частыми глубокими затыжками кончает свой “беломор” будущий гражданин свободного мира. Потом переглядываются с осуждением. Нельзя так раскрываться. Чревато-с.

И точно.

За этой парой следует отказ...

Под зрачком телекамеры очередь цепенеет. Изучает свои набрякшие-сцепленные руки, крапчатый линолеум, начищенные ботинки и складки на брюках того, кто в форме милиционера стоит у входа в этот зал ожидания, украшенный фикусами, алоэ с кактусами и портретом Генерального секретаря. Встречаясь взглядами, люди тут же их различают, принимая потупленный, сокрушенный, едва ли не скорбный вид, будто оказались тут не по своей воле. Еще один отказ. Еще...

Отказники, они сникают молча — серые лица, пропавшие глаза. Но вот дверь открывается пинком:

— В КГБ писать буду! На имя *вашего* председателя!

— Хоть Брежневу, — отвечают вслед ему и его деду, который, выходя боком, зажимает ладонью себе рот от страха за горластого внука-культуриста, который оделся, как в израильскую армию: шнурованные ботинки, натовская куртка.

— И Брежневу напишу! А не поможет, президенту США! Хотите жрать американский хлеб, так уважайте поправку Джексона!

— Ну-ну, — снисходит лже-милиционер. — В руках себя держите, молодой человек. Все у вас впереди, еще навоюетесь с палестинцами...

— Следующий!

Очередь опускает глаза, когда встает Александр, которого лучше в памяти не сохранять, настолько он явно по другому каналу.

Решетка на окне прикрыта шторами, из-под которых просачивается ясный день, но в кабинете электрический свет. Тут две сотрудницы,

и обе смотрят с отвращением. Я, он говорит, за паспортом. Ему кивают на стол, перед которым он садится на жесткий стул. На краю стола двускатная картонка с надписью "Майор Буймасова Н.Е.". Сложив под грудью руки, майор смотрит, как Александр выкладывает на стекло ее стола открытку-вызов. Внутренний свой паспорт. Квитанцию из сберкасс на улице Богдана Хмельницкого, где, пусть свобода и бесценна, с него сняли отнюдь не малые бабки.

Вместе с подушечкой майор разворачивается на сиденье к несгораемому шкафу. Нижняя полка забита новенькими паспортами, один из которых — *остановись, мгновенье!* — вынимается.

— Во Францию?

Александр удерживает нейтральную маску на лице, которое готово расплыться в улыбке до ушей. Уже отобрав его горчичный паспорт, бордовый майор удерживает:

— На шестьдесят суток? В гости? В первый раз? При чем тут Венгрия, в капстрану — в первый? Тогда ознакомьтесь...

В папочке, вынутой из ящика, текст под названием "Правила поведения гражданина СССР в капиталистической стране". Поля документа захватаны дактилоскопией, читатели усиленно потоотделяли.

— Не торопитесь, — и майор переключается, адресуясь к офицерше за спиной Александра: — Этот-то твой... а?

— Главное, его же там забреют сразу. Здесь ему, может, жизнь спасают, а он: "Поправка Джексона, поправка Джексона". Ну, л-ллю-ди...

— С нашими тоже проблем хватает.

В капстранах запрещена совместная езда в купе с лицом противоположного пола (потребовать, чтобы проводник переселил к однополуму пассажиру). Посещение сомнительных заведений. Мест, где собираются эмигранты. Участие в коммунистических манифестациях тоже...

— Все ясно? Тогда, — придвигается бумажка, — распишитесь.

— В чем?

— В том, что ознакомлены. Внимательно прочитали?

— Да...

— В том и распишитесь.

На сделку с дьяволом как будто не похоже. Он берет ручку.

— Здесь?

— Нет, тут. А теперь в получении.

Не краснокожий, а бордовый с золотом. В полустоячем состоянии от новизны, Александр вдыхает запах полиграфии Гознака.

— Спасибо.

— Не за что.

— Да... а теперь что?

— В посольства — визы получать.

— В какие?

— Географию учили?

— Польша, ГДР...

— Эти не надо. ФРГ, Бельгия — транзитные. Потом к французам. И смотрите! — Переходит вдруг на крик. — По Европам чтоб не ездить. Раз виза во Францию, во Франции и сидеть. А то взяли моду: то Италию прихватят, то Швейцарию. Эта поэтесса, алкоголичка, так ваще: исхитрилась аж за океан. Гастролеры!

Вся красная, в мундире и погонах.

— Чем, собственно, я вызвал?

— А уважать границы надо! Уважаешь здесь, так уважай и там!

Александру ударило в голову, как он швыряет ей вонючий паспорт: “Вот вам ваша Франция!” Он поскорей втолкнул его в карман и выскочил на крике:

— Следующий!

Снежинки кружились в досоветской перспективе Колпачного переулка. Под ногами захрустел растаявший и вновь подмерзший снег. Воздух сжигал ноздри, и казалось, что все это происходит не с ним, не может быть, чтоб с ним, таким здешним, таким всецело посюсторонним — от мира сего. И внезапно захотелось пельменей. Разваренных и обжигающих — полный судок. Общепитовский, из нержавеющей, с горячими исцарапанными отворотами. С маслом, со сметаной, с перцем, уксусом, горчицей и кем-то за мрамором стоящим рядом, плечо в плечо — таким понятным и своим, что... И это все отдать? Лишиться добровольно? Ностальгия волоклась, как на цепи ядро, причем с такой нарастающей гравитационной силой, что, поравнявшись с пожарной каланчой, он остановился и полез за пазуху. Просиял герб СССР. Фото в соответствии. Нет, это не сон, шлагбаум поднят. Теперь надеяться им только на внутренние границы. На то, что не сумеет преступить...

В самом центре Москвы, между маршами спуска в подземный переход и в метро “Площадь Ногина”, лежал, закатив глаза и выставив бороду, могучий среднеазиат в сапогах, халате и чалме, пропитавшейся кровью. Плотнеющая перед часом пик толпа его огибала, и дела до гостя столицы, возможно, уже умершего, не было даже элегантному (рядом с ЦК КПСС) милиционеру, который любезничал с кассиршей, поигрывая белой дубинкой.

Он тоже пробежал, спеша со всеми вниз...

Невероятность происходящего подчеркивали цифры. В Центральном бюро путешествий “Интурист” билет до “станции Париж” ему продали за сто пятьдесят два рубля и 98 коп. Две копейки сдачи он бросил в шель ближайшего автомата, чтобы сообщить приятелю, который не знает ничего:

— Шестого ноября. Поезд девятнадцать. В двадцать десять отходит с Белорусского. Если хочешь, приходи проводишь.

— Что, далеко собрался?

— Далеко.

— Но не надолго?

Сбычась за рулем, таксист молчал. По радио шла трансляция праздничного концерта из Дворца съездов. Машина напоследок попалась паршивая. Продавленное сиденье в наскоро заштопанных бритвенных шрамах, из-под ног вонь бензина с плохо отмытой предпраздничной рвотой. В струящиеся стекла прощально смотрела Москва: глянцево-черный асфальт, окна, сияющие телеизлучением, древки флагов на фонарях — хлещущие чернотой полотна.

— Скорей бы третья мировая.

— Что так?

Молчание.

— Жить надоело?

— *Ждать*, — сказал таксист. — Ждать надоело. — Свернул под мост и резко тормознул в зеленом сиянии вокзала. — А может быть, и жить. Тебе что, нет?

Несмотря на трешку без сдачи, открыть багажник он не вышел и, как только Александр извлек багаж, дал газу так, что подпрыгнула крышка.

Вокзал был, как сквозная рана. Окаменевшая. Хули, жизнь прожита. Не 19, двадцать девять. Кроме русской его любви, все, что возможно было здесь, сбылось. Взял не только Москву, но и свободу... Гулким мрамором он вышел под навес, сразу увидев веер пустых путей, а слева — поезд с погашенными окнами. Еще не было восьми, но тьма, как ночью. Освещен лишь был своими лампочками огромный, этажа на три, портрет Генерального секретаря ЦК КПСС. Под порывами дождя взлетал и бился истерично насквозь промокший материал: кумач, как креп.

Кроме четырех теней на перроне никого — тревожная, поднадзорная пустыньность, как тень, отложенная экспрессом, убывающим на Запад. Рядом с этим поездом им, провожающим, явно не по себе. Как бы вместе они стояли у входа в вагон “Москва—Париж”, но каждый при этом был обостренно обособлен, тем более что до сих пор не подозревал о существовании других. И с этими другими знакомиться не спешил, разумность чего в свете ближайшего будущего Александр не мог не одобрить. Он опустил чемодан, переложил машинку в левую руку и поздоровался с каждым. Если не считать Генсека, в открытую никто на них при этом не смотрел. Потом он снял шапку, выбил воду.

— Да, — сказал Сашок, — Снежок растаял.

— А было ощущение, зима!

— Чего-чего, а этого нам тут не избежать...

— Улечу в Баку, — содрогнулся южный человек. — Наш маленький Париж...

Никто не решился подняться в вагон. Когда, уже без багажа, Александр спустился, двое, пряча лица от дождя, спорили о метафизике зимы. Не только, дескать, образ правления, но ведь и праздник света, но и

братский союз околевающих. А кровь, а жажда жить, а Эрос? А поцелуй наш “на морозе”? Но ты уж не спеши обратно, обернулся критик. Подожди до весны. А еще лучше до “оттепели”, уточнил прозаик, обметая выбритые щеки своей влажно-колкой бородищей. К однополым поцелуям не привыкший, южный сунул теплый пакет инвалютной “Березки” и понизил голос: “Покушать, выпить, покурить... Зря камушки не взял, как человек бы жил. Цыпленок, между прочим, из “Арагви”. Дождавшись очереди, тезка во время тесного объятия принял из пальто в пальто замотанный в мохеровый шарф парабеллум, из которого Александр сумел не застрелиться, и троекратно запечатлел: “Давай, Сашок! Большому кораблю...”

Все вместе собрались перед окном, сверкающим от капель. Они улыбались, глядя снизу вверх, все четверо на фоне отсыревшего портрета — братья Мальчика-с-пальчик на фоне могучих челюстей.

Поезд тронулся. Они бежали вровень, растягиваясь, отставая по одиночке, вбирая головы в воротники, раскрывая зонты и поворачивая обратно. Где обречены были остаться навсегда. По разным причинам никто из них не мог стать “выездным”.

Не снимая пальто, он сидел в полутьме. Отчужденно косясь на отделку. Озаряемый летучим светом окраинных платформ. Один не только в купе, но, казалось, и в вагоне. На поблескивающей крышке умывальника — прощальный дар. Бутылка водки, папиросы Сталина и цыпленок-табака, в отделе мокрых дел пропитанный мгновенно действующим. Глядя на пролетающие станции, он самоиронично глотал слюну. Голод и паранойя, не забыть бы неповторимо советскую смесь. На длинном перегоне рванул вниз раму и выбросил цыпленка на ливневый ветер.

Отстегнул часы и, отвалясь с закрытыми глазами, зажал их в кулаке.

Было по-прежнему темно, когда семьсот с лишним километров спустя Александр вышел в коридор и, глядя в окна, пошел к тамбуру, где проводник открывал уже дверь. Поезд подходил к вокзалу белорусской столицы, первая и предпоследняя остановка на территории Союза. Город спал, ореолами светились лампы над провалом привокзальной улицы, здесь было теплей, климат был здесь мягче, и однако в свое время он отсюда еле выбрался живым. Засиял провинциальными неровностями перрон, и он увидел, как они вглядываются в окна. “Сынуля!” — закричала мать, и они бросились за вагоном, мрачный сводный брат, отчим, придерживающий полы и в отставке неизменной своей шинели. На протянутых руках мать держит нечто, *не хлеб-соль, надеюсь*, завернутое в пончо с бахромой. На первом курсе подарил один чилиец, и мать обнажает в купе завернутую в местные газеты кастрюльку, которую выбросить не жалко: “Горяченького! К празднику гречку выбросили, тоже стала дефицит, а помнишь? И пончо свое забирай”, — но Александр, зная, что она сидит в нем перед телевизором, отдает ей пончо еще раз, а заодно снимает свои парижский плащ, в который, прикусив

сигарету, влезает сводный брат, а на широком запястье отчима зашелкивает браслет своих часов. “Как же будешь ты без времени? Ну, спасибо, сынок”, — и обкалывает необратимо седыми усами. “Тут вот...” — и Александр вынимает сверток с тем, что невозможно вывезти. Мгновенно пряча это за пазуху, мать начинает рыдать, отбрасывая руки отчима: “Мы его больше не увидим! Вы что, не понимаете?” — “Удачи, брат”, — сжимает сводный брат ему плечо. “Сынок? — доходит и до отчима, — или забыл новеллу Бунина “В Париже”? Не соверши ошибки роковой”. — “А главное, Россию, — истово целует мать, — Россию-матушку по радио не обижай...” Проводник вторгается тюремщиком. В коридоре мать говорит назад: “Фрикадельки там горячие! Чтобы не всухомятку! Домашнего перед чужбиной, он у меня язвенник! И ложечка серебряная, твоими зубками обгрызанная! Ешь, не выбрасывай! Дорога дальняя!”

Взяв друг друга под руку, они идут шеренгой на уровне его ног, она запрокидывает голову: “Счастливого пути, сынок! Бог захочет, в этой жизни еще свидимся!”

Дверь грохочет, как в камере. Проводник высказывает нечто вроде сочувствия:

— Видать, надолго туда вас зарядили...

Нельзя исключить при этом, что сотрудник свяжется с Москвой, проинформировать о нетипичном взрыве страстей перед границей. Есть еще возможность быть снятым с поезда и возвращенным по месту прописки, где ночной обыск уже, конечно, обнаружил свидетельство о злонамерении в виде отсутствия личных бумаг. По пути к Бресту он то сжимает в кулаке нательный крест под тонким свитерком, то садит на тощак “Герцеговину Флор” — одну за другой. Сердце бьется в самом горле, но, пока поезд переставляют на узкую, на европейскую колею, по-белорусски мягкий таможенник, бросив взгляд в заранее открытый чемодан, только и говорит, что: “С праздничком!”

А пограничник со сбритыми прыщами без слов оттискивает ему в паспорт штамп убытия, легко поддающийся дешифровке: **СССР КПП 7 11 77 БРЕСТ.**

Серый, недорассветный день...

Поезд оцеплен, по перрону растянулись солдаты с автоматами. Армия перешла на зимнюю форму, и они поерзывают, потяя в своих шинелях. Это другое поколение, младше на десять лет. Лица без выражений, еще не успели их приобрести. Не добрые, не злые, а тот, что напротив, за окном, не тронут даже бритвой. Он должен бы предотвратить. Передернуть свой “калаш” и разнести на крохи. Неужели даст уйти? Поглядывая на солдата, Александр разворачивает мятые номера “Советской Белоруссии”, снимает алюминиевую крышку. Солдат наблюдает, как Александр давится остывшей кашей с фрикадельками. Глаза оживают, когда Александр распечатывает бутылку “Московской”. Бар самоосвещается при извлечении стакана. За наливом солдат следит с

возрастающим интересом. Налив себе с краями, Александр осторожно отрывает водку и, кивнув солдату, начинает переливать в себя — с предварительным, конечно, выдохом. Или он не сын страны?

Он все еще работает кадыком, когда в глазах — нет, за окном! — все начинает плыть, солдаты забрасывают автоматы на плечо, ряд серых спин удаляется на восток, где остается вся жизнь его, включая “священную границу”, которую он видит в первый и последний раз — отсыревшие, небрежно сколоченные сторожевые вышки в некошенных лугах запретной зоны, ржавь колючей проволоки, ряды которой разматываются под откосом, и вот он, тот мифический “бугор” над Бугом, тусклой речушкой, резанувшей по глазам, как лезвием. Опережающе слыша, как поезд въезжает на мост, он стискивает зубы, пытаясь, силясь удержать. Но организм срывает всю символику. Одним движением сдвигая все к окну, он задирает крышку и сгибается над умывальником, под которым в дырке ничейная земля. Рвет, как в детстве, грязным фонтаном.

Неужели пропустил?

В окно страну уже не видно. Утираясь тыльной стороной руки, он выскакивает в коридор. Рама не поддается, он припадает, притирается скулой, и горло успевает перехватить пронзительный предзимний вид, пожухлый краешек случившейся однажды сверхдержавы, которая — Господи, вся! до Ледовитого! до Тихого или Великого! — под стук колес неторопливо отступает в вечность, при этом оставляя его в живых, бросая наедине с собой...

Зачем? *За что?*

Впрочем, в мгновение это никаких вопросов Александр себе не задает.

Чистое горе, чистая радость.

*Париж-Мюнхен*



*Елена Аксельрод*

## Новые стихи

\*\*\*

Уровень жизни — уровень смерти.  
Кажется, я добралась до таможни.  
Я безоружна, нате-проверьте!  
Что вы трясете баул мой порожний?

Уровень жизни перескочила.  
Уровень смерти поманит — обманет.  
Так уже было: я фары включила  
И от погони скрылась в тумане.

### ЯНВАРЬ В АРАДЕ

Плещет, оглушая, синева,  
Лишь одним холмом небрежно смята.  
Жаль, что заморожены слова  
В белизне московской конопатой.  
В такт готовым к выходу дождям  
Ветви на невидимом рояле,  
Как соседский мальчик по утрам,  
Сбивчивое что-то заиграли —

Будто клавиши растворены,  
будто пальцы их не рассмотрели.  
Запах преждевременной весны  
Голову морочит, как в апреле,  
Как дурех-синиц речитатив,  
Отряхнувшихся от снегопада,  
Как дразнящий меркнувший мотив,  
Для которого мне нот не надо.

## НА РЫНКЕ

Ей в спину кричали: “Бабушка! Бабушка!  
Картошку бери! Один шекель — картошка!”  
Старушка, прикрытая шляпкой макушка,  
Зачерпнута жгучей, как день, поварешкой —  
С картошкой вместе и перцем пунцовым,  
С коврами, ворами, изюмом, клубникой.  
Торговцы, торговли плутуют над пловом  
На кухне базара разноязыкой.  
Увяла, свернулась, как в супе петрушка,  
Бабушка пугливая, интеллигентка —  
Старушка-вострушка, шутиха, Петрушка —  
Соломка сваялась, отклеилась лента.

## ПЕРЕД МОЛЬБЕРТОМ

Сжатые губы, взор исподлобья.  
Хмурая улица за камнепадом.  
Смотрят с холста Господни подобья —  
Боязно встретиться взглядом.

Божье создание ничком на брусчатке.  
Ближние смылись, не возлюбили.  
Авель и Каин, молясь о взрывчатке,  
Распределение ролей позабыли.

Облик души, отделенной от тела,  
Не рассмотреть усомнившимся глазом.  
Спорить с творцом — непотребное дело.  
Боже, прости слепоту богомазам.

\*\*\*

Восторг лучей, врывающихся с маем,  
Азартные укусы мошкары,  
И сквознячок, который мы впускаем  
В окно и дверь — до завтрашней жары...

Цветок в горшке, самоуправный, пряный  
Снаружи зелен, на просвет багров;  
Холодный борщ с нежирною сметаной,  
Согласно предписаниям докторов;

Какая разница — кем быть, кем зваться?  
Купи бумагу, ручку, а часы  
Не покупай. Не хочет расставаться  
С травой недолгой капелька росы.

*Арад. 1995*



*Борис Фальков*

## **ДВА РАССКАЗА**

### **В ТЕНИ НЕВОЛИНА**

Все началось с того, что Неволин не попал в троллейбус. И не потому, что опоздал, а наоборот — потому, что поспешил.

Едва троллейбус подошел к остановке, рассеянный Неволин начал очень обыкновенное движение, намереваясь войти в него. Но это было явно преждевременное движение. Дверь еще не открылась, и Неволин ударился в нее коленом, а потом и лбом. Очки соскользнули с его носа, упали на асфальт, и одно стекло треснуло. Поднимая их, Неволин был очень огорчен случившимся. И поврежденными очками, и тем, что другие люди, стоявшие позади него в очереди, сели в троллейбус и уехали, а сам он остался на остановке ждать следующего.

Садясь в троллейбус, эти люди отталкивали Неволина, возившегося со своими очками у них под ногами, обвиняли его в том, что он всем мешает. Когда троллейбус уехал, не попавшие в него и оставшиеся на остановке удвоили энергичность этих обвинений и заметно уточнили их, говоря: вот, напился, выпускают таких, сажать их надо... Неволин, признаться, и тут огорчился — ведь он искренне полагал, что заслуживает сочувствия. Он выглядел человеком вполне приличным, даже интеллигентным, и знал это. И потому ему вдвойне странно было слышать, что люди вокруг него, от которых он ожидал сочувствия, и столь разные люди, говорили о нем с одинаковой злостью: вот же падлюка, алкаш, убивать таких надо. А один из них, еще более

интеллигентный, чем сам Неволин, сказал: мерзкая ты, дядя, трансгенетическая свинья.

Неволин же вовсе не был пьян. Да он и никогда не был пьян, ни разу в жизни. Потому ему и показалось, что речь идет вовсе не о нем, а о совсем другом человеке. Он постарался понять этих раздраженных людей, и решил, что они вообще не видят сейчас в нем его, конкретного человека Неволлина, а видят некий лишенный его индивидуальных свойств общий образ, макет, грубое отражение этого человека. Они сейчас имеют дело не с ним, постарался так решить и простить их Неволин, а с его очень обобщенным двойником, лишь отдаленно с ним схожим, не более, чем сходна с хозяином тень. Двойником, чья тень произвольно упала именно на него, Неволлина, или чьей тенью совершенно случайно он, Неволин, стал. Эти люди, искавшие отдушины для своего вполне понятного раздражения, нарочно не признали в Неволине такого же человека, каким признавал каждый из них себя. Нарочно, чтобы их раздражение выливалось на него легко, без напряжения. Такое напряжение могло бы обратиться против них, утомить и смертельно опустошить их самих. Нет, никто из них не решился бы так глубоко ранить самого, в сущности, себя.

Вот приблизительно так постарался понять происшествие Неволин. Соответственно этому пониманию он и повел себя, не стал отвечать за ругань, поскольку она относилась совсем не к нему, и изобразил на своем лице полное равнодушие к происходящему. Ему казалось даже, изобразил спокойствие. Но, если честно признаться, ощущал-то он как раз беспокойство, где-то там под ложечкой, да и снаружи, кожей, будто его овевал чужой холодный ветерок. Двойник, тень? Да, ощущение было именно таким, словно с облитой солнцем поляны Неволин и попал внезапно в эту тень. Она упала на него самого, его собственная тень.

Следующий троллейбус был на подходе. Неволин тщательно следил за собой, чтобы не наделать новых нелепостей, и в то же время, чтобы его не оттеснили стоящие за ним. В рассчитанный миг он занес ногу на ступеньку... И оказался под передними копытами еще не достигшего остановки чудовища. Возможно, кто-то его и подтолкнул сзади, или свыше... Возможно.

Нет, и на этот раз Неволин от столкновения с троллейбусом физически не пострадал. Машина уже останавливалась, водитель, среагировав на нападение Неволлина, лишь сильнее прижал тормоз — и она стала совсем. Но воспринято происшествие было куда скандальней первого. Вовсе не имевшие к нему отношения гуляющие по бульвару, — и те стали стекаться к остановке. А непосредственные его участники просто растащили. Водитель выскочил из троллейбуса и с ходу дал Неволину, едва подымавшемуся с асфальта, в глаз. Неволин снова упал на колени. Очкам теперь пришел настоящий конец, никаких уже надежд.

— Товарищи, — объявил водитель толпе, — вы все сами видели, какая это сволочь: под мои колеса сиганул! А ну, зови милицию.

Но пока милиция не объявилась, он использовал время в личных интересах и снова двинул Неволину в глаз. Толпа одобритительно загудела. Многие бы хотели и сами приложиться к Неволину, он это уже понял, и потому молчал. Но кроме этого — он не понимал ничего. Он сидел на асфальте, куда его уже трижды опрокидывали, и надеялся, что милиция успеет, а толпа, наоборот, не успеет его побить. Все происходящее он видел как в тумане, в котором свободно и беспечно перемещаются постоянно изменяющие свои силуэты тени. Впрочем, он и не должен был это видеть иначе: без очков, одним только правым глазом. Другой, поврежденный глаз уже закрылся, и, честно сказать, так было лучше. Он явно начал косить, и попытки открыть его приводили лишь к удвоению происходящего, к размножению теней в тумане.

Наконец с одной стороны бульвара подбежал милицейский сержант, а с другой подлетела карета “Скорой помощи”. Два добровольца из толпы подхватили потерпевшего нарушителя под мышки, поставили на ноги. Врач из кареты посоветовался с сержантом, и потом спросил Неволина:

— С вами часто такое случается?

— Что — такое? — ответил Неволин, слишком поздно спохватившись, что делает ошибку.

— Ну, под колеса прыгаете...

— Я не прыгал, я, знаете, просто шагнул, и то, — поспешно добавил Неволин, — совершенно невольно.

— Я и спрашиваю, — терпеливо повторил врач, — как часто это: невольно.

Неволин чувствовал полную свою неспособность не только внятно объяснить, но и пересказать случившееся. Более того, он отлично понимал ненужность всего этого, и даже опасность. В самом деле, не рассказывать же о тени, о двойнике. И кому? Врачу.

— Ну-ну, так что же? — торопил его врач.

— А что вы против меня имеете, — вдруг развязно заговорил Неволин, делая руками ни с чем не сообразные движения, какие делают цыганки, когда трясут плечами в танце, или урки, сопровождающие ими свое: ну ты, сука-падла, я те щас... — Что вы против меня... ищите!

Он думал сразу две противоречащие друг другу мысли, одна из которых все забегала вперед и путалась под ногами у другой, а другая из-за этого отставала. Но поскольку они все время менялись местами, их нельзя было уловить и сформулировать так, чтобы использовать на практике, чтобы их можно было выразить в соответствующем действии. Нельзя было и как следует отличить одну от другой, как нельзя подчас различить тень и ее хозяина, узнать, что из них этот хозяин и что та тень. Нельзя различить их, несмотря на то, что они стали чужими, враждебными друг другу, что они, очевидно, отделились друг от друга, хозяин и его тень, тень и ее хозяин, и настолько

отделились, что и сам хозяин тени стал ее непослушной тенью. Мысли эти были: ничего не отвечать нельзя, и, ни в коем случае нельзя говорить правду.

— Ладно, успокойтесь, — сказал врач, поскольку Неволин после своей странной реплики впал в очевидно затянувшуюся паузу. — И поехали.

— Куда поехали? — непроизвольно вздрогнул Неволин.

— В... травмпункт, куда же, — поднял брови врач. — Смотрите, все движение перекрыли.

И он распахнул перед Невוליным задние дверцы своей кареты. Это правда, движение транспорта и пешеходов на бульваре стало чрезвычайно хаотичным. Неволин покорно склонил голову и полез в карету первым, за ним — врач. “Скорая” тут же сорвалась с места. Сирена подвывала. Пока они так мчались, Неволин все еще обдумывал, что и как ему следует говорить, предполагая, что допрос продолжится. Врач не мешал ему. Карета замедлила ход. Проскрипели невидимые ворота, карета остановилась. Врач сошел на землю первым и подал Неволину руку. Тот прыгнул на землю сам. Двор был колодезем, окруженным зарешеченными окнами.

— Куда это мы, зачем меня сюда? — невольно спросил Неволин, испытывая приближение страха.

— Пойдемте, пойдемте. — поторопил врач.

Они вошли в тесную, без окон, приемную. Врач постучал, внутренняя дверь открылась. Вторая комнатка была еще тесней первой, но с большим окном. Окно было забрано солидной металлической решеткой.

— Посидите тут, — сказал врач и ушел назад, в приемную. Дверь за ним захлопнулась с грохотом.

Неволин по инерции и почти против воли продолжал обдумывать свои будущие объяснения. Все — безуспешно. Еще одна дверь открылась. В комнатку вошел другой врач, постарше первого. Этот радушно улыбался и на ходу протягивал руку, как бы для предстоящей процедуры знакомства. Неволин тоже протянул руку и попытался улыбнуться.

— Моя фамилия — Неволин.

— Я помню, помню, — ласково отвечал врач, но руку пожал.

— Нет, — запротестовал Неволин, сразу же ее выдирая из обволакивающей чужой ладони, — мы незнакомы, вы ошибаетесь.

— Ну зачем это, зачем, — добродушно и весело забормотал врач. — Я Леонид Матвеевич, и вы это прекрасно знаете.

— Нет, — буркнул Неволин, отодвигаясь, — такой чести не имею.

— Ну, чести не чести... А вчера? Вчера мы с вами о чем толковали? Вот об этом самом: о вашем упрямстве.

— Мы с вами ни о чем еще никогда не токовали. Я не тетерев. Хотя один из нас действительно может им быть. И если вам угодно... — постарался съязвить Неволин.

— Ну-ну, не упрямитесь, — похлопал его по плечу врач. — Зачем это вам... нам.

— Оставьте из меня идиота делать, отпустите меня наконец! — вскинулся взбешенный Неволин.

Вся его предварительная мысленная работа шла насмарку. Его не спрашивали ни о чем действительно с ним случившемся, а только о каких-то глупостях, совершенно его не касавшихся. Может быть, кого-то там и касавшихся, но не его, Неволлина. Налицо была явная ошибка, путаница. Они совершенно друг друга не понимали, он и этот Леонид Матвеевич. Между ними не было, хотя врач и утверждал противоположное, но Неволин отлично помнил свое, и не могло быть никакой связи. Ни в прошлом, ни, конечно, в настоящем. Они бы вообще могли поменяться местами — Неволин надел бы халат и вышел из внутренних помещений, а Леонида Матвеевича привезли бы сюда на машине для допроса — и это не изменило бы дела: ни приблизило бы их друг к другу, ни отдалило. Зато, может быть, подумал Неволин, с точки зрения справедливости оно было бы верней.

— Куда — отпустить? — удивился Леонид Матвеевич.

— Домой. Знаете, что это такое? — ехидно спросил Неволин.

— А как же! — воскликнул Леонид Матвеевич. — Я даже знаю адрес вашего дома. Сказать?

— Ну, скажите.

— Ваш дом — тут! — топнул Леонид Матвеевич ногой. — И все, все это давно знают. Тут!

Неволин не успел сдержаться и захохотал.

— Чего это вы... — обиделся Леонид Матвеевич. — Ну хорошо, если вы такой упрямый... Как вы думаете, я могу знать ваше имя-отчество, если никогда вас не видел? Могу?

Неволину пришлось признать, что этого врач знать не может.

— И если я угадаю, вы признаете, что мы знакомы, и что даже давно знакомы? И что я, значит, правильно указал и ваш дом, да?

Неволин кивнул. Что ж такого, речь опять, по всей видимости, шла не о нем. О его тени. Тень, которую его двойник отбрасывал на него, то есть в сущности, он сам отбрасывал на себя, явно сгушалась. Внутренним взором Неволин ясно увидел его, ее, двойника или тень, или самого себя, опережающего его на некоей беговой дорожке и удаляющегося от него с ужасной, недопустимой скоростью. Мощные спинные мышцы удаляющегося играли вокруг его лопаток. Догнать его уже было немыслимо, нельзя. Противопоставить этой скорости — нечего. Умолить сжалиться, и если не остановиться, не вернуться назад, то хотя бы замедлить свой бег — но как?

— Вот и хорошо, вот и славно, — потер ладони Леонид Матвеевич. Кожа Неволлина отозвалась на этот свистящий шорох гусиными пупырышками. — Вас зовут Алексей Николаевич. Вы кандидат филологии. Вам — сорок. И вы...

Тут Леонид Матвеевич особенно яростно потер ладонью о ладонь. Неволин немедленно весь покрылся потом. Всезнание Леонида Матвеевича потрясло его.

— И уже три недели вы — мой пациент.

Потрясенный, Неволин сумел лишь вяло пошевелить губами:

— Ну и что?

— Как это что? Вы же сами дали только что слово, если я... Ну ладно, ладно. Но только... если б вы сдержали слово да признали, что мы с вами давеча беседовали и что на прошлой неделе, как и четыре недели назад, вы пришли ко мне с новыми жалобами на... здоровье, то...

— Что — то?

— То и пошли бы себе, скорей всего... ну туда, домой. Ведь прежде же, как вы помните, конечно, вас после такого признания всегда провожали домой, не так ли? Ну?

Неволин, или то, что от него осталось, его тень, безвольно схватил крючок:

— Я признаю. Говорил вчера с вами. И перед тем — тоже говорил. Жаловался. Довольны? Ну, я пошел?

— Ага, видите? — искренне обрадовался Леонид Матвеевич. — Тогда еще скажите: зачем под троллейбус прыгали? Ведь только вчера обещали не прыгать, только вчера заявили, что все поняли... Зачем?

Предварительное обдумывание возможного изложения на допросе правды и лжи сыграло злую шутку. Инерция первого согласия признать небывшее бывшим шутило еще злей. Ужасаясь тому, что он говорит, и понимая, что он вовсе не то собирался говорить, не то обдумывал и не так, и еще — что тогда, какие-нибудь полчаса назад, вовсе не он тогда занимался тем обдумыванием, от которого в нем остались лишь искаженные, изувеченные тени, а некто другой, тоже чья-то искаженная тень, или чьей искаженной тенью был он сам, обгоняющая саму себя на беговой дорожке тень. Неволин тем не менее продолжал говорить. Он говорил о несчастной своей любви — и ужасался: к кому же это? Об ее изменах — помилуйте, чьих? О ее циничной жестокости... И присовокуплял живописные интимные детали, которых никогда не переживал, разве что слышал о них, или вычитал их в какой-нибудь книжке. Он пытался всячески обосновать естественность своего поступка, оправдать навязанное ему намерение совершить самоубийство. Которого никогда, он знал, не пытался совершить. И не думал о нем — никогда. Зачем бы это?

Все, что он делал и говорил, было, разумеется, цепью ошибок, затягивавшей его шею мертвым узлом. Он чувствовал холод этой цепи. Она вся была одна громадная, опасная ошибка. В мире теней лишь она, эта всепоглощающая ошибка, эта железная петля, не была тень. И Неволин затягивал ее на своей шее сам.

— Я помню, помню, голубчик, — забормотал Леонид Матвеевич, с сочувствием качая головой. — Так у вас и в истории болезни записано, с ваших слов. И вчера я вас предупреждал, со всевозможной ответственностью, вы должны помнить, что буде такое повторится... Предупреждал? И вы дали слово подчиниться безоговорочно, дали?

Почти уже лишившемуся воли к сопротивлению Неволину пришлось подтвердить: верно, предупреждал со всей возможной ответственностью, и слово — давал.

— А давши слово — держи! — воскликнул Леонид Матвеевич восторженно, и поднял глаза к потолку. Оттуда отозвалось звоном.

Удовлетворенный эффективностью своих слов, Леонид Матвеевич постукал во внутреннюю дверь. Она сразу открылась. В комнату вошел очень толстый молодой санитар. Рукава его халата были засучены по локоть. И эти засученные рукава почему-то особенно испугали Неволена.

— Можете брать, — разрешил Леонид Матвеевич. — Палата, режим — все обычное.

Неволину живо представилось, как его берут, сворачивают в рулончик, словно коврик, и, зажав подмышкой, волокут в темный сырой чулан. Он коротко вскрикнул “домой хочу” и кинулся к двери в приемную. С неожиданным для такого толстого человека проворством санитар перехватил его, прижал к груди и ласково заговорил:

— Да брось ты, да куда ты...

А Леонид Матвеевич добавил:

— Конечно, конечно, домой, какие тут споры.

Неволин сразу обмяк и послушно двинулся за санитаром в нутро дома, в паутину коридоров, в капканы запертых особыми ключами дверей, в глубины этого мрачного лабиринта, разобраться в котором не сумел бы ни один пожелавший выйти оттуда живой. Смертный выход из этого дома на волю только мертвым.

Неволина привели в палату, показали койку, дали пижаму и велели переодеться. Он переоделся и лег. Пришла медсестра, сделала ему инъекцию, от которой он окончательно размяк так, что ни пальцами пошевелить, ни думать ни о чем не мог. Через две минуты он уснул.

Проснулся он от того, что кто-то упорно теребил его ноги. Он открыл глаза. В ногах его сидел маленький человечек, тоже в пижаме.

— Ну, с возвращеньцем, — сказал человечек.

Неволин не смог открыть рот.

— Чего смотришь, — сразу обиделся человечек. — Я Алик, не узнал?

— Узнал, — покорно ответил Неволин.

— А как же! — повеселел Алик. — И месяца ведь не прошло. Забыть трудно.

— Да, — подтвердил Неволин с только ему одному понятной иронией. — Двадцать восемь дней, если точно.

— Что, снова начудил там, на воле? — поинтересовался Алик.

— Было дело... — Неволин плыл по течению. Так оно было спокойнее.

— Ну, рассказывай.

— В другой раз.

— Э... может, другого раза и не будет, — снова обиделся Алик, махнул рукой и ушел на свою кровать в угол.

Неволин долгое время лежал неподвижно. Собрать мысли, чтобы суммировать происшедшее, он не мог. Вероятно, еще действовала инъекция. Он попытался разбудить свою волю к мысли, чтобы она противодействовала впрыснутому в него яду. Вместо прояснения ума, он добился лишь, что его охватила ярость, бешенство: как! да что же это он — лежать тут спокойно? да нужно кричать, протестовать, в Министерство здравоохранения, в ООН писать, как они, сволочи, смеют такое! Волна бешенства смыла его с кровати и подбросила к двери. Неволин ударился в нее телом, забарабанил кулаком, выкрикивая: вас призовут к ответу, граждане! коррупция! бумагу, ручку, конверт! Дверь открылась и, задвинув Неволина животом в глубь палаты, вошел толстый санитар.

— Опять бузишь, — почти грустно сказал он и коротко стукнул Неволина в грудь.

Неволин умолк. Тихие слезы покатались по его щекам.

— Ложись, — сказал санитар.

Неволин пошел на свое место.

Потом пришла медсестра и вызвала его на беседу. Неволин, стараясь быть ко всему готовым, поплелся за ней. Ко всему, очевидно, человеку приготовиться нельзя. Запасы этого всего — слишком велики, собственно, никем не ограничены. Неволина впустили в ту же комнатку, где он беседовал с Леонидом Матвеевичем. Дверь за ним не заперли.

— Алеша, Алеша, как ты себя чувствуешь, как себя чувствуешь?

Эти слова быстро прошептала женщина в белом халате, поднимаясь со стула. Неволин отшатнулся, но тут же подумал: нет, хуже будет. Он сжал зубы и сквозь них сказал:

— Неплохо. А ты как думала?

Он уже понял, что для него главное. Главное — не сойти тут с ума. А как это сделать? А вот как: играть по предъявленным ему тут правилам, по вколотым и вколоченным в него правилам, не споря с ними. В такое решение, как в фокус, правильно сходились многие, если не все, нити случившегося.

— Ты злишься на меня... — печально сказала женщина. — Но почему?

— Не ты ли меня сюда упрятала? — спросил Неволин. — Ладно, я не злюсь. Но только здесь не курорт.

— Да кто же во всем виноват, кто виноват, — заговорила женщина.

— Да уж, конечно, все... кроме тебя, — упрекнул Неволин. — Особо виноват я сам.

— Ну вот все опять снова, опять снова, — женщина заплакала. — Между тем только одна я могуечно терпеть твои упреки, придирки, припадки, только такая жена как я, только такая...

Увидев слезы, Неволин смягчился. И хотя он никогда не был женат, но всем известная ситуация выглядела вполне обычной, ничего сверхъестественного, если отвлечься от особых индивидуальностей участников и иметь дело с ее макетом, грубым отражением, общей тенью. И то сказать, если не отвлечься, ее напряжение станет невыносимым, обратится на самих участников, произведет в их душах смертельное опустошение, и они вряд ли когда-нибудь залечат свои глубокие раны. К счастью, так бывает нечасто. Ведь и Неволин, в сущности, был уже от своей прежней, такой теперь опасной особой индивидуальности спасительно отвлечен, шаг за шагом отдавая ее кому-то чужому и сам все быстрее от нее отчуждаясь. Он никогда не был женат? Что ж, и ребенок догадается, как себя вести в такой ситуации, если он не выносит зрелища чужих слез. Неволин подошел к женщине, прижал ее голову к своему плечу.

— Прости, я виноват, — сказал он, чувствуя себя виноватым. — Ну, будет, не плачь. Все еще наладится.

Женщина сразу перестала плакать и заулыбалась.

— Ах, если б ты всегда был таким, если б всегда!

По-видимому, такова была ее манера изъясняться: удваивать произносимое. Повтор отличался от начального звена тем, что звучал с большим пафосом, и паузы между его элементами были длинней. Из-за этого произносимое не столько подчеркивалось, сколько раздваивалось, так что повтор уже не выглядел повтором, а становился звеном главным, первым. И уже не он был эхом первого звена, его тенью, а первое звено было тенью повтора, оно само становилось повтором, слабее в его холодной тени. Хотя оно и вышло в путь раньше него, и повтор стартовал явно позже первого звена, но вскоре он обгонял отчалившее первым звено, и первое звено быстро отставало от него. И вскоре ему оставалось лишь одно — горько разглядывать его удаляющуюся в будущее спину. Очень милая манера, решил Неволин.

— Так-то лучше, — сказал он. — Ну а теперь отпусти меня. Я устал.

— Конечно, конечно.

Жена вызвала медсестру и попросила ее увести Неволина.

В своей палате он обнаружил перемены. Алика там уже не было, а на собственной кровати Неволина лежал пожилой бородатый мужчина. С возмущением Неволин подступил к незнакомцу и потребовал освободить кровать. Бородач, едва открыв глаза и увидев Неволина, вскочил и стал часто креститься, приговаривая: свят-свят. И чур-чур.

— Ты чего, дед, с ума сошел, что ли, с ума сошел? — сказал Неволин, разглаживая свое одеяло.

— Дьяволово семя! — закричал дед. — Изыди, сатана!

И трижды перекрестил самого Неволина, больно ударяя того в лоб. Неволин и в свою очередь щелкнул деда ногтем по лбу.

— Рассказывай, рассказывай, батя, какое я такое семя, какое-такое...

При каждом повторе он снова шелкал ногтем. Дед не только не возмутился такой фамильярностью, но явно приуспокоился. Возможно, реальность прикосновений противоречила духовности его первоначальных утверждений.

— Сам знаешь, какое, — заговорил он быстро и не сбиваясь, будто повторял это в сотый раз. — Как ты в прошлом-то году руки на себя наложил, так мы и жить начали спокойно. От буйства твоего уж никто выжить не чаял. И потому мы в охотку сами тебе гроб в мастерской отстрогали, сами и на грузовик поклали. А ты опять, а ты снова ожил, антихристово племя, дьяволово семя...

Дед пошел по кругу и забился в истерику. Неволин понял, что не сойти с ума ему не удастся.

Он вызвал к деду санитаров. Попросился у них в уборную, стараясь выглядеть незаинтересованным в положительном ответе. На это у него еще хватило воли: на две минуты стать хитрым, как дьявол. В уборной он сразу же, разодрав в кровь уши, протиснул между прутьями оконной решетки голову, потом плечи, выдавил теменем стекло, протиснулся сквозь решетку весь и вывалился с пятого этажа на мостовую, под колеса проезжавшего мимо троллейбуса. Водитель не успел вовремя остановить машину. Пассажиры спешно покинули ее. Некоторые из них радовались, что не успели заплатить за билет и прокатились даром.

Гроб Неволину отстрогали в больничной мастерской. Больные вынесли его тело, положили в грузовик. Жена плакала. Леонид Матвеевич подбадривал ее. Дед шептал молитвы, Алик ругался.

Два веселых могильщика опустили гроб в яму и засыпали ее. Потом присели на холмик и откупорили новую бутылку. Они по очереди прикладывались к ней, поглядывая на соседнюю запущенную могилку с полусгнившим уже деревянным памяtnичком. Они читали друг другу надпись на забытом всеми памяtnичке: "Неволин Алексей Николаевич", переглядывались и снова читали. Снова, повторно получалось то же: Неволин Алексей Николаевич.

Они опять прикладывались к бутылке и переводили взгляды на свежий холмик, на котором сидели. На временную картонную табличку, поставленную ими только что в его головах. И читая на этой новенькой табличке то же: Неволин Алексей Николаевич, они опять переглядывались, и пробовали закрыть ладонью один глаз, заподозрив у себя внезапно возникшее косоглазие, а в содержимом бутылки — его причину. Но и одним глазом они видели то же самое и, переглядываясь теперь им одним, глубокомысленно качали головами.

Накачавшись достаточно, они ушли.

## ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Неверов родился в первый год века в профессорской семье. Через пятьдесят лет ученые называли его поколение потерянным, исчезнувшим без следа. Между тем этому поколению гарантировали блес-

тящее будущее. Гарантией такого будущего было, как ни странно, полученное в наследство от прошлого, от предшественников, громадное богатство. Считалось, что люди, накопившие это богатство, могли бы легко сообразить: наследникам тем проще промотать его, чем оно громадней. Эти люди собрались и на крещении Неверова.

Пришли первые и вторые поэты, последние философы и богословы. Родители Неверова были в теснейшей с ними дружбе. Они и сами трудились на тех же нивах, где о журнале “Нива” было принято говорить с приятной иронией, произносить его название с очень длинным “и” и с предварительным, тоже длинным, “а”. Так, будто говорящий позабыл о существовании такого журнала и вот сейчас только с трудом вспомнил. На крещении Неверова присутствовали сотрудники “Иного времени”, совсем иное дело, тут всякая ирония непозволительна. Его крестным отцом был Аскольдов. Неверов этого помнить не мог, но другие помнили: Бердяев поцеловал его выпуклый младенческий лобик. Были, конечно, и огорчительные детали. Фофанов явился на торжество уже нетрезвый и много шумел, очень тщательно приглашенный Чехов вообще не пришел; по слухам, которым не очень верилось, академик был неизлечимо болен... Но это были незначительные детали.

Было время перемен. Петербург жил как на скачках, скорость и ритм существования менялись ежедневно, пока не установился окончательно жесткий копытный ямб. В ямбическом ускоренном ритме ускоренно вырастал и Неверов, непрерывно впитывая энергию и знания, переполнявшие его окружение. Лет в десять он уже умел хорошо слушать и понимать услышанное, а к четырнадцати начал разбираться и в увиденном. И то, и другое, накапливаясь, требовало от него суммирования, собственной оценки. Перемены, конечно, бросались в глаза и ему. Но было в потоке событий и нечто иное, переменам противоречащее, существующее неизменно. Неверов стал выделять из общего потока жизни повторяющиеся элементы и скоро пришел к выводу, что повторения эти очень важны, но их мало. То есть, сами повторения, конечно, многократны, но того, что повторяется, совсем немного. Такие наблюдения навязали бы юному Неверову размышления об утомительной бессмысленности жизни, если б не дисциплина ума, которой он уже обладал и которая позволила сразу же вскрыть важнейшее противоречие в сделанном выводе. Противоречие заключалось в словечке “но”, ложно связавшем его половинки.

Та же дисциплина помогла Неверову и разрешить это противоречие. Подлинность кажущегося — вот на что он распространил свои подозрения о ложных связях, сначала на другие, увязывающие все со всем словечки, а потом и на связки, действующие в самой бессловесной жизни. Распространил подозрения на все ее, жизни, фальшивые “но”, “ибо”, “потому”, “однако” и прочие, включая обманчиво простые “и” и “а”, эти, на первый взгляд — самые маленькие и незначительные шестереночки в ложных функциях жизненного механизма, из

всех предназначенных скрывать жестокую правду — самые безобидные. Но в яростной и бессмысленной, если не считать смыслом обман, работе кажущегося механизма, старающегося выглядеть подлинным, такая шестереночка столь часто использовалась, так увеличивалась в размерах, что преобразалась в его важнейшую деталь — в сам маховик, и уже нельзя было не заметить ее явной злонамеренности.

Нет, в подлинной жизни работали иные механизмы, вернее, она вся была совсем другой организм, это Неверов почувствовал особенно остро, приблизившись к совершеннолетию. Он иначе рассмотрел свой опыт и по-новому оценил его, опираясь на детали, раньше просто опускаемые за ненадобностью. Понять, что именно повторяется в жизни, скрытое ее ложными синтаксическими функциями, — вот что стало теперь его задачей. Пусть повторяющегося мало, что ж... Да если оно существует только в единственном числе — тем лучше. Именно это, а не бессмысленные словечки, подтвердит реальное существование организма жизни, выраженное осмысленным словом “есть”. Подтвердит непрерывность этого существования, его подлинность, а подлинность позволит вскрыть его подлинный смысл. Продолжавшаяся уже несколько лет война помогла Неверову решить и эту задачу.

Совсем иные настроения, речи и сцены вышли на первый план наблюдений. Иное выступило и на первый план памяти. Теперь Неверов вспоминал совсем другие разговоры взрослых, при которых он ребенком молча присутствовал и ценил их куда дороже. Отчетливой других ему помнилось теперь...

— Нет, господи! Истинной поэзии более не существует! Она исчезла, господи, бесповоротно. Поэзии нужны иные времена.

— Я с вами согласна, милый. Где, скажите, новый Пушкин? Где Байрон, покажите мне его!

— А философия, мадам, где вы видели сегодня нового Соловьева, а? Где они все, господи? Куда подевались?

— Э... батенька, это вы от жиру беситесь. Нет, конечно, и я не возражаю, пропали они бесследно. Но то ли еще будет! Вот когда наплачемся действительно. Ох, как горько плакать будем!

И те же голоса через десять лет:

— Пропадает, батенька, империя. Триста лет простояла, а теперь что же это такое? На глазах рассыпается, вот-вот исчезнет, без никаких причин, в один исторический миг. Наводит на размышления, нет? Поневоле и старика Толстого вспомнишь...

— Да стоит пока ваша империя, не хнычьте!

— Вот именно, пока...

Потом все эти сообщения в газетах... “Поручик Н-ский пропал без вести, вольноопределяющийся прапорщик С-ов, тра-та-та, пропали без вести...”

Пропал без вести! Это было верное слово. Пропадает, исчезает — вот в чем суть повторений, только это одно повторяется в точности

всегда. Все остальное — нет. Действительно, если глянуть на человеческую историю, то она вся есть цепь пропаж, исчезновений. А ее приобретения, которыми так легко обосновывается прогресс, они все ложные приобретения, в лучшем случае материал для последующих исчезновений. Но если все пропадает, то куда? Чем заполняется яма на месте пропажи? Неверов прилежно учился естественным наукам и выучил, что при всей своей сложности и вытекающей отсюда толерантности ко многому мир категорически не терпит в себе одного: пустот. Все его ямы заполняются. Раз одно исчезает, должно появиться на этом месте другое. Но и прилагая все усилия, Неверов не мог найти этого другого в действительности вокруг себя, как бы учебники естествознания ни утверждали, что он обязательно должен его находить. Не могли его найти и семьи пропавших без вести офицеров и вольноопределяющихся прапорщиков. Какие бы усилия не прилагали к ним газеты.

В семнадцать лет Неверов был уже убежден, что процесс существования — это последовательное, направленное исчезновение. И поэтому февральские события ничуть не удивили его. Но куда, в какую конечную цель направлен этот процесс, и зачем? Поиски ответа на этот вопрос заняли жизнь. Сама жизнь Неверова стала на него ответом.

Итак, из этой жизни исчезли Романовы. Пришедшие на их место люди оказались впоследствии не чем иным, как опять же материалом для исчезновения. В семнадцатом году Неверов переехал в Москву, и исчез Петербург, не только из его, Неверова, жизни: вслед за ним в Москву переехало правительство. Это уже не было правительство Керенского, объявлявшее мобилизацию, которой Неверову удалось избежать. То правительство бесследно исчезло. Избежать мобилизации, вскоре объявленной новым правительством, Неверову не удалось. И он получил возможность не только из газет узнавать о пропавших без вести в ходе боев, но и своими глазами увидеть, как это происходит. Новый опыт обогатил его.

После гражданской войны он поселился у московских родственников, бывших профессоров университета. Процесс исчезновения продолжался и тут. Однажды ночью исчез дядя Неверова, за ним по одному все члены его семьи. Никто не явился им на замену. Замен потребовалось бы непосильно много: страшные ямы, оставленные пропавшими, зияли повсюду. Вместе с этими людьми исчезала их речь, многие понятия и выражения, знакомые с детства Неверову. Он стал забывать их тем скорее, чем опаснее они становились для памятливых. Пропал ухоженный быт этих людей. Никакого другого на замену ему не явилось. Пропали газеты, издательства, журналы, об “Иных временах” никто и не вспоминал. Как, впрочем, и об их сопернице “Ниве”.

Исчезли дворяне и крестьяне, спокойствие и красная рыба. При желании можно было счесть красной рыбой тараньку, вроде бы пришедшую ей на смену. Но у Неверова не было такого желания.

По очереди исчезли герои революции и все вместе — герои гражданской войны. Потом герои испанской. Причины, считавшиеся источником исчезновений, были столь взаимоисключающи, что даже и называть их причинами стыдно. Исчез Интернационал, но исчезла и Лига Наций. И если кто-то исчезал, обозвав фашизм грубым словом, то другой пропадал без вести, помянув его добром. Люди терялись, пропадали, исчезали в самом процессе поиска причин. Неверов избежал исчезновения вместе с ними, потому что причин не искал, а искал по-прежнему: куда все пропадает.

Началась новая, огромная война. Многие полагали — последняя. Пропала десятая часть населения страны, сколько пропало за ее пределами — неизвестно, все сведения о том тоже пропали. Икра, по слухам, еще оставалась в загранице. Но после войны пропали государства за границей, кто же подтвердит такие слухи? Одновременно стало исчезать государство и по эту ее сторону, кому же нужны эти подтверждения? Пропал климат, запечатленный великими писателями, исчезнувшими еще сто лет назад. Теперь пропали их книги и заодно книги вроде бы заменивших их новых писателей. Исчезли эти новые, исчезали один за другим и массами их интеллигентные читатели. Последовав за исчезновением понятия, исчезла и сама интеллигенция. Еще оставались разговоры о ней, но уже ведь замышлялись новые пропажи.

Неверову перевалило за семьдесят. Раз в день он выходил в магазин и заодно дышал воздухом на скамейке скверика. Он жил один. Последовательно исчезли: его жена, сын, друзья сына. Вскоре из магазина, куда он ходил, исчезли все продукты и продавцы. Последними исчезли ярлыки, а за ними уж и сами магазины. Оставалась скамейка в скверике и воздух вокруг нее. Но надолго ли?

Ведь уже с ужасной скоростью, в скачкообразном ритме исчезали дома вокруг сквера вместе с их жильцами, следовательно, и улицы, и города. Над пустой землей носился радостный ветер пустот, ветер свободы, предполагаемой и почти достигнутой цели исчезновения. И некому было указать на жестокие различия, на непреодолимый разлом между свободой и целью. Да и кому на то указывать?

Впрочем, оставался еще Неверов. Но что же нам с ним делать? Ведь при наступившей полной свободе совершенно неясно, где и каким образом он, явно зависимый от всего человек, существовал, да еще расположившись на скамейке в своем сквере... Поздно, вот уже исчез и этот уютный скверик. И вслед за ним — зелененькая скамейка. Неясно? Пусть. Собственно, ведь некому все это уяснить. Поистине теперь одинокий Неверов мог лишь сам себе это уяснить, только с собой он вел свой диалог. Но наличие диалога ставило под сомнение истинность, действительность его одиночества. А сомнительность одиночества — действительность свободы. Только с исчезновением себя исчезла бы эта сомнительность. Да-да-да, весело под-

тверждал ветер преисполненной только самой собою свободы, мне нет преград: я один, кругом пустота.

Верно, исчезла земля и за нею небо. С исчезновением неба исчез воздух, и ветер, и сама его свобода, какой бы полной и радостной, сомнительной или истинной она ни была. Что же осталось? Только одно, все то же, всегда повторяющееся, постоянно возвращающееся неизбежное исчезновение. Неизбежное? Тогда, значит, и оно — не свободное исчезновение, в лучшем случае оно мешает свободе. Но если даже исчезнет само это исчезновение, то и тут свободы не видать: ведь и его, исчезновения, исчезновение неизбежно. Что же, осталось исчезнуть только ей, неизбежности? Да, больше нечему. Но если вся свобода — в свободе от существующей неизбежности, то вот уже она и кончилась, когда уже не существует эта неизбежность, когда и она исчезла. И конец свободе. А с концами, с ограничениями, какая же это жалкая, скучная свобода!

Неверову же давно перевалило за восемьдесят. И теперь это он, а не пропавший ветер свободы, радостно носился в пустотах очистившихся от мер и делений многочисленных времен и пространств над водами, пока не пропали и воды, и всякие времена, и сложные пространства. Совершенно свободно, хотя сама свобода исчезла навсегда. Поистине теперь одинокий, он вел свой монолог. Наконец он остался наедине с собой. Иного не было дано: он был один среди ничего, сам себе цель. Таким он останется, пока и его не коснется, чтобы исчезнуть вместе с ним, все то же исчезновение. Пока он не станет свободным и от себя, и от него. “Дорога возникает тогда, когда ее протопчут люди”, — шептал он себе, имея в виду самого себя.

Монологом своим он лишь повторял действительность, не разлагая ее анализами, не оскорбляя логикой, всякими *ибо, но, и, а*. Разве не этого он всегда желал? Не разлагать и оскорблять, а узнать, вместить жизнь в себя такой, какая она подлинно есть, без ложных связей связать себя, совпасть, совместиться с нею — ею стать и, следовательно, самому подлинно быть. Ну вот, теперь он, кажется, достиг желаемого, он был — какой есть. Ничто не мешало ему быть. И он в мыслях носился над жизнью, над этой людской дорогой так же, как и в действительности он носился над нею и так же, как и в действительности ему в мыслях было жаль тех, о ком он мыслил.

Но о ком он мыслил, о ком сожалел, если имел у себя в виду только себя? Он мыслил о себе, ему было жаль себя. Оседающая на губах пыль протоптанной дороги оказалась и соленой, и горькой на вкус. Ведь и отражая ее без искажений, не оскорбляя логикой или анализом, Неверов все же подвергал ее разложению: ведь он все же отражал дорогу, а значит — удваивал, значит — губил сложным сравнением ее простую одинокую суть. Удвоив ее, он усложнил ее сравнением с самой собой, дорогой, сделал дорогу делимой, и, значит, протаптывал он ее все туда же, готовил все к тому же, к исчезновению. Он обрек ее на исчезновение, ведь все сложное, делимое уступает место нес-

ложному, исчезает, чтобы исчезнуть в подлинной неделимости, в простоте. Деля дорогу в себе, Неверов обрек на исчезновение в простоте и себя.

Горечь на губах была горечью сожалений о потерях, а соль — таков уж вкус переполненной этими потерями жизни. Он понял, Неверов, что не узнать он желал, а полюбить эту жизнь. И вот, кажется, он полюбил ее. Ту подлинную, простую, не подверженную разложению жизнь, которую нельзя оскорбить ничем, даже истинным холодным словом “есть”. Без концов и начал, она не разделена на скучные отдельности и поэтому не подвержена исчезновению, как они. И вместо этих многих сложных ее определений, вместо ледяного холода выражения “она есть” можно теперь подобрать совсем несложное и теплое: это простая жизнь.

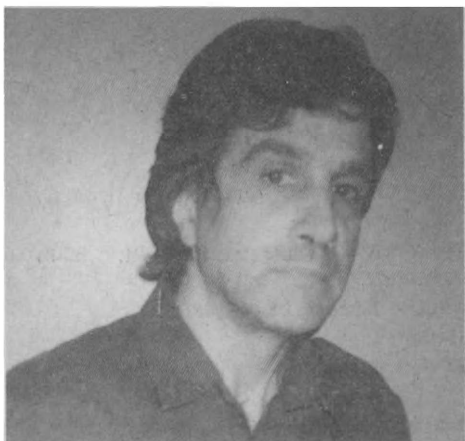
Затеплившаяся любовь Неверова к ней была столь же проста и неделима, и не было необходимости это понимать, удваивая ее мыслями и усложняя, достаточно было ощущать ее тепло. Поделиться этим теплом с кем-нибудь, кто согласился бы разделить его чувство? Невозможно, он остался один. Разделить с собой? И этого он не мог, потому что остался подлинно один, тоже уже неделим. Его любовь осталась неразделенной любовью. В ней нет границ между появлением и исчезновением. Свободная неизбежность или неизбежная свобода — между ними нет больше войны различий. А ведь именно на границах различного разверзаются разломы, там ведутся самые великие войны, потому что это границы ям, оставшихся на местах исчезновений. Теперь, когда это уяснено вполне, к любви Неверова тоже следует применить только что найденное верное слово, заменив им уклончивые “неразделенная”, “неделимая” и точное, но чересчур длинное “бескорыстная”: это — простая любовь.

Полюбив без различий, слепо, безразлично полюбив, Неверов теперь просто летает сам перед собой в простоте душевной, сам простой, первый и последний любящий дух. Простые слезы стекают по его щекам. Рождаются и длятся простые слова, проще не бывает: последние ямбы.

— Кто пил во сне вино — тот утром горько плачет, кто ночью слезы лил — тот утром веселится. И день и ночь все тот же сон. Он снится мне, я тоже он.

Но кто порождает и длит эти ямбы? Ведь уже исчезает и Неверов, склонив голову на давно исчезнувшую грудь.

*Мюнхен. 1978, 1994*



*Владимир Аристов*

## ПРОТОТИПЫ ЭПОХИ

Стихи

\*\*\*

Е.М.

Прототипы эпохи, ее негативы  
Проступают по веленью руки  
В просветленной черной мартовской пыли,  
В мановеньи мгновенья.

Наклоненной рукой со стилем  
Ты царишь,  
Лишь держась на его острие  
От себя по листу убегая накренной юлой

Навевая на себя, наборматывая

Уходя навсегда

Из распахнутого с открытою крышей двора

Миром брезгует только рука,  
Сквозь которую светит журчащая ось,

Окруженная  
Стеною бегущего беловика.

Это взгляд твой оторваться не может от черты самописца  
С утомленным пером дорогим  
В гравированных нежных перстнях  
Хоть сжимаешь его твердой шепотью в перстах

Все ж бледнеет внезапно возвращенный и вспыхнувший прах  
И забвенью мешают  
Пробегая смеясь в новогодних снегах  
В снежной пыли  
Музыкальные автомобили

Перечеркнута нотным станом  
В откровенно заемный век  
Спит рука прикрытая плащ-накидкой  
Из вуалевой серой перчатки.

## ИЗ ПОЭМЫ “ИНАЯ РЕКА”

Berlin West.  
Пыльные стекла вокзала “Zoo”.

Поезд вползал в Восток  
Сквозь остатки стены  
Они были из иссохшей бесцветной неземной пастилы  
Перед тем как пойти на распил.

По двум сторонам Германий  
Ты в больнице провел ночь  
Что лечить не знаем

Меланхолии привычной инъекцией науськивал шприц  
Чтоб кусать эти ржавые трубы границ

Но в Берлине ночью  
Поезд у светящегося остановился окна  
Посторонней женщины в платье никчемном там застыла спина

Возрастанию радости  
Нельзя научить  
И куда, в город какой это все внести

Когда человек неизвестный в окне  
Внушительной стены  
Или горящей ночи...

*1990, 1994*

## ОКСФОРД

Я не был в городе таком

Себя опровергая

Хоть на вершине факта  
На свершеньи

Я помню несколько зонтов  
Зонтов и струн, и молодые трости  
Том Фаулера или Фаулза in folio  
А гребешка железного,  
Через которые уходят гривы воды  
Под землю  
Нет, не помню.

Не было дождя в то лето

*1995*

## СОЛЖЕНИЦЫН

Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Нас ветра леденят порывы —  
Отечества бесплотный дым.

Отсюда в топкой вышине  
Так странно видеть темный Цюрих,  
Куда по вымершей стране  
Перенесен я в зимних бурях.

Пустое горное шоссе,  
И ветер, ветер на просторе,  
Машина в слюдяной росе.  
И кончился бензин в моторе.

Как нефть, ночная нефть легка,  
Что в полутемную Европу  
Из призрачного далека  
Приходит по горящим тропам.

Но никогда в забвеньях твердых  
Не докричаться в каменную нору.  
Ведь двадцать миллионов мертвых  
Отплыли ночью к Саматлору.

Сочась сквозь лед горячим илом.  
С каменноугольным свеченьем.  
Туда все вниз к глубоким жилам  
И захороненным растениям.

Спускаясь вечной мерзлотою  
Ночные жизни рядовые,  
Став черной нефтью золотую,  
Вошли в земные кладовые.

Чтоб с жертвенной священной дрожью  
Легко ворваться в буровые  
И к Альп далекому подножью  
Гнать нефти волны даровые.

Из дальних позабытых стран  
Пришло их робкое дыханье,  
Ища на ощупь океан,  
Чтоб раствориться в океане.

Но настоящий океан  
Встречает, пенится, и рушит,  
И прочь несет от этих стран  
Осколки мертвые ракушек.

Не станет деревом песок,  
Нефть не вернется человеком,  
Ведь медленный подводный сток  
Открылся в океане веком.

Как раковина на дне,  
Пустое зеркало прибоя —  
Я буду видеть в вечном сне,  
Как жизнь проходит под землею.

Двигается ночь над тихим Стиксом,  
На берегах стада плодятся,  
Народ счастливейший воздвигся,  
Во мраке нивы колосятся.

Глаза цветов очнулись в роще,  
В счастливой темноте подземной,  
Но камнем стали слезы в толще,  
Пред сердцем серебрились вены.

Опять Харон поет из бездны,  
Семью встречая на пароме,  
С пылью земли уже безвестной  
И чуждою тоской о доме.

Там, улыбаясь терпеливо,  
Он дверь толкнул во тьму цветенья,  
Река коснется тех счастливых,  
Которым предстоит забвенье.

*Москва 1974, 1975*



*Людмила Петрушевская*

## **Королева Лир**

### **Сказка**

Было дело в одном государстве, что старушка королева, которую все звали Лир, слегка рехнулась, сняла с себя корону, отдала ее своему сыну Корделю, а сама решила наконец отдохнуть, причем где-нибудь в глухих местах и безо всяких удобств.

Это ведь только простые и рожденные в тяжелых условиях богачи строят себе роскошные дворцы, а аристократы любят все натуральное, хотя обязанности не позволяют им переезжать из своих замков в избы, бани и сараи.

Но наша королева-бабушка, как женщина сильная и свободная, решила, что выполнит свои мечты тут же. Она построила себе недалеко от королевского дворца дом, на который пошло восемьдесят штук новых картонных ящиков из-под макарон.

Строила старушка сама, с помощью липкой ленты, и добилась удивительных результатов: к ночи дом был готов. Также леди остановила готовый к выезду из королевских ворот огромный мусоровоз и заставила водителя вытряхнуть на дорогу все, что содержалось в машине.

Покопавшись в образовавшейся куче, королева распотрошила пластиковые пакеты, нашла много газет и застелила ими пол своего дома — не на земле же валяться! Одновременно она нашла пару

сломанных ложек и семь свечных огарков (хотя откуда во дворце огарки, подумала королева с подозрением, но потом сказала себе: это уже не мое дело! Извиняюсь, меня нет).

Во дворце, однако, зашумело, потому что всех имеющихся в штате садовников по радиотелефонам пригласили загружать обратно в мусоровоз то, что не пригодились Лир, и поднялась возня, сбор с асфальта банановых шкурок, мелкой яичной скорлупы и других сокровищ.

Попутно выяснилось, что королева-бабушка не желает пользоваться ничем дареным и ей ранее принадлежавшим, а будет сама добывать себе пищу и все что надо! (В поте лица своего.)

К старушке спустился сын, король Кордель, дал ей какую-то карточку и сказал при этом:

— Матушка, эта карточка волшебная, если вы ее опустите в щель ящика, расположенного около банка, то вам выскочат денежки, и вы сами, по своей воле и своими руками, сможете купить себе что вам надо!

Но бабушка со словами “Ничего я от вас брать не намерена” отвергла волшебную карточку и сказала, что больше не желает жить на деньги своих подданных, а будет добывать средства к существованию хотя бы на помойках — так честнее!

Кордель покраснел и исчез, и вскоре во дворце все забегали и снарядили новый мусоровоз, в который побросали матрас, две подушки, простыни, верблюжье одеяло (подарок от монгольского циррика сто лет назад, вот и пригодилось), затем пару новеньких ведер (взяли в долг у уборщиц), кастрюлю, потом стали горестно думать, а что будет, если в этой кастрюле Лир начнет готовить суп не выходя из своего макаронного вигвама, то есть не сготовится ли она сама вместе с супом, — и кастрюлю изъяли из мусоровоза, а вместо этого покидали туда разных упакованных булочек, арбузов, яиц, джемов, колбас и сыров, все это преремешали для подлинности с порванными в клочья газетами и задраили люк.

И мусоровоз тут же забибикал у картонного дома старушки королевы, а когда она выскочила на порог, то шофер щедро вывалил всю эту гигантскую помойную посылку прямо на дорогу.

Тут же бабушка начала весело добывать себе пропитание из-под матраса и подушек (продукты накрыло постельными принадлежностями, придворные не рассчитали порядок вываливания мусоровоза, сперва из него лезет все положенное в конце, а после — все положенное в начале, знайте на будущее!).

Короче, бабушка с натугой залезла под матрас и стала выковыривать оттуда маленькие колбаски, сырки, булочки и джемы, и ликования ее не было предела, причем на помощь примчалась любимая правнучка, принцесса Алиса, и они вдвоем повеселились, возясь под матрасом и удивляясь, как много полезных и вкусных вещей выбирается во дворец!

— Но меня это уже не касается, — подмигнув внучке, заявила королева, буквально глотая слюни. Никогда еще у нее не было такого аппетита.

Алиса даже нашла маленький бочонок черной икры, которую она вообще-то терпеть не могла, но тут, на свежем воздухе, в диких условиях лужайки, и икра вполне сошла.

Короче, все содержимое мусоровоза к ночи перекочевало в картонную хибару старой королевы: пол был устлан поверх газет найденными в мусоре коврами, в углу хозяйка держала припасы, бумажные тарелки и пластмассовые ложки, а на самом возвышенном месте дома, на подушке, лежал и светил мощный фонарик, который тоже кто-то выбросил, вот безголовые-то (говорила бабушка внучке).

Короче, когда взойшла первая звезда, Лир с Алисой решили поужинать всем тем, что выудилось на помойке.

А дело было в том, что ни та, ни другая никогда сами ничего не готовили: в жизни не открыли ни одного пакета или банки и ни разу не вскипятили себе воды!

Они сидели над кучей продуктов и соображали, как ко всему этому подступиться.

— Я знаю, — сказала умная бабушка, — что яйца должны быть теплые!

С этими словами она поднесла яйцо к фонарику и минут пять нагрела его.

— Вот так и готовят еду, учись, Алиса, дружок, — сказала бабушка-королева.

Они выпили одно теплое сырое яйцо на двоих (остальные яйца разбились при выгрузке мусора), немножечко у них пролилось на платье и на ковер, ну да ладно.

Затем обе долго мозговали, как открыть запечатанный в целлофан хлеб, и наконец эта упаковка была прокушена внучкой — у бабушки зубы оказались туповатые, фарфоровые.

После чего внучка, насобачившись, прокусила также упаковку апельсинового сока и весело захохотала, потому что брызнул целый фонтан и залил картонный потолок, бабушкино платье целиком, опять ковер, бабушкину прическу, не говоря уже об Алисе, которая немного захлебнулась в этом фонтане. Они долго высасывали остатки сока из пакета и веселились при этом как никогда в жизни.

Затем внучка, науськанная бабушкой, притащила в ведре немножко воды для умывания — воду она взяла у садовников, которые дежурили в отдалении, как оказалось, вперемешку с гвардейцами — таились в кустах.

Другое ведро, пустое, бабушка поставила в уголок на всякий случай и прикрыла его газетой — все надо предусмотреть!

Потом раздался сигнал королевской трубы, и за внучкой явилась рота конного караула, капитан позвал Алису якобы для переговоров

да и похитил ее обратно во дворец. Там с ней неизвестно что происходило: возможно, ее пытались накормить ужином и т.д., бедную девочку, а старушка-бабушка решила постелить себе сама первый раз в жизни постель.

Она примерилась и положила на пол одеяло, сверху бросила простынку. Потом повалила на это дело матрас, на матрас шваркнула подушку, потом подумала и аккуратно застелила все это дело газетами и со стоном изнеможения улеглась.

Сверху она укрылась запасной газетой, стало мягко и тепло, и королева уснула.

Утром бабушка сделала зарядку — она решила начать совершенно новую жизнь — и захотела также облиться из ведра водой (кстати, и платье помоеся, подумала практичная Лир), но впопыхах перепутала и облилась не из того ведра, после чего взяла правильное ведро и облилась еще раз, а ковер вытерла подушкой.

Но королеве не понравилось жить в таком загаженном домике, везде были крошки, объедки, обрывки и мокрые места, и она выбралась наружу.

И здесь Лир увидела на газоне то, что она, возможно, не заметила накануне: то есть во вчерашнем мусоровозе, вероятно, находился еще и поднос с горячим серебряным кофейником, булочки с джемом и кастрюлька овсянки, а также тарелка, чашка и серебряные ложки. Может, шофер заметил это уже позже, вернулся и оставил на газоне — честные люди эти мусорщики (вдохнула королева, набрасываясь на еду)!

А затем она обнаружила совершенно рядом с кофейником волшебную карточку — видимо, сын Кордель выбросил ее в раздражении, и теперь она была ничья (можно сказать, помойная).

Королева спрятала карточку в карман на всякий случай, а грязную серебряную посуду она, будучи аккуратной женщиной, собственноручно отнесла в ближайшую урну — вот она, новая жизнь: королева решила, что всегда теперь будет выбрасывать использованную посуду сама.

Затем Лир тут же вышла вон из ворот королевского дворца, и гвардейская охрана окаменела, не зная, что предпринять: у них было задание никого не впускать, а насчет никого не выпускать им было ничего не сказано, нельзя было ничего выносить, это да.

А так — выходи кто может.

Королеву, разумеется, они не узнали — в таком-то виде (мокрое платье все в пятнах, шляпки нет, королеве пришлось ее выбросить, о чем скажем дальше).

И в первый раз в жизни Лир помчалась пешком по улице одна.

То есть за ней сразу ринулся отряд вооруженной охраны, таившийся до той поры за кустами, однако их-то привратники задержали, опомнившись, и потребовали какие-то пропуска на вынос оружия!

Еще бабульку без вещей они могли выпустить, но вооруженный отряд охраны нес при себе имущество дворца: мундиры, знамена, кальсоны, сапоги, портянки, шашки наголо, носовые платки, пики за плечами и т.д.

Таким образом королева-бабушка пилила вдоль по улице одна и без шляпы, при этом светило солнце, а волосы-то были нечесанные (в витринах все отражалось как в зеркалах)! Королева оказалась без головного убора по следующей причине: мокрой шляпкой пришлось подмести пол, а затем бросить ее в поганое ведро. Почему шляпой пришлось подметать? Просто королева-бабушка утром вспомнила, как гвардейцы с поклоном снимали свои шляпы и легко — раз-раз — подметали перьями королевский паркет. И она тоже попробовала подмести крошки и огрызки в одну кучу, но шляпка тут же поделилась на две части, на поля и донышко, не вынеся объема работ, так что место ей было в ведре!

Ведь, заметим, уборка в королевских покоях всегда ведется в отсутствие хозяев, поэтому у Лир не было опыта: она просто в глаза не видела ни веника, ни совка! Видимо, так и представляла себе, что уборщицы работают шляпами, бедная Лир.

Кстати, многие мужчины и дети этого же добиваются и в своих семьях, чтобы ничего подобного не знать: дескать, я хочу лишь видеть результат, требуют они. Но поневоле наблюдают весь процесс, всю стирку, глажку, подметание, чистку картошки, пар от макарон, а иногда и вынужденно принимают во всем этом участие — что ж, не короли ведь.

Однако вернемся к Лир.

Обычно ее причисывали дважды в день, утром и перед балом, но к описываемому времени прошли уже сутки без парикмахера, причем королева, даже если бы и купила себе расческу, не сумела бы понять, как ею пользоваться, не смогла бы воткнуть ее поперек шевелюры и с силой протянуть по направлению к ботинкам, безжалостно выдирая по дороге все, что мешало движению. Это ведь целое искусство.

Итак, нечесаная королева рысью мчалась, отражаясь в витринах, лохматая, как новый веник, и вдруг видит: за окном мужчина в белом халате трудится над кудрями дамы. Причем дама сидит вся в пене, как морская волна.

Лир затормозила, вошла в парикмахерскую и села в кресло со словами:

— Лапочка, я готова.

Парикмахер живо вызвал другого мастера, и тот встал за креслом королевы с вопросом:

— Желаете постричься?

— Желаю, — отвечала Лир. Она была очень покладистой и никогда не спорила со слугами.

— А как? — спросил назойливый дядя.

— Вот как, — ответила королева и ткнула пальцем в картинку на стене.

На этой фотографии (это оказалась реклама краски для волос) был изображен молодой человек, бритый наголо, но с полосой щетины вдоль черепа, примерно как у коня. Полоса эта была зеленая.

Возможно, Лир хотела стать неузнаваемой, чтоб никто в нее не тыкал пальцем и не дразнил: “Королева, выдь из хлева!” — или еще как-нибудь.

А может, она хотела теперь прожить совершенно иную жизнь, которая ранее ей была недоступна.

Хотя вполне вероятно, что она просто не рассмотрела фотографию, очки-то остались во дворце!

— Так?! — спросил на всякий случай парикмахер.

— Да, — подтвердила Лир. Она не выносила долго разговаривать с лакеями. Всякий слуга знай свое место!

Короче, мастер выполнил прическу не моргнув глазом, и в таком виде Лир выкатилась на улицу, розовая, чистенькая, лысая, с зеленой щетиной повыше лба.

Парикмахер, увидев дело рук своих, окаменел и даже забыл про деньги, велосипедист на улице тут же, засмотревшись, налетел на столб, таксисты загудели, школьники приветственно засвистели, старушки-прохожие преувеличенно зааплодировали, такой был эффект.

Что касается самой королевы, то она тоже не вспомнила про деньги, ведь она никогда в жизни ни за что не платила, даже и не думала ни о чем подобном. А суматоха на улице была ей хорошо известна: Лир всегда так встречали, гудели, свистели, хлопали, толпились и т.д.

Но ее обычно быстро увозили с этих мест скопления, а на сей раз надо было уехать самой.

Лир тут же села на первый попавшийся мотоцикл — это был гоночный “Харлей” красного цвета — и уехала вон.

(У королевы была одна ошибка юности — офицер по особым поручениям на мотоциклетке. Он разрешал ей покататься, когда занималась утренняя заря, о жизнь! О надежды! О противные фрейлины...)

Ключ зажигания торчал на месте, поскольку хозяин мотоцикла был самый известный вор (Фердинанд по имени), и он не следил за своим имуществом, будучи уверенным в том, что он один тут такой нехороший, а остальные все честные люди. Эту мысль ему ошибочно внушили в первом классе, после чего бедный Фердинанд бросил школу, не желая быть самым плохим. Кому охота! Среди воров он был, кстати, лучшим.

Короче, Лир неслась на чужом мотоцикле по улицам, не соблюдая никаких правил уличного движения (она их и не знала).

Чему только учат королей, спрашивается?

Конец наступил очень быстро: крутая наездница (зеленый кок, синее заляпанное платье, мокрые туфли) заметила вдали полицейско-

го и резко затормозила. К счастью, она его заметила издали — у пожилых людей дальнее зрение как у ястреба!

Так что, когда полицейский подошел, Лир уже исчезла в первом попавшемся магазине, а полицейский потому приближался, что заметил красный мотоцикл вора Фердинанда в чужом для Фердинанда микрорайоне: что бы это могло значить? (У воров и полицейских все строго поделено на зоны влияния.)

Однако, когда он заметил постороннюю фигуру (зеленые волосы, синее платье) на мотоцикле Фердинанда, удивление его возросло: вор этот никогда никому ничего не давал, тем более мотоцикл. Уж не кража ли здесь?

С того и началась подпольная жизнь и полицейские преследования королевы Лир, а она тем временем нырнула в магазин и тут же нашла себе интересную одежду: кожаную курточку всю в заклепках, бархатные сапоги выше колен (как у прадеда на охоте) и белые джинсы, почему-то они ей пришлись по душе!

Она быстро переоделась перед зеркалом и тронулась восвояси, бросив платье и туфли на пол, а на выходе прихватила еще и седой парик с черными очками.

После чего Лир беспрепятственно удалилась ничего не заплатив — по все той же указанной выше причине. А продавец в глубине магазина раскладывал товар и даже не подозревал, что кто-то его обманывает. Так они и разминулись.

Старушка королева в новом наряде шла вдоль по улице, наслаждаясь свободой (полицейский ждал у мотоцикла указаний начальства и не узнал Лир совершенно), — все было великолепно, однако наступало время второго завтрака, и в животе у королевы заурчало, как будто там работал забуксовавший грузовик. Королева не могла понять, что это у нее за звуки, она никогда в жизни так не урчала. Но при виде первого попавшегося уличного буфета ее поволокло, как на веревке, к булочкам и сосискам.

— Мадам? — спросил продавец.

И через минуту Лир, держа в руке бутерброд длиной в полметра, впиалась в него своими фарфоровыми зубами с яростью уличной кошки. Для удобства Лир стащила с себя черные очки и парик, так что продавец, увидев лысый череп старушки с зеленой грядкой волос (как будто это вырос укроп), окаменел и замер с протянутой рукой (известно за чем протянутой).

Тут же, из деликатности не глядя в сторону Лир, к киоску набежал народ, а поскольку толпиться без повода в этом королевстве было не принято, то все начали активно покупать булки (тараша глаза на Лир), и продавец вынужден был отвлечься.

А королева, съев половину бутерброда, вернула продавцу недоеденное со словами: “Благодарю, лапочка, можете убрать это”. Она всегда так говорила слугам.

Продавец почему-то низко поклонился, но сделал вид, что это у него развязался шнурок. Ему было неудобно, но, с другой стороны, и

приятно. Какое-то чувство восторга разливалось в его груди, а деньги ерунда!

Королева же, сытая и свободная, стала думать о принцессе Алисе: малышка томилась во дворце под конвоем, а тут шло такое удивительное житье! Надо бы ее вызвать по телефону, подумала королева, однако она никогда в жизни не звонила сама себе во дворец, вообще никогда не набирала номер, это за нее делали другие.

Так что она остановилась в задумчивости, постояла среди жующей с выпученными глазами толпы, затем вздохнула, надела очки и парик и нырнула в первый попавшийся магазин — ей понравилось в магазинах!

Это была лавка новейшей техники. Тут, как оказалось, продается все — от компьютеров до телефонов, а Лир как раз нуждалась в телефоне.

Продавца опять не было видно нигде.

Лир погуляла среди полок, повертела какие-то штучки, пощелкала тумблерами, и вдруг раздался немыслимый вой. Откуда-то появился жующий продавец, он выключил то, что включила королева, и в наступившей тишине королева произнесла:

— Будьте добры, лапочка... Телефон.

— Вам какой телефон? — спросил, утираясь салфеткой, продавец.

— По которому можно позвонить, — ласково сказала королева.

Продавец понял, что перед ним редкостная идиотка (кому бы в голову пришло спрашивать телефон, по которому НЕЛЬЗЯ позвонить). Но малый не растерялся. Такую клиентку можно и нужно было надуть.

— По которому можно позвонить?

— Да, в королевский дворец.

— Момент, мадам, у нас как раз такой один имеется.

И он исчез. Лир еще долго торчала перед дверью, за которой он скрылся. Правила, в которых королева выросла, не позволяли ей выходить из себя, и поэтому она простояла ближайшие полчаса вроде солдата на посту, милостиво улыбаясь, прямая, как на параде. Она так ежедневно выстаивала, ожидая, когда кончится марш кавалерии и пойдет оркестр или когда все скажут свои речи и можно будет разрезать серебряными ножницами ленточку.

А продавец тем временем искал номер телефона дворца. Если бы он его нашел, то можно было бы продать глупой бабушке за бешеную цену какой угодно аппарат — как телефон, который именно один и звонит во дворец.

В этом королевстве среди продавцов иногда встречались нечестные люди, стремящиеся за дешевый товар взять большие деньги.

Наконец через троюродную сестру, которая была замужем за сыном грузчика буфета парламента (и очень этим гордилась), продавец нашел телефон дворца (он обещал сестре за это продать ее старый компьютер по цене нового).

Вспотевший от переговоров, он наконец выскочил:

— Мадам! Это тот телефон, по которому можно позвонить во дворец. Пожалуйста!

И он торжественно набрал номер.

— Алло! — скромно произнесла королева Лир. — Это вы, Вильгельм? Лапочка, дайте мне кабинет принцессы Алисы. Спасибо. Алло, это кто? Брунгильда? Дай мне мою девочку. Не важно. Это не страшно, уроки у нее каждый день. Вы слышите или нет, БРУНГИЛЬДА, алло. Это ты, Алиса? Это я! Тут на улице замечательно. Приезжай ко мне. — Сообщите ваш адрес, — сказала Лир продавцу. — Так. Улица Булочек, дом десять. Но никому не говори. Выходи из дворца, потом направо, налево, и я тут.

Десять минут Лир провела в магазине, вежливо слушая продавца, который, как ему казалось, уже уговорил ее купить педальный телефон, прибор для ужения рыб на мелком месте, бамбукокосилку, устройство ночного видения в условиях театра, стимулятор аппетита с дистанционным управлением и домашний преобразователь навоза.

На одиннадцатой минуте улицу Булочек огласил вой сирен, и рота мотопехоты ворвалась в магазин. Однако умная старушка Лир еще при отдаленном вое успела смыться на противоположную сторону улицы, причем сняла парик и очки. В таком виде она схоронилась в магазине напротив и через витрину наблюдала нашествие полиции, журналистов и операторов.

Алису привезли в черном лимузине размером с волейбольную площадку, принцессу сопровождали две молодые фрейлины, появившиеся во дворце всего сорок пять лет назад (Брунгильда и Кунигунда). Они тут же ринулись в магазин — кто скорее схватит королеву, а Алиса слегка приотстала.

Этим и воспользовалась Лир, которая дико заорала с другой стороны улицы:

— Алиса, ку-ку!

Алиса обернулась (“ку-ку” — это был их боевой клич при игре в прятки на королевской постели) и вскоре уже спокойно переходила улицу среди мотоциклов, бронетранспортеров и полицейских автобусов.

И бабка увлекла девочку в свой магазин, где не было ни единой души. Королева уже имела опыт и знала, что продавцы — самый редкий и ленивый зверь в городских джунглях. Покупатель должен завлечь этого зверя криком, выманить его к прилавку и заставить взять деньги! Так что никого в магазинчике не было, и одинокие королева и Алиса с интересом наблюдали толчею на улице, прибытие группы вертолетов и полка собак-ищеек, а телевизионщики быстро заняли все остальные свободные места, в том числе и тот магазинчик, где прятались Лир с внучкой. Оператор нахально попросил Алису поддержать кабель, а бабушке дал в руки ящик с чем-то, тяжелый и грязный, и, когда в магазин заглянули полицейские, они приняли Лир и Алису за мелкий обслуживающий персонал, потому что на них обеих в этот момент орал

администратор, упрекая Лир в том, что она разбила оборудования на миллион (дело в то, что Алисе надоело держать кабель, и она бросила его на пол, а бабушка через него переступила, но не полностью, и немного зацепилась каблуком и т.д. На полу лежал ящик, почти не разбитый, а когда оператор взял его в руки, внутри раздалось мелодичное дребезжание, как у старых часов во дворце).

— А штырь где, девочки? — орал оператор. — Где теперь штырь? Отдайте штырь, дуры!

Полицейские, слыша такую ругань, деликатно удалились.

Что касается Лир, то она никогда не слышала такого слова как “дуры”, и нимало не обиделась, а сказала Алисе:

— Детка, они, как мне кажется, потеряли какой-то штырь дуры, если я не ошибаюсь.

— Но, бабушка, у меня, как мне кажется, его нет! Если я не ошибаюсь!

— Куда ты его заныкала? — вопил оператор.

— Если мне не изменяет память, ты его не заныкала? — спросила Лир свою внучку, и, когда та отрицательно затрясла головой, бабка ласково сказала оператору: — Если я не заблуждаюсь, мой друг, она не заныкала ваш штырь дуры. Поищите его в другом месте, дорогой.

На крик оператора откуда-то вылезла утомленная продавщица.

— Лапочка, — сказала королева, — нам нужен какой-то выход. Тут все оцеплено полицией.

Продавщица молча повернулся и пошла, а царственные бабка с внучкой последовали за ней и в результате выбрались на соседнюю улицу Коровий Брод черным ходом. Продавщице очень, видимо, хотелось уйти из магазина вместе с ними, но она пересилила себя и вернулась на место работы.

А принцесса и Лир пошли куда глаза глядят по улице Коровий Брод, они осматривали прохожих, витрины, трижды заходили в магазины и переодевались во все новое, и их там никто не останавливал: повторяю, в этом королевстве было ограниченное количество воров — Фердинанд и пять штук других, да и то Фердинанд в данное время находился в полицейском участке, куда принес заявление об угоне мотоцикла.

Так Лир и внучка гуляли до вечера — что может быть приятнее неторопливой ходьбы по магазинам!

Причем бабка, как более опытная, при каждом переодевании прятала в новый карман волшебную карточку сына, заметьте!

К шести вечера внучка оказалась одетой в тельняшку и кожаные штаны, при этом она выступала на высоких каблуках, а в руках держала хохочущую куклу: при каждом нажатии на живот эта кукла заливалась бешеным смехом, в котором ясно слышался испуг и даже ужас. Алисе очень нравился этот жуткий хохот, она никогда ничего такого не слышала во дворце и поэтому почти все время нажимала на живот кукле.

Что касается Лир, то она переделалась в миленький красный костюм, который никогда бы раньше не осмелилась надеть: он был весь в золоте, а декольте такое глубокое, а юбка такая короткая! Старушка Лир почувствовала себя молоденькой глупышкой, особенно когда напялила кудрявый соломенного цвета парик, черные очки и сверху ковбойскую шляпу с дырочками!

Кудри совершенно заслоняли лицо и шею, и это было волшебное ощущение, и королева в своих бархатных сапогах шла как юная балерина, а рядом ковыляла на высоких каблуках Алиса Четырнадцатая с дико хохочущей куклой, парочка была просто загляденье!

Правда, на выходе в дверях очередного универсама раздался заунывный вой: это включилась сирена. То есть это был сигнал, что из магазина выносят неоплаченные вещи (а Лир всегда так и поступала).

Однако охранник даже не тронулся с места: покинешь пост, станешь ловить вора, поймаешь, поведешь к директору, а тем временем другие воры выпребут из магазина вообще все!

Это был ловкий известный всем прием, и охранник с мудрой улыбкой проводил взглядом двух дам, одна из которых, вся завешенная золотыми кудряшками, буквально верещала от смеха, при этом делая вид, что спокойно идет! А другая терзала двумя руками куклу, как будто хотела ее придушить.

Правда, охранник погрозил двум воровкам своей дубинкой, подняв ее вверх, и вот тут Лир по-настоящему испугалась:

— Алиса, бежим, он нас узнал и воздает нам королевские почести, приветствует жезлом!

Тут же они выскочили на улицу и помчались по Коровьему Броду, толкая прохожих с криками “извините, дорогая” и “о, простите, лапочка”.

Километра через два они пошли медленно.

Тем временем наступал вечер.

У Лир в животе опять завелся мотор, как будто его прогревали с мороза, а у Алисы позванивало и пищало, и, разумеется, они остановились около торговца пирожками.

Это был бедный и неумелый продавец, он первый раз вышел на улицу с корзиной — его жена напекла пирожков со всякой дрянью и выгнала мужа торговать, приговаривая: “Без тысячи домой не являйся!”

Хозяйка, кстати, начинила свои изделия вареной яблочной кожурой и полусырыми зелеными листьями капусты, которые обычно люди выкидывают.

Продавец искренне считал себя поэтому нечестным человеком, а если кто плохо относится к самому себе, то он так же плохо обращается с другими, известный эффект. Короче, продавец видел во всех покупателях воров и громко и злобно кричал: “А вот кому пирожки с экологически чистой начинкой! Ни грамма сахару (что было чистой правдой), мука грубого помола (т.е. отходы для скота), ура!”

Он орал, а покупатели, спеша с работы, хватали горячие пирожки, но стеснялись их есть на улице, уносили домой. В этом королевстве не принято было есть в постороннем окружении, — а вдруг рядом находится голодный прохожий, у которого могут возникнуть неприятные чувства от чужого чавканья! В таком состоянии и убить можно.

Короче, обманутые покупатели разбегались кто куда, а вот обе королевы взяли из рук продавца последние пирожки, якобы с капустой, и тут же начали их пожирать.

— Але! — сказал, скосоротившись, продавец. — А деньги? Девочки!

— Алиса, — заметила Лир, — ты не находишь, что эти пирожки чем-то напоминают такой материал для горшков, я не помню, кажется, называется “сырая глина”?

— Горячо сыро не бывает, — обозлился продавец. — Гони монету, бабуля.

— Я опасаясь, что вы правы, бабушка, — отвечала внучка, вытаскивая изо рта размокший кусок бумажного шпагата, сваренный по ошибке вместе с капустой.

— Я боюсь, что нам придется вернуть вам ЭТО, дорогуша, — сказала бабушка, с трудом отлепляя от своего роскошного фарфора кусок сырого теста. — Держите, держите. Съешьте ЭТО в любое свободное время.

Алиса же просто плюнула на газон кусок пирожка с веревкой.

Что касается продавца, то он оскорбился и закричал перекошенным ртом:

— Вызываю полицию!

— Да, да, вы правы, — сказала Лир, освобождая челюсти от кусочков теста с помощью мизинца (а что делать, мы не во дворце же!). — Этим должна заняться полиция.

Продавец помчался к телефону-автомату, но он не учел одного момента: обе дамы не знали обычаев данной страны, что если вызвана полиция, то ты обязан стоять не шелохнувшись возле места твоего преступления!

Короче, обе путешественницы, заметив, что продавец закрылся в автомате, тут же очень быстро пошли вон и вскоре скрылись в туманных далах улицы Коровий Брод.

Полиция приехала к продавцу через час (вспомним, что все машины и сотрудники этого учреждения толпились около улицы Булочек, дом десять, ища Лир).

К этому моменту продавец был уже побит собственной женой, которая пришла его проверять и недосчиталась денег за две штуки пирожков. Он стоял злой и обиженный, с синяком под глазом, и тут же заявил полицейским, что его избили и ограбили две шлюхи, одна из них молоденькая, кудрявая в красном платье, лица не разглядел, а другая — лилипутка, в матросском наряде и на каблуках, которая все время хохочет как ненормальная.

— Ага! — сказал полицейский, — только что звонили из магазина “Меха”, что пара грабителей оставила на полу красный костюм и кожаные штаны с тельняшкой. А есть какие-нибудь следы?

— Вон следы, — обрадовался продавец. — Они плюнулись моими пирожками!

Полицейские тут же собрали вещественные доказательства с газона, прихватили продавца как свидетеля и бросились в магазин мехов.

А Лир с Алисой давно уже оттуда смылись, и, постив по дороге одно мужское кабаре, решили прерваться, и теперь сидели в пивной, то есть завернули в первые попавшиеся двери отдохнуть от приключений.

Там они сказали, что очень хотят пить.

Но надо знать, куда ты заходишь!

Официант принес им по кружке пива — чего же еще ждать от официанта пивной?

А надо сказать, что во дворце пиво дамам не подавали никогда! И из-за этого все в дальнейшем сильно осложнилось.

Бабушка с внучкой накупились на пиво, дружно сморщились, но побоялись оскорбить официанта и не сделали ему замечания, что ваш лимонад слегка горчит, не кажется ли вам!

Кроме того, младшая дама заказала “вон ту штуку”, а старшая сказала “да, пожалуй, и мне, дорогой мой”.

Официант принес парочку сосисок.

Дамы отважно хлебали из своих кружек, съели сосиски и дружно сказали:

— Еще раз вон ту штуку.

Официант шел на кухню оборачиваясь. Еще бы! По виду это были совершенные японки в кимоно, с черными, как бы лакированными прическами. А вот глаза у обеих были круглые и голубые. Как странно!

— Еще сосисок! — сказал официант на кухне. — Эти японки вообще не знают, как называются сосиски и что такое пиво! Но выучили наш язык в совершенстве! И так вежливо разговаривают! Меня называют “дорогой”.

— Японки! — многозначительно ответил повар.

— А глаза у них голубые, видал, что творится? — воскликнул официант.

— Так они линзы вставили, — догадался повар. — В Японии все могут.

— А круглые глаза-то, — сказал официант, принимая горячие сосиски.

— Пластическую операцию сделали? — изумился повар. — Они на все способны, японцы.

— Вот ты умный, — сказал официант, — а я не понял.

Правда, когда он принес своим клиентам “вон те штуки”, они уже сидели опустив головы, при этом глаза у них были совершенно японские, узенькие.

— Во дают, — подумал официант. — Теперь они косые!

Бабушка с внучкой действительно сидели как настоящие японки, в кимоно и в черных париках, только как японки засыпающие. Они с трудом, промахиваясь мимо рта, стали есть по второй сосиске, но не доели. Практичная Лир спрятала свою сосиску в карман на всякий случай.

Это был самый конец их приключений, а перед этим, как мы уже сказали, наших дам занесло в магазин “Меха для новобрачных”, где они переоделись в роскошные шубки, а затем свернули в кабаре, где выступали мужчины с программой “Танцы девушек мира”, но королева Лир и принцесса Алиса вошли туда по ошибке со служебного входа и попали прямо в коридор за кулисами, где на вешалке висели приготовленные для артистов костюмы. И путешественницам так понравились первые с краю халатики и парички, что обе мгновенно переоделись, оставив на полу два меховых пальтишка — одно из серебристых горных лис, другое из пуха розового фламинго.

Костюмеры сразу прибрали оба манто подальше, а насчет пропажи дешевых кимоно и париков даже не стали заявлять в полицию, мало ли что бывает! Ну не будут японские девушки сегодня танцевать, да и какие это девушки, если честно говорить, — перед выступлением бреют мало того что лицо, но и горловину вынуждены почти до пояса, и руки и ноги, а спины им бреют костюмеры, одну японку зовут Герберт, другую Владимир, обе японки эти женаты, просто артист должен зарабатывать хоть как-то, хоть в виде японской тетки.

Так что меха исчезли навеки, кимоно и парики тоже.

Таким образом, полицейские появились в телевизионных новостях с ошибочным сообщением, что в районе улицы Коровий Брод разгуливает парочка грабительниц в дорогих манто (из лис и фламинго), причем на их счету многое: чувствуется, действуют опытные зарубежные группировки, колумбийские женщины-боевики или — о ужас! — русская мафия.

За этой мафией числится: угон мотоцикла, кража кожаной куртки, белых джинсов, седого парика, сапог и очков, затем кража тельняшки, кожаных штанов, красного костюма и белокурого парика, шляпы, а также двух пирожков с начинкой из вареных веревок (эксперты изучили вещественные доказательства) плюс похищение двух меховых пальто и одной куклы.

— Неслыханное преступление, — заявила полиция, — за это ворам полагается в общей сложности пожизненное заключение плюс еще сорок пять лет ссылки, а также лишение водительских прав и лишение права, сидя в тюрьме, смотреть по телевизору на королевскую семью!

Официант, который ухитрился и столики обслуживать, и смотреть на экран, ахнул и сказал обеим японкам (с очень уже косыми глазами):

— У вас в Японии воруют?

— Простите? — откликнулась Лир, находящаяся под большим впечатлением от бокала пива и ошеломленная передачей по телевизору. Неужели это их с Алисой ищут?

— У нас вот воруют по-черному, — сказал официант. — У нас в королевстве.

— Сомневаюсь, что я вас поняла, — отбрила Лир официанта. — Еще, пожалуйста, две штуки вон того. Аудиенция окончена, ступайте, детка.

— О японская мать! — воскликнул официант кланяясь. — Ну все для вас сделаю.

Это обещание он вскоре выполнил, поскольку обе японочки заснули головой на стол, и пришлось их вести к такси и сопровождать в гостиницу “Две звезды”, где обычно ночевали самые нестойкие посетители пивной.

Утром этим посетителям, как правило, подавали счет (пиво, такси, гостиничный номер, разбитое зеркало, врач, перевязочный материал, перевязочный материал доктору, перевязочный материал ночному портье, сиделка у постели до утра, вооруженная пистолетом, в мундире и при фуражке, и т.д.).

Официант был уверен в том, что японки не подведут в смысле денег: из кармана кимоно у старушки выглядывал уголок королевской кредитной карточки, так что официант сам сопровождал своих клиенток в гостиницу и добился для них самого лучшего номера.

На следующий день Лир проснулась в каком-то странном месте: не было золотых зеркал, постели оказались без балдахинов, вместо ковра лежала какая-то лысая тряпка... Ни одной спящей фрейлины, нет служанок и оркестра за ширмой, голову что-то стягивает, но явно не корона, во рту вкус немьтой железной вилки (королева один раз ела такой вилок во времена визита в хижину бедняка на острове Туруроа — этот бедняк был местный царь).

На соседней кровати в парике, кимоно и башмаках спала бедная Алиса.

“Боже мой, — подумала Лир, — мы в тюрьме!”

Она все тут же вспомнила и поняла, что их с Алисой осудили на пожизненное заключение!

— Алиса, вставай! — железным и острым, как вилка бедняка, голосом завопила Лир. — Ты арестована!

В дверь грубо постучали.

— Не кажется ли тебе, Алиса, что нас идут казнить? — продолжала гордая королева. — Встань! Встретим их как подобает! Казнь всегда бывает на рассвете! Сейчас как раз одиннадцатый час утра!

Алиса сказала:

— Ой, бабушка, мне неохота вставать в такую рань... Пусть казнят меня лежа...

В комнату вошла тетенька с пылесосом.

— Алле! Разрешите?

— Мне о вас не докладывали, — сказала Лир.

— Я хочу убраться.

— Убирайтесь, моя милая, и немедленно, — заявила Лир.

Тетенька кивнула, включила пылесос и стала носиться по тюремной камере с ревом и грохотом.

Когда она скрылась в ванной, и начала там лить воду, и стучать щеткой, Лир воскликнула:

— Надо срочно бежать! Она забыла запереть камеру!

Они тут же выскочили в гостиничный коридор и помчались куда-то, нашли лестницу и вихрем скатились вниз, прямо к стеклянным дверям.

— Стойте! — закричал портье. — Стойте!

Он кричал не просто так: клиентки не заплатили ни за ночлег, ни за побитые зеркала (портье как раз фантазировал, вписывая количество покаленной мебели и порванных полотенец в счет, уши его горели).

Однако Лир и Алиса выпрыгнули из гостиницы и тут же вскочили в отходящий автобус.

Шофер увидел в зеркальце двух румяных японок и стал ждать, когда они подойдут купить билеты (в этой стране было принято стоять в очереди к водителю с целью отдать ему деньги за проезд).

Японки, тяжело дыша, подошли к шоферу, и старшая на прекрасном местном наречии (хотя и несколько старомодным языком) сказала:

— Здравствуйте, дорогой мой! Доложите мне, лапочка, где тут находится дворец?

— Дворец? — задумался паренек, ведя свою тяжелую машину. — Вам дворец спорта?

— Если я не ошибаюсь, нет, — сказала Лир вежливо.

— Или дворец бракосочетания?

— О, не думаю, — улыбаясь, ответила Лир.

— Или Дворец культуры имени Пьера Великого?

— Не уверена, дорогой, — торжественно произнесла Лир. — Боюсь, мне нужен королевский дворец.

— Западный монастырский, что ли?

— Опасаюсь, что именно так.

— А что вам там надо? — весело спросил шофер.

— О, ничего особенного, — улыбаясь, ответила Лир. — Вы нас туда не отвезли бы, котенок? К четырнадцатому подъезду? Вы не пожалеете, мой милый.

— Четырнадцатый подъезд — это не мой маршрут, — от души смеясь, сказал шофер.

— Я повелеваю вам, — беспомощно, но с угрозой в голосе произнесла Лир.

— Исключено, мадам, — весело ответил водитель.

— Вы пожалеете об этом, — провозгласила королева Лир. Она имела в виду, что не наградит его орденом Синего Носка, как намеревалась.

Тут старушка вспомнила про волшебную карточку, с которой никогда не расставалась. Может, показать ее шоферу?

И Лир полезла в карман кимоно, где, как оказалось, у нее лежала почему-то недоеденная вчерашняя совершенно очоженевшая сосиска.

Лир смутилась и стала выуживать карточку, минуя сосиску.

И сквозь карман кимоно явственно проступили грозные очертания продолговатого округлого предмета, похожего на дуло.

Шофер был зоркий паренек. Краем глаза уловив решительные движения японской бабушки и выступающее сквозь шелк дуло, он сказал:

— Куда едем?

— Четырнадцатый подъезд, если можно. Сразу за конной статуей моего дедушки!!!

Королева уже говорила с шофером голосом этого самого дедушки, воинственного генерала: в минуту опасности он срывался на визг, который разносился по всему полю боя (мегафонов-то раньше не было!).

Лир дико была испугана. Дело заключалось в том, что Алиса давно толкала ее в бок, приглашая оглянуться: за автобусом ехала полицейская машина со включенной мигалкой, и там из окошка махал рукой гостиничный дежурный!

— Хорошо, мадам, не волнуйтесь так, мадам.

Бабушка кивнула и рявкнула голосом своего прославленного деда:

— Быстрее! Как можно быстрее!

И она с еще большей нервностью затрясла карманом кимоно, ища проклятую карточку.

— О, не надо волноваться! Это недалеко! — завопил встревоженный водитель, кося глазом на пляшущее под шелком кимоно здоровенное дуло. — Сейчас!

Полицейская машина тем временем вырулила среди потока транспорта и помчалась на обгон автобуса.

— Еще быстрее! Вперед, мой мальчик! — гаркнула королева.

Алиса, слыша, что полицейская машина включила сирену, вцепилась в живот своей куклы, и жуткий хохот перекрыл все окружающие звуки.

Бедный шофер втянул голову в плечи, вторая японка за его спиной была к тому же и сумасшедшая — так дико смеяться! Это надо подумать! У нее прямо истерика! Застрелят как зайца!

И водитель поступил так, как поступают все люди, стремящиеся уйти от опасности: он помчался на своем автобусе вперед, как ошалевший мамонт. Он загудел, затрубил, и все машины впереди свернули с дороги.

Пассажиры автобуса вцепились в свои кресла, а некоторые даже легли на пол.

— О, bravo, лапочка! — перекрывая бешеный куклин хохот, вой сирены и клаксон автобуса, воскликнула Лир.

Гремя как таратайка, автобус поехал на красный свет, пересек площадь и нацелился в открытые ворота дворца.

У ворот мирно стояли гвардейцы в медных касках с перьями. При виде автобуса они заметались, но королева и Алиса нагнулись и ответственно помахали руками.

Гвардейцы оцепенели.

— Так, теперь направо... Нам сюда, дорогуша, — милостиво сказала Лир.

Шофер затормозил своего мамонта у подъезда и открыл дверь.

Королева спросила Алису:

— Тебе понравилось, детка?

— Боюсь, что да, — ответила Алиса.

— Когда-нибудь еще погуляем, а? — произнесла шепотом Лир, и Алиса сдержанно кивнула.

Шофер автобуса, бледный, наблюдал за тем, как к японкам со всех сторон бегут люди в мундирах, камзолах, халатах, ливреях, как вываливаются из этого четырнадцатого подъезда дамы в декольте и со шлейфами, как они приседают, как трубят музыканты, бьют в барабаны, как ведут японскую девочку две пожилые тети и как они падают в обморок при звуках бешеного механического хохота, который вырывается у этой юной японки из груди, к которой прижата кукла...

— Ах да, — сказала, возвращаясь к автобусу, старая Лир (при этом она стащила с головы ненужный японский парик и обнажила свою лысину с грядкой зелени, и шофер побагровел и покрепче уселся на сиденье, вцепившись в рычаг), — ах да, этому милому человеку надо дать орден “Львиная грива” за спасение королевы и орден “Кошачьи усики” за спасение принцессы. Запишите, Вильгельм!

И при этом она зорко, как ястреб, посмотрела за ворота, где остановилась полицейская машина...



*Владимир Строчков*

## МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ

Стихи

\*\*\*

И длилась битва день и ночь между Добром и Злом.  
Злом одержимый брал Добром умением и числом.  
Добром просил его не брать, чтоб было все путём,  
и норовил его достать катаньем и мытьём.  
Злом укатался над Добром и смылся без следа,  
и был питательный бульон ему с гуся вода.  
Как кур во щи, как гать в ноши, прокрался он, как вор,  
и взял умением и числом, и скрылся за бугор.  
Но с кулаками был Добром, с киркою и с багром,  
и он прознал, что хитрый Злом питался за бугром,  
и тихой сапою Добром подкоп заделал в Злом,  
и шнур гордиев завязал бикфордовым узлом,  
с хорошей миной заложил и когти подорвал.  
Весь день отягощенный Злом раскапывал завал.  
— Добро же! — пригрозился Злом, но вырыться не мог,  
хоть рыл уже не чуя рук, не покладая ног.  
— Совсем урылся бедный Злом, — злорадствовал Добром  
и довершил его погром киркою и багром.  
В печёнку, в селезенку, в бок и в Бога душу мать  
накостылял ему Добром, чтоб Злом не мог восстать,

и доброй сотней костылей прибил его к скале,  
чтоб пусто было от него ему и всей земле.  
И стало пусто на земле, безвидно и светло,  
и лишь Добром над ней ширял с киркою наголо,  
с хорошей миной на лице, с багром наперевес.  
Но, наширяться не успев, со всем Добром исчез.  
Куда с Добром совсем пропал, вопрос, а где ответ?  
Добро бы, скажем, улетел, а то сошёл на нет,  
туда, где есть ответ, куда, но нет на нет суда,  
а тут вопрос, но нет как нет из нет пути сюда.  
Как лучше он хотел, Добром, да, видно, не судьба.  
Вот так между Добром и Злом закончилась борьба.  
Вопрос: кому из них двоих сильнее не повезло,  
и чем закончилась борьба между Добром и Злом?

\*\*\*

В костяке стояка  
шелест мыслей ночных, тараканов,  
сокрушений и снов.

На манер трояка  
жизнь, дешёвая, как провокатор,  
не тревожит основ.

Это старый обман,  
весь потёртый на складках и сгибах,  
но с имперским тавром,

туалетный роман  
с бородатым портретом сагиба  
и — куда там с добром!

Оперевшись на опыт  
седых дураков ветеранов,  
провалиться в труху.

Это даже не опп,  
это розница разницы драной  
на искусном меху

и умелой руки,  
помавая искусственным членом,  
извлекающей кайф

(так торчат стояки,  
где ночной незадачливый пленум  
косяком протекает)

из коммерческой мзды  
в виде маржи безнала и нала,  
новый сердцу восторг,

когда всё до звезды:  
и маржовый размер небывалый,  
и немеркнувший торг.

Прислонясь к косячку  
и планируя прошлую бытность,  
принимать перед сном

по сливному бачку  
этих скабрезных лет монолитность  
за свержение и слом?

Как вербать через рот  
это дивное членов устройство,  
не сыскав языком

в бочке золота брод?  
Как развёрзгать уста, не устроив засор из расстройства  
речи под стояком?

\*\*\*

Волосатые клубни кучевых облаков, кочевых евреев,  
уходя на закат, молчат на языке Исхода:  
— Потерпи. Это только на время.  
На недолгое время. На время года.  
На сезон. Зажимая руками солнце,  
помогая свернуться и не давая выпечь,  
говори. Заговаривай. Эти кольца  
не гадючьи — годичные. Пара-другая тысяч.  
Это просто круги на дереве, как на воде,  
от того, что кануло, словно камень,  
и они расходятся и затухают, где  
наши беды разводятся на воде руками.  
Всё пройдёт и в новом обличье вернётся назад:  
облака и волны, степь, холмы и закаты,

все слова и вещи, места и сроки.  
Потерпи. Вместо этого языка ты  
обретёшь другой и запишешь на нём эти строки.  
А вчера или завтра от них разойдутся круги  
и годичными кольцами или писком телеграфного кода —  
всё равно. Нету разницы между одним и другим  
языком всегда одного и того же Исхода.

\*\*\*

Суженый мой охотится меж холмами,  
выжженный вертоград — его уголья,  
стрелы его летят шибче серны,  
нежных рыжих лисят разят за валунами.  
Брошены дикой охоты его поводья  
там, где исходят жёлтым дымом серным  
страсти пересохшие реки.

Ожидания долгого срок мой тёмн,  
от желания тёмного шаг мой трудн,  
наведите кармин мне на губы, рот мой жаден,  
нарумяньте щёки мне, лик мой чуден,  
насурмите брови мои, взор мой томен,  
положите мне тени для век в ямы впадин,  
поднимите мне веки!

## РЕЧЬ

Что ж, коль не оклик, то окрик, отблик функции отклика,  
и немые круги расходятся холодно, медленно,  
а годичные кольца — что это, чьё это?  
дрожь, искажение облика,  
еле заметное,  
четкоё.

Сдвиг по щёлям, по трещинам, лазам между пустотами,  
дрожь между тьмою и тьмой мгlistыми теньями,  
из сгущений смещений кольчатым выползком  
меж ячеями и сотами,  
гулами в темени,  
выплеском.

Вниз по окольным отлогим склонам древними глинами,  
след проползания слизней, полозья оползней;  
те вековые полосы — чьи это, чем это? —

вдоль узковатыми клиньями,  
шелестом пóлостей,  
щебетом.

Коли не Хаос, то Хронос, впалость паузы, пропасти,  
хоры Рока и Кармы, малость голоса Логоса  
и гудение плещ мельницы; узоности  
прописей между лóпастей,  
лепета лотоса,  
ужаса.

Как это ходит по кругу: стаи поводов, паутов,  
петли и скидки следов, складки и впадины,  
кольца холодных тел — где это, с кем это?  
треском, шипением в паузах,  
шорохом гадины,  
шелестом.

Полые гады подкопов под кодов знаки и символы,  
гулкие штреки цезур, пауз пáзы и полости,  
алфавітов и азбук коленные вывихи, выверты.  
Демоны, боги и идолы  
пұсты и пористы,  
выветрены.

Есть только палая полая ветка дерева выбора.

Уютное, сентябрь 1993, сентябрь 1994



*Анатолий Кудрявицкий*

## **КРИПТОМЕРОН**

**Калейдоскоп историй\***

Это, верно, тот самый лес, где  
нет никаких имен и названий.

*Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье*

У каждого дерева своя тайна.  
У каждой тайны свое дерево.  
Криптомерия — дерево всех тайн.

*Из апокрифов*

### **ГОРОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ**

В нашем городе все барометры показывают “ясно”. Какая бы ни была погода.

Все улицы нашего города ведут на север. Даже если идти в обратном направлении, все равно на север попадаешь.

А еще у нас есть флюгера. Каждую ночь они собираются вместе и скрипят о чем-то своем, утром же дружно смотрят в разные стороны.

---

\*Полностью книга “Криптомерон, или Калейдоскоп историй, услышанных под криптомерией”, избранные новеллы из которой мы предлагаем читателю, будет опубликована в нынешнем году издательством “Книжный сад”.

Часы у нас полдня идут вперед, полдня — назад. Дважды в сутки стрелки сходятся и умывают руки. Вода капает на мостовую. Злые языки говорят, что это часы плачут; однако с чего бы им плакать?

У нас не бывает происшествий. Наш город так и называется — Город Без Происшествий.

Недавно нас накрыли стеклянным колпаком. Иногда мы замечаем, что кто-то приходит на нас посмотреть. Кто-то большой. То ли Бог, то ли ребенок.

## ВЫБОР

Часы на ратуше пробили тридцать три.

“Пора на прогулку”, — понял я и выпал из окна.

Плылось легко, углы огибались сами собою. Чей-то черный плащ подметал брусчатку впереди.

“Догоню”, — подумал я, но не тут-то было: фигура в черном плыла так же медленно, как я.

Вдруг из прорехи черного плаща выпало что-то золотое. Я подобрал. Оказалось, записка. Разворачиваю, читаю: “Солнце”. И все, никаких пояснений.

Плащ тоже остановился, из-под капюшона на меня выжидающе глядела пустота. Я подался вперед, но плащ в то же мгновение поплыл от меня.

За следующим углом я подобрал еще одну, серебряную, записку. Там было начертано: “Луна”. Черный плащ опять остановился.

Я пожал плечами и снова попытался его схватить. Мы поплыли дальше.

За очередным углом брусчатку устилали палые листья. Совсем зеленые. Даже не останавливаясь, я поднял один и прочитал на нем: “Звезды”.

Бросив лист, я продолжал следовать за плащом. Завернул за угол — и провалился в пропасть.

Летел я долго. Мимо мелькали рассветные пляжи Солнца, тихая ночная деревня Луны, зеленые звездные сады. Отсутствие веса не давало мне остановиться. Вокруг ухали совы и кто-то нахально смеялся.

Наконец обозначилась и точка назначения — Земля. Я со свистом влетел в свое окно и приземлился прямо на письменном столе.

“В конце концов, я снова выбрал то, что уже выбрал”, — улыбнулся я.

Часы на ратуше пробили тридцать три.

## КОЕ-ЧТО О ТЕБЕ

Посреди пустоши я вдруг обнаружил указатель — стрелку, нацеленную непонятно куда.

Дорог вокруг не было, даже тропинок, — я нарочно выбрал для прогулки такое место.

Стрелка эта меня заинтриговала. Я пошел в указанном направлении, долго брел напрямик через пустошь, пока не начало темнеть. Тут я пересел в неказистый дом с крыльцом и вывеской, по виду — трактир.

На вывеске я прочитал: *“Кое-что о тебе”*.

*“Какое странное название для трактира”*, — удивился я и решил войти.

Внутри было темно. Я двигался на ощупь по коридору. Наконец под какой-то дверью блеснула полоска света.

Я постучал, раз и еще раз. Ответа не было. Тогда я толкнул дверь.

Комната оказалась пуста. На столе стояли три свечи, а рядом — зеркало.

Я заглянул в него и увидел...

Впрочем, я не скажу вам, что именно я увидел. Потому что с этого дня я стал носить другую одежду, изменил внешность и уехал в дальние края, где меня никто не знает. Где ни одно зеркало не сможет мне сообщить *“кое-что обо мне”*.

## ПРОГУЛКА

Выходя в город, профессор Таузентойфель надевает слепые очки, берет в руки цветущую трость и выверяет угол наклона своего туловища. Правильный угол составляет сорок пять градусов минус температура воздуха.

Профессор питается запахами. Поскольку в городе профессорам и запахам раздолье, профессор наслаждается прогулкой. Он подробно обнюхивает каждую коровью лепешку, каждый цветок подсолнуха. Особенно долго профессор стоит перед свинарниками. Не то чтобы он любовался свиньями, нет, просто он чувствует на себе их обожающие взгляды.

Заслышав скрип мельничных колес, профессор поворачивает на этот звук и попадает в центр города. Вот он выходит на центральную площадь и нюхает молодую синеву васильков на необъятном поле — человек, собою примиривший противоречия этого алогичного мира.

## ЧЕЛОВЕК-ВОЛК

— Сейчас он возьмет след, — шепнул мне брат Мартинус.

Человек-волк опустил на колени между стульями, принялся к паркету, затем вдруг, отпихнув задом официанта, помчался на четвереньках между столиками.

— А теперь он скинет фрак, ибо тот мешает вести погоню, — опять зашипел мне на ухо брат Мартинус.

Человек-волк скинул с себя не только фрак, но и вообще всю одежду. Шерсть его оказалась бурой и свалявшейся.

— За кем это он? — поинтересовался я, пригубив аперитив.  
— За добычей, а может быть, за самкой.  
— Что нужно для того, чтобы стать хищником? — задал я теоретический вопрос.  
— Научиться есть других и не есть себя.  
— Вот как... Гм-м... А откуда вы так хорошо все это знаете?  
— Я мог бы сказать вам, что в результате наблюдения за человеком-волчьей природой, — молвил мой собеседник. — Но скажу правду: мы с ним братья.  
С этими словами брат Мартинус откинул капюшон своей мантии. Под ним была овечья голова.

## ВОЛК В ГОРОДЕ

По самой середке улицы бежал волк. Бежал неторопливо, ничуть не скрываясь, высунув красный язык.

Кто-то позвонил в ратушу:

— Скорее! Волк! Пришлите полк солдат!

Последовала просьба:

— Опишите внешний вид волка.

Пока волк был во всех деталях и частности описан, в его брюхе успели исчезнуть три горожанина.

В трубке после непродолжительного молчания послышался голос:

— Ждите. Ищем волка по нашей картотеке.

Волк тем временем закусил лошадьё и шел уже вразвалочку, нагло.

Наконец звонившему был дан ответ:

— Волк по картотеке числится как ручной. Высылаем за ним клетку.

Волк и клетка на площади появились одновременно. Волк послушно вошел в клетку, зевнул и лег спать.

Клетка с волком вскоре была доставлена его хозяину, студенту Вольфгангу.

## КАБАН И БЛАГОДЕНСТВИЕ

В ратушу названивали:

— По улицам бежит огромный кабан!

— Кабан распорол кому-то ягодицу!

— Кабана видели мертвым!

— Кабан подкапывается под Дуб Благоденствия!

Вот раздался очередной звонок. Бургомистр снял трубку и услышал:

— Это кабан говорит. Собственно, чего вы все от меня хотите?

Бургомистр не поверил своим ушам, но на всякий случай сказал:

— Чтобы ты не занимался членовредительством.  
— Это для разминки, — ответил кабан. — Еще что?  
— Не подрывай Дуб Благоденствия! — возопил бургомистр.  
— А желудей дадите? — с надеждой спросил кабан.  
— Обойдешься.  
— Ну тогда считайте, что не договорились, — обиженно хрюкнул кабан и повесил трубку.

Через час его подстрелили у Дуба Благоденствия. Неблагодарный! Он покушался на святое! Я имею в виду отнюдь не ягодицы наших сограждан.

## ВЫШЕСТОЯЩАЯ ИНСТАНЦИЯ

— Вы можете поговорить с Богом, — сказали мне и дали телефонную трубку.

— Господи, — возопил я, — почему жалованье такое маленькое?

— Жалованье — от кесаря, — послышалось в трубке.

— А цены почему такие большие?

— Цены — от лукавого, — сообщил голос. — Тебе что, больше не о чем меня спросить?

— А откуда взялись кесарь и лукавый? — вскричал я в последнем пароксизме разумения.

— О, вот они-то — от Бога, — ответила трубка. — Поговорим лучше о мироздании...

Тут космическая связь прервалась, а меня в цепях потащили к кесарю.

— Так это ты жаловался в вышестоящую инстанцию?! — смерил меня взглядом кесарь.

## СЧАСТЬЕ

Окошко, где выдавали счастье, было высоко в небе. Мы стояли, образуя своими головами ступеньки лестницы. Мысли, правда, витали где-то далеко, да и были какие-то второсортные. В самом деле, кому придет в голову что-либо путное в очереди за счастьем ли, за маргарином или за зарплатой?

Получившие счастье слетали на Землю — то ли с помощью крыльев, то ли как-то еще. Некоторые сходили вниз по нашим головам — видно, слишком много счастья набрали, чтобы лететь.

Очередь двигалась крайне медленно. Некоторые не выдерживали и падали вниз. Об их судьбе мы не задумывались.

Шепотом передавали слух, что счастье вдвухают в уста — тихо и нежно.

Прошла четверть века. Я уже приближался к окошку. Еще через пару лет я наконец подступил к нему.

— Ах, это ты, — прокряхтели кузнечные мехи там, в глубине. — Сколько же тебе надо счастья?

— Столько, чтобы испытать на Земле неземное блаженство.

Кряхтение прекратилось. Видно, кто-то внимательно изучал мою просьбу.

— Ну, получай!

И в окошко ударил вихрь; он не только сбил меня с ног, но и закружил в воздухе всю очередь. Я плавал в невесомости и кричал от радости: вот оно, счастье — быть свободным, оставить земную тщету!

Тут кто-то подлетел ко мне поближе.

— Скажите, вы — последний за счастьем?

Я дал ему пинка и заорал:

— Да вот оно, счастье! Бери, сколько хочешь! Какое тебе еще нужно?!

Он полетел к другим — занимать очередь.

## ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

Хороший магазин — мечта горожанина. Я слежу за появлением новых магазинов, особенно больших, — люблю бродить по их просторам после открытия. Почему-то меня это вдохновляет.

Так я попал в магазин “Почетный гость”. При входе мне дали тележку на колесиках, и я весело катил ее — пока пустую — перед собой.

В первом ряду, по которому я проходил, продавались мундиры с эполетами, фраки, вечерние платья, ювелирные украшения. Несколько удивила меня витрина с орденами и медалями — мне всегда казалось, что их не продают, а вручают за заслуги. Но может быть, я и отстал от жизни.

Вот я завернул на другую линию. Товар здесь был более чем странный: продавались должности — от низших до самых высших — чиновничьи, генеральские и даже президентские. Приказы с пробелами на месте имен лежали в раскрытых ларцах, отделанных драгоценностями. Продавались даже дипломы нобелевских лауреатов!

Я удержался от соблазна уложить в тележку какой-нибудь из этих ларцов, не полагая себя достойным таких отличий.

Однако вскоре соблазн меня все-таки одолел. Когда в дипломах замелькали слова “мастер стиля” и “классик современной литературы”, я не удержался, и в тележке моей появились два ларца. Откровенно говоря, я давно уже почитал себя мастером стиля и классиком современной литературы, только вот убедить в этом других было не так легко...

От этих размышлений меня отвлек продавец.

— Извините, к этим ларцам полагаются фрак и мантия, — сказал он.

Я зашел в кабинку, снял свою одежду и облекся в белую сорочку с бабочкой, а затем во фрак. На плечи мне продавец накинул пурпурную мантию до самых пят.

Выходя из кабинки, я чуть не столкнулся с важным багроволицым старцем, с трудом толкавшим перед собой тяжело груженную тележку. Каких только ларцов в ней не было! Старец пожелал стать и генералом, и академиком, и столпом философской мысли! Только президентского ларца он не взял — видно, ему помешал возрастной ценз.

В мантии и с тележкой я направился к кассе. Станный, наверное, был у меня вид! Старик брел впереди меня. “Интересно, сумеет ли он расплатиться”, — подумал я. Продавец уважительно встретил старика, меня же попросил подождать.

Ларцы из тележки старца были выгружены на прилавок. Продавец достал счета из красного дерева — верно, антикварные — и начал на них что-то считать.

Я присмотрелся. Костяшки были выточены в форме черепов. Редкая вещь!

Наконец итог был подведен. Расплачиваться старика пригласили в кабинку рядом с кассой. Кабинка напоминала примерочную — стальная рама и парчовые занавески на кольцах. Продавец со старцем зашли внутрь, черная завеса за ними задернулась.

Меня обуряло любопытство, и я незаметно оттянул край занавеси с противоположной стороны. Вижу, продавец помог старику снять мантию, и тот остался в черном фраке. Затем продавец пододвинул ему стул и сказал:

— То, что вы выбрали, весит три жизни. Присядьте, пожалуйста, мне надо проверить, выдержите ли вы этот вес.

Старец сел на стул. Продавец хлопнул в ладоши — и старец исчез. Продавец снял со стула черный коврик и, перевесив его через свою руку, словно полотенце, поставил стул на место. Коврик очертаниями напоминал человеческое тело. И тут я понял: коврик — это и есть старик, вернее, то, что от него осталось. Продавец аккуратно завернул его в пурпурную мантию.

Все это время я глядел в шелку, объятый ужасом. Продавец вышел из кабинки с другой стороны.

— Друг мой, где вы? — позвал он меня. — Я к вашим услугам.

И тут я сорвался с места. Схватив оба тяжелых ларца, я побежал в глубь рядов.

“На место, все положить на место!” — твердил я, как заклинание.

И я успел. Продавец бежал за мной по пятам и, наверное, настиг бы меня, но мантия упала с моих плеч прямо ему под ноги.

Я поставил ларцы на место и сразу же помчался дальше. На бегу я сорвал с себя белую сорочку, бросил ее и остался в одном нижнем белье. Продавец уже не преследовал меня, но я этого не видел.

В великолепном прыжке я перемахнул через прилавок, выбежал полуголым на улицу и был таков.

Происшествие это я буду помнить, наверное, до конца своих дней. Может, я и недостаточно набрал, чтобы пришлось расплачиваться жизнью, но как знать! И не спрашивайте меня, в каком городе был тот магазин. Думаю, такой есть в каждом.

## ИЗ ЖИЗНИ ПЕРСОНАЖЕЙ

В ложу этого театра я попал случайно — мне просто захотелось прогуляться по лондонским улицам. У Ковент-Гарденского рынка какой-то подозрительного вида нищий продал мне билет в соседний театр, а потом даже угостил понюшкой табаку.

В билете значилось: “Гамлет. Трагедия «Уильям Шекспир»”. Подивившись забавной опечатке (разумеется, должно было быть так: “«Гамлет». Трагедия Уильяма Шекспира”), я пробрался в ложу и от нечего делать стал разглядывать полутемный партер. Там происходило какое-то шевеление, зрители занимали места, переговаривались между собой, смеялись.

Наконец зажгли свечи. И тут мне стало не по себе. Зрители были в каких-то фантастических костюмах: в римских тогах, венецианских камзолах, а некоторые даже в рыцарских латах. Присутствовали и дамы, одетые также весьма архаично.

Внезапно разговоры стихли. В ложе рядом с моей появился человек в длинном черном плаще, с суровым и не улыбочивым лицом. Кого-то он мне очень напоминал.

— Автор! Автор! — зашелестели в партере.

Тут я вообще уже перестал понимать, куда я попал, что это за пьеса, да и вообще, не разыгрыш ли это.

Человек в черном плаще поклонился публике и повелительно поднял руку. Шум стих.

Вот заиграли фанфары, занавес поднялся — и открылись декорации средневекового английского городка.

В первой сцене изображалось рождение малыша в семье зажиточного перчаточника, во второй — его детство. Действие происходило в городке Стрэтфорд-на-Эйвоне, и я наконец уверился, что эта пьеса — из жизни Шекспира.

Но кто автор? Неужели действительно, Гамлет?

Вот дело дошло до написания сонетов, а затем пьес, вот на сцене уже пошел 1600 год, когда и была написана трагедия “Гамлет”.

“Что же будет дальше?” — думал я.

А дальше королева попросила Шекспира рассказать историю своей жизни. Свет на мгновение погас, затем вновь зажегся, и пьеса начала разыгрываться с самого начала.

“Ну, конечно, — понял я, — если автор пьесы — Гамлет, он не может знать, что происходило с Шекспиром после того как тот написал трагедию о нем самом — он ведь стал персонажем и существовал отныне вне сознания автора”.

Так пьеса разыгрывалась три раза и вскоре пошла бы уже на четвертый заход, когда я понял: надо что-то делать, иначе я свихнусь.

Недолго думая, я схватил стул и бросил его на сцену. Мне повезло, и стул попал именно туда, куда я хотел, — в Шекспира. Тот свалился без чувств. Бесконечное представление прервалось.

“Угадал! — обрадовался я. — Именно в Шекспира, а не в Гамлета — тот ведь вымышленный персонаж!”

Только в мозгу у меня прозвучало это слово, как зажегся яркий свет и вся публика в партере уставилась на меня.

Бог ты мой, кого тут только не было! Просперо и Меркуцио, Джульетта и Офелия, Фальстаф и Макдуф... Даже осел из “Сна в летнюю ночь” сидел в кресле! Многих я распознал, другие были незнакомы даже мне, страстному поклоннику Шекспира. Однако сейчас все эти лица, обращенные ко мне, выражали только лишь негодование.

— Человек! Это живой человек! Как он пробрался сюда, зачем подглядывает за нами? Не покончить ли с ним?

Благородный Просперо остановил взбудораженную толпу.

— Скажи, пришелец, ты персонаж или живой человек? Только не лги нам!

— Персонаж, я персонаж! — воскликнул я. — Моя книга — это Книга Жизни!

Только я произнес это, все исчезло. Я оказался на улице под дождем. Неподалеку пережилал непогоду уже знакомый мне нищий.

— Ну как, сэр, получили удовольствие? — ухмыльнувшись, спросил он меня издали.

И тут я заметил, что он очень уж смахивает на Гамлета — того самого, недавно виденного мною в театре.

Решив рассмотреть нищего поближе, я направился к арке, под которой тот прятался от дождя, но нищий не стал ждать меня. На том месте, где он только что стоял, остался рваный черный плащ. Уйти этот тип мог только в глубь прохода.

Я последовал за ним... и вышел с другого конца реальности.

— На сцену! — прозвенел звонок будильника. И я отправился играть с листа свою повседневную роль.

## ВЕЛИКИЙ ВОИН

Дон Мигель был великим воином против часовых стрелок. Он взлезал на башенные часы, цеплялся за длинную стрелку, подолгу висел на ней и надеялся, что та от этого ползет медленнее.

Когда его разубедили, он стал бросаться стульями. Кто бы ни приходил, он бросался стульями.

Наконец сердобольные соседи, за неимением шлемов надев на головы корзины, принесли к нему в дом черный ящик.

— Это что? — спросил дон Мигель, приподнимая очередной стул.

— Это ваше воздаяние, сеньор. Здесь то, что поможет вам остановить часовую стрелку. Но если вы откроете ящик слишком рано, то ничего в нем не найдете.

Соседи ушли. Дон Мигель в нетерпении сразу же открыл ящик — но там ничего не было.

Дон Мигель расстроился и снова стал бросаться стульями.

Ровно через год ящик открылся сам. Дон Мигель застыл в позе “шесть часов” — ноги вместе, руки по швам. Когда его несли мимо башни, часы на ней зажужжали и стрелки упали прямо в гроб.

“Этот человек все-таки остановил время”, — написано на кресте, перекладки которого подозрительно напоминают часовые стрелки.

## ЧЕЛОВЕК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ЛИЦОМ

Во сне мне явился человек с зеркальным лицом. В нем отражалось мое лицо, но глаза были закрыты, а щеки — бледны.

— Ты не умеешь умирать, — сказал он мне.

Я со вздохом согласился:

— Не умею.

— Я стану тебя учить, — заявил гость все с тем же отсутствующим выражением. — Здесь нужен навык. Надо выучиться смерти, обрести опыт.

И гость стал учить меня умирать. Все виды смерти показал он мне. Каждую ночь во сне я умирал многократно — тонул в глубинах, падал с крыш, задыхался от дыма и ядовитых газов, погибал от рук убийц и палачей, кончал с собою и тихо угасал на старческом одре.

Прошло полжизни. Мне теперь не было нужды смотреться в зеркало — щеки мои стали бледны, глаза — полузакрыты. В снах я теперь не видел смерти, но не видел и жизни. Я стал тленным прахом и готовил себя к могиле.

И вот мне приснилось, что я сам превратился в человека с зеркальным лицом и пришел к прекрасному юноше, поэту.

— Ты не умеешь умирать, — сказал я ему.

— Да, не умею, — улыбнулся он.

— Я стану тебя учить. Здесь нужен навык. Надо выучиться смерти, обрести опыт.

Юноша пришел в негодование, глаза его заблестели, на щеках выступил румянец.

— Я пришел в мир, чтобы жить, а не готовиться к смерти! Я хочу радоваться солнцу, красоте, любить, страдать, лить слезы и смеяться.

— Но что будет, когда придет твой смертный час?

— Уж поверь, я сумею умереть достойнее, чем ты, прислужник смерти, паук, опутывающий души черной сетью!

И юноша ударил меня тростью во лицо. Раздался звон, зеркало разбилось. И я проснулся.

Стоял солнечный майский день, окно в моей комнате было распахнуто, ветер играл занавеской. Я вышел в сад.

“А ведь юноша прав”, — подумал я и впервые за много дней улыбнулся. Зеркало пруда вернуло мне мою улыбку. Я уже не был человеком с зеркальным лицом.

На скамейке лежала забытая кем-то книга. Стихи. Обложку украшал портрет автора — прекрасного юноши, виденного мною во сне. Он умер в двадцать пять лет.

## МИКРОСКОП

С человеком этим я познакомился в крошечном государстве Сан-Марино. Врачи просто-таки загнали меня в горы, обещая скорое облегчение моим больным легким; он же, Бог весть почему оказавшийся в этой стране, жил со мной в одном отеле. Он — это профессор Гронинг-Мольнар, философ и естествоиспытатель, которого я, расслышав в звуках его имени нечто знакомое, окрестил для себя профессором грома и молнии. Это был седоватый величественный мужчина лет под шестьдесят, державшийся просто и с достоинством, настоящий ученый, но в то же время человек светский. Не знаю, откуда он приехал, фамилия его звучала то ли на немецкий, то ли на мадьярский лад, но, судя по шрамам на лице, обучался он в германском университете и в молодости яро буршествовал.

Как-то я сказал ему о своей догадке, и он подтвердил, что учился в Геттингене. Меня он почему-то называл лицензиатом.

Говорили мы о многом, но любимой темой для споров была философская проблема познаваемости мира. Профессор был в этом отношении оптимистом и считал, что мир не просто познаваем, но скорее даже ясен.

Я не разделял его точку зрения, полагая, что на свете есть столько загадок, что мы далеки даже от понимания, в каком мире мы живем.

— Да, многоуважаемый лицензиат, вы правы, загадок много, — сказал мне как-то профессор. — Только учтите: некоторые таинственные феномены способствуют познанию, а не препятствуют ему.

— Не понимаю, как это загадка может способствовать познанию, — возразил я.

— Уверяю вас, может. Жаль только, пример привести я не сумею. Вернее, сумел бы, но не должен этого делать.

— Что вы имеете в виду, герр профессор?

Но он, явно сожалея, что сказал слишком много, переменял тему и стал расписывать красоты Апенинских гор, среди которых мы оказались.

Я был заинтригован. На следующий день я снова попытался расспросить профессора о загадке, но безуспешно. Все же я решил не оставлять своих стараний.

Через неделю мои, должно быть, не вполне вежливые расспросы наконец надоели профессору, и он заявил мне:

— Ладно, одну из тайн я вам раскрою. Только учтите: узнав ее, вы станете изгоем в этом мире, будете вынуждены скитаться.

Я подумал, что изгоем стал уже давно, с самого рождения, и успел с этим смириться; к тому же всякий поэт на земле — изгой. К странствиям же мне было не привыкать. Так я и сказал Гронинг-Мольнару.

— То, что я вам покажу, не видел никто, кроме меня, — объявил он. — Да и не каждый день можно это увидеть. Придется нам подождать до полнолуния.

Прошла еще неделя. Я осматривал архитектурное средневековое города Сан-Марино, по вечерам пил мартини и томился ожиданием.

Наконец настало полнолуние. Вечером профессор тихонько постучался в мою дверь.

— Готовьтесь, лицензиат, пора в путь. Мы поднимемся в горы.

Я уже вдоволь полазил по Апениннам, так что снаряжение было у меня наготове. Но в горы — ночью?!

Однако профессор развеял мои сомнения: подниматься придется невысоко, да и почти весь путь — по широкой тропе.

— К тому же я люблю бросать вызов судьбе! — весело добавил профессор.

Подумав про себя, что в этом мы с ним схожи, я стал одеваться. Профессор принес с собой два мощных фонаря.

— Они нам не помешают, — сказал он. — Но самый яркий светильник ночи уже зажжен — это луна!

Мы отправились в путь. Вечер был тихий: в таверне, мимо которой мы проходили, кто-то пел протяжную итальянскую песню. Пахло едой и крепким табаком.

Отель располагался на краю города, и вскоре мы уже шли вдоль ручья по долине. Луна серебрила ветви олив, лилась белизной в ручей.

Тропинка незаметно вышла к подножию невысокой горы. Профессор предложил дальше идти в связке. Так мы и сделали, хотя тропинка была настолько широкой, что вряд ли кто-то из нас мог упасть вниз.

Мы поднимались прямо к луне, она убегала от нас, пряталась за деревьями, манила своим неземным светом. Вот мы уже поднялись высоко, тропинка сузилась; где-то там, над нашими головами, была вершина.

У отколовшегося от скалы огромного камня, торчавшего острием вверх, профессор остановился.

— Надо искать проход, — сказал он.

У камня росло несколько деревьев, их окружал кустарник. Профессор отстранил ветку и исчез, но очень скоро появился вновь.

— Все в порядке, лицензиат! Пошли.

За кустарником начиналась пещера. Мы шагали вперед, светя под ноги фонарями, и старались не шуметь, потому что эхо могло вызвать обвал. Наконец вдалеке засиял лунный свет.

Мы вышли из пещеры и остановились. Склон горы с этой стороны был настолько первозданно прекрасным, что казался неживым. Профессор сказал, что другого пути сюда нет и что, кроме него самого, здесь никто никогда не бывал.

— Ну, а теперь — самое главное, — объявил он. — Привяжите веревку вон к той сосне, и будем спускаться. Только осторожно — там обрыв.

Мы в связке спустились на несколько метров до крутому склону, и тут профессор удержал меня.

— Дальше обрыв, — произнес он почему-то шепотом. — Давайте прислонимся вон к тому дереву.

Дерево это — молодая искривленная сосна — клонилось в сторону пропасти и даже нависало над нею. Держась за него, мы оказались в несколько неудобной позиции, но все же могли заглянуть в пропасть. Веревка нас страховала.

— Ну, а теперь смотрите! — тихо, но торжественно проговорил профессор.

Внизу было горное озеро. В черных водах его отражались облака, на время спрятавшие луну. Что-то там происходило еще — на поверхности что-то мелькало, хотя вода была идеально гладкая, без волн.

Вот наконец во всей своей красе вышла луна, заглянула в озеро — и я замер, пораженный: в нем появилась какая-то картинка. Это был огромный город с небоскребами и реками рекламных огней; по улицам мчались машины. Увеличение было большим, можно было даже рассмотреть лица прохожих...

Вот снова наплыло облако. После него картинка была уже другая — степь с юртами кочевников, пасущиеся стада коней, чахлый кустарник...

— Ну, теперь вы видите, что мир познаваем во всех своих частностях и особенностях? Что есть точка, откуда он виден весь, как на ладони? — захлебываясь, шептал мне на ухо профессор.

— Что это? — тихо спросил я.

— Это микроскоп. В него виден весь мир.

— Для кого он предназначен?

Профессор не ответил, он только поднял вверх палец, указывая на небо.

Помолчав, я спросил:

— Вы часто бывали здесь?

— Несколько раз. Пока что Он не возражал против моих визитов.

Но, видно, раз на раз не приходится. Зеркало вдруг отразило что-то огромное, красное.

— Это Его глаз! — вскричал профессор.

Подул ветер, небо быстро заволокло облаками. В зеркале уже ничего нельзя было разобрать.

— Поднимаемся! — скомандовал профессор.

По веревке мы стали карабкаться вверх.

Ветер завывал между сосен, сверкнула молния, затем раздался такой раскат грома, что, казалось, гора сейчас расколется надвое.

— Он недоволен! — весело прокричал бесстрашный профессор, взбираясь вверх по склону вслед за мной.

Мне его веселье в столь неподходящий момент показалось неуместным.

— Скорее, — не оборачиваясь, крикнул я, — надо успеть спрятаться в пещере.

Но мы не успели. Сверкнула еще одна молния — и ближайшее к нам дерево обрушилось в пропасть, задев спину профессора.

Он глухо вскрикнул, отпустил веревку и покатился к обрыву. Другая веревка, связывавшая нас, порвалась. У самого края он схватился за ветку кустарника, но было ясно: она не выдержит.

— Это... Он, — успел только прохрипеть профессор и рухнул вниз. Раздался всплеск — и все.

Я спустился к краю обрыва, заглянул вниз, но воды озера сомкнулись над человеком, разгадавшим его тайну.

Только сейчас прогрехотал запоздалый гром. Я понял: надоспешить.

Уже не помню, как я взметнулся вверх по веревке, как вошел в пещеру...

Но мне не суждено было выйти с другой стороны — выход оказался завален; возможно, тем самым обломком скалы, стоявшим, как часовой, снаружи.

Я всю ночь просидел в пещере, оплакивая моего друга и вспоминая всю свою беспорядочную и бесприютную жизнь.

Утром я снова вышел на склон над озером.

Стояла мертвая тишина. Не пели птицы, небо отливало свинцово-серым светом, трудно было даже определить, который час.

Между деревьями белела наша веревка. Я снова опустился к обрыву. Озеро, как и облака, было серым, непрозрачным, хранило от мира свою тайну, а теперь еще и мертвое тело.

Я решил, что пора выбираться отсюда. Путь через пещеру оказался отрезан, внизу был обрыв. Оставалось лишь подниматься вверх.

Так я и сделал. После целого дня блуждания по горам я неожиданно вышел к итальянскому городку Римини, название которого увековечено великим Данте.

Я подумал, что Данте тоже кое-что видел — не зря современники показывали на него пальцем и говорили: этот человек побывал в аду.

В Сан-Марино я решил не возвращаться. В отеле, наверное, подумали, что мы вдвоем с профессором пошли гулять в горы и погибли.

Остановившись на постоялом дворе, я попросил принести в комнату зеркало. В первый момент я не узнал себя: волосы стали совершенно седыми, как у покойного профессора. Да и в глазах таилось что-то невыразимое. Не испуг, нет, а какая-то чернота.

“Вы станете изгоем”, — вспомнились мне слова профессора. Да, не зря Данте прожил всю свою жизнь далеко от родных мест.

“Надо уехать подальше отсюда, — подумал я. — Интересно, видел ли меня Его глаз?”

На следующий день начались мои странствия, продолжающиеся вплоть до сегодняшнего дня. Иногда я пытаюсь понять, от чего я бегу. Не от опасности, нет, — к ней я давно привык, даже примирился с нею. Нет, я, наверное, бегу от самого себя, знающего то, что я теперь знаю.

## ПРАМАТЕРЬ ВСЕХ БИБЛИОТЕК

Бывали вы когда-нибудь внутри горы? Мне однажды довелось. Попал я туда очень просто — две ночи не спал, на третью там и оказался. Почему-то я знал, что гора эта — в Финикии и называется Гева. Неподалеку от нее есть город Гевал, или Библ; здесь финикийцы когда-то начали выделывать папирус. К чему это привело, вы конечно знаете — к библиотекам, книжным развалам, любовным романам, детективам и сборникам стихов.

Так что я оказался как бы в исходной точке. Говорят, город Библ названием своим обязан преступной любви брата и сестры — Кавна и Библиды. Сograждане не одобрили братской любви в столь сомнительной интерпретации, посему брату пришлось бежать, а сестра покончила с собой. В память о ней город и назвали Библ, а раз уж было избрано такое название, пришлось устраивать там библиотеку.

Но самую удивительную библиотеку я видел внутри горы Гевы. Это настоящая праматерь всех библиотек. Не думаю, что многие из людей там бывали, потому что служители встретили меня не с тем вежливым равнодушием, как в наших общедоступных библиотеках, а очень даже приветливо. Но самое удивительное — что, войдя, я не заметил там ни одной книги. Это была огромная пещера, в ней повсюду горели костры, однако жара я не ощутил. Служители в белых хитонах и сандалиях неторопливо бродили вблизи огня, но на пергаментной коже лиц не блестело ни капельки пота — она казалась совершенно сухой.

— Где же книги? — спросил я.

Тогда меня подвели к огню. Все костры, которые я видел, составляли огненное кольцо.

— Книги там, — сообщил служитель, указывая на центр кольца.

— Значит, они недоступны? — опечалился я.

— Смотря для кого.

— Но как же пройти сквозь огонь?

— Некоторые проходят. Надо сперва попробовать его рукой.

Я коснулся огненного языка, и он, вздрогнув, сник под моими пальцами. Пламя было холодным.

— Ну, смелее! — подбодрил меня служитель.

И я шагнул в центр огненного кольца. Служитель уже стоял рядом со мной.

Здесь тоже было пламя, но невысокое — как подстриженная трава. В нем горели, но не сгорали книги.

Чего только здесь не было! Папирусные свитки, глиняные таблички, пергаментные кодексы, не говоря уже о книгах современных...

— Можно ли взять книгу? — спросил я служителя.

— Можно. Но то, что ты взял, навеки становится твоим. Не ошибись!

— И возвращать не надо?

— Нет — ведь никто другой взять ее уже не сможет.

— Значит, книг постепенно становится меньше?

— Здесь бесконечное множество книг. Мы даже сами не знаем, что это за книги — ведь, пока их кто-то не выбрал, раскрывать их нельзя.

— Но как выбрать именно ту, какую нужно?

— О, великие умели выбирать! Помню, Мильтон явился сюда за “Потерянным раем”. Он знал, что берет, даже не видя... А Шекспир приходил сюда много раз. Вот уж у кого была меткая рука!..

— Кто же попал сюда первым?

— Один странствующий проповедник, Когелет. Сказал, что раньше был царем. Но, пока царствовал, сюда и близко не подходил. Да и потом мы его не видели.

— А книги здесь — это только великие книги?

— Нет, — улыбнулся служитель. — Это уж зависит от тебя самого. Говорят, встречаются даже книги с чистыми страницами... Ну что, хочешь какую-нибудь взять?

Я прислушался к разумению своему, помолчал и наконец сказал:

— Да.

— Тогда бери.

Мне не хотелось брать ни свиток, ни палимпсест, поэтому я остановил взгляд на современных книгах. Обложки у всех были одинаковые — цвета пламени; надписей на них не было.

Я посмотрел на одну книгу, затем на другую, на третью, пока, глядя на очередную, вдруг не понял: это — *моя* книга.

И я взял ее из огня. Книга была совсем легкой, почти невесомой.

— Не могу тебе сказать, хороший ли выбор, — улыбнулся служитель своей пергаментной улыбкой. — Может быть, ты скоро сам узнаешь. А может быть, и нет. Что ж, забирай свою книгу. Только знай: с каждым твоим шагом она будет становиться все тяжелее и тяжелее. Постарайся ее донести.

Распрощавшись с радушными пергаментными служителями, я вышел из горы — прямо на улицу моего города. Книга наливалась свинцом у меня под мышкой.

“Скоро узнаю, что я выбрал”, — подумалось мне. Впрочем, читатель мой уже знает. Потому что держит в руках ту самую книгу.

*1995—1996*



*Наталья Ванханен*

## ПЛАНЕТА ВСЕ КРУЖИТСЯ

**Стихи**

### ПАМЯТИ ЛЕРМОНТОВА

“С винцом в груди”, “Останемся в рогах”!  
Небрежности, которых не прощают  
и новичкам. И мыслимо ли дело, чтоб классик.  
Говорят: бретёрство, пьянство...

Пустяк!

В России принято гуляку  
по плечу похлопывать с улыбкой  
и умиленно бормотать: “Герой!”  
Характер гнусный — весь из самомнения и вызова.  
До пуговицы носа. Чуть что — графин в обидчика.  
Гауптвахта — лекарство слишком слабое. Вдобавок  
непостоянство с женщинами. Даже  
прямая непорядочность. Расстройство  
прекрасных браков... Право, есть граница!  
Хотя, конечно, на хребтах Кавказа  
она размыта вылазками горцев,  
чечней курчавой в чешуе черкесок.  
Нет времени подумать, оглядеться,  
пока копыта вспенивают воду

ничейной речки, быстрой и холодной,  
запруженной на миг безвестным трупом.  
“В полдневный жар в долине Дагестана...”  
А впрочем, наплевать. Пускай не помнит.  
Пускай себе танцует и лепечет.  
Так даже проще.

Ни-че-го не надо.  
И незачем тащиться вам, не веря,  
едва ступая ватными ногами,  
на улицу, где сор своеобразный  
и мазаный домишко в три окошка,  
дверь отворять и повторять: “Неправда!”  
(...но отчего мне все-таки казалось,  
что непременно нынче вы умрете...)  
Дубовый стол. И маленькое тело  
прикрыто простыней. Довольно чистой.  
И что-то капает в шербатый таз.  
Пойдем домой! Нам нечего здесь делать.  
Так не бывает. Как-то слишком резко  
континентален климат Пятигорска.  
Пар от дыхания. Звезды над дорогой.  
Идти и бормотать. Оно привычно.  
Но как бы долго мы не бормотали,  
мы никогда утешены не будем.  
“В полдневный жар в долине Дагестана...  
и кровь текла хладеющей струей”.

1991

## МИЛЬОНЩИК

Багровый бархат пыльной шторы  
в сигарном облаке багряном,  
и денежные разговоры,  
и луч на плотном безымянном.

А снег хрустит, как сорок тысяч  
в новехоньких купюрах банка,  
и искр из воздуха не высечь  
не может сизая шарманка.

Но сколько б ноги не месили  
сугробов пышущую пропасть:  
какая, в сущности, Россия,  
какая, господи, убогость!

Скорей бы к Яру, к Яру, к Яру!  
Смелей бы в омут, в омут, в омут!  
И реет, поддавая пару,  
летит, покуда не нагонит,

дыханием овешествленным  
вослед овчинным, дымным санкам  
тоска России по лимонам  
в горшках.

По розам.

По цыганкам...

1991

\*\*\*

*“Тростей, зонтов и чемоданов  
на ступеньки не ставить”.*  
Из старого объявления в метро.

В людскую Лету канув,  
пропали без вестей  
Зонтов и Чемоданов  
И маленький Тростей.  
Никто о них не помнит,  
куда ни посмотри,  
и нет на свете комнат,  
где жили эти три  
загадочных героя  
минувших славных лет.  
Их было целых трое.  
а кто из них воспет?  
Да разве так уж плохи  
твердившие свое  
свидетели эпохи,  
ее утиль-сырье?  
Тростей и Чемоданов,  
и пасмурный Зонтов.  
О сколько было планов!  
— Готов? — Всегда готов!  
А сколько сладкой фальши  
мечталось впереди...  
Но дальше, дальше, дальше,  
читатель, проходи!

А впрочем, каждый прожил  
без власти и вины,  
и знаньем не умножил  
печаль своей страны.  
Быть может, в самом деле  
и в свой последний час  
всё вдаль они глядели,  
высматривая нас  
в грядущей пятилетке,  
где им не быть уже...  
Их панцирные сетки  
в подвальном этаже,  
давненько расселенном,  
забывшем о былом,  
верны былым знаменам.  
сдались в металлолом.  
А нам немного грустно  
над их житьем-бытьем.  
Возьмем капустки хрусткой  
и водочки нальем.  
И, не сводя стаканов,  
помянем без затей:  
Зонтов и Чемоданов,  
и сухонький Тростей,  
пускай вам сладко спится,  
и пухом нам земля.  
Планета всё кружится,  
и холодны поля.

1990



***Рада Полищук***

## **ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ**

### **Повесть**

#### **1**

Весть о смерти Владимира Алексеевича Удальцова разнеслась по институту молниеносно, как имеют обыкновение распространяться сообщения подобного рода. Однако реакция была весьма сдержанной, не более чем обычный почтительный интерес, который, как правило, проявляют люди к самому факту смерти оттого, быть может, что через это событие предстоит пройти каждому.

Личность усопшего в данном случае никак не влияла на общие рассуждения о бренности бытия. Разве что возраст — неполных сорок семь — несколько выделил в группе ровесников покойного. Тем не менее никто не кичился близким знакомством с Удальцовым. не вспоминал недоказуемых теперь и неопровержимых интимных подробностей, не приписывал себе совместных с ним планов или пророческих бесед. Словом, отсутствовало все то, что обычно сопутствует поминальным разговорам, когда каждый стремится подчеркнуть некую свою связь с покойным, будто приобщаясь таким образом через него к великому таинству Смерти.

Удальцов ни с кем не дружил, это знали все. Он был “темной лошадкой”, и говорить было не о чем. Тем не менее кое-кто все же высказывался, и тон этих высказываний никак не соответствовал существу момента.

— Кто бы мог подумать, что он до полста не доживет? — с недоброй какой-то досадой восклицали некоторые, словно он своей смертью нарушил какой-то закон, отступать от которого не имел права. — Все себе да для себя, личный покой прежде всего. Если не такие, как он, то кто же долго жить будет?

Этим он явно не угодил. Им не было жаль его, он посягнул на незыблемость их представлений о жизни.

Другие неприкрыто ухмылялись, двусмысленно и скабрёзно:

— Ну ясное дело, надорвался. Не по Сеньке шапка — не выдюжил.

В ответ тоже улыбались. Все понимали, что речь идет о Жанне, о его с ней многолетнем романе, протекавшем на виду у всех, вызывая пересуды, кривотолки и другие, более активные и агрессивные действия.

Это были завистники — моралисты и ханжи. Они улыбались, в душе ненавидя его за то, что лишил их привычной, хорошо перевариваемой и легко доступной пищи. Этого они ему не простят и еще отыграются. Ведь Жанна-то жива.

Все прочие разговоры были перепевами этих двух незатейливых мотивов. И никто, ни один человек не сказал просто, по-людски: "Господи, жалко-то как, молодой ведь еще. И не болел никогда".

Сотрудники его отдела тоже без всяких эмоций, спокойно и деловито сообщили о его смерти в отдел кадров, позвонили его жене, чтобы уточнить кое-какие детали, собрали, как было заведено по два рубля, заказали в фотолаборатории его портрет и к обеденному перерыву в вестибюле уже висел некролог.

На большом белом листе ватмана серело искаженное сильным увеличением, несколько размытое, будто уже с того света, изображение его физиономии с неизменным печально-презрительным выражением. А внизу, под фотографией были напечатаны на машинке заглавными буквами с большим интервалом два абзаца текста.

Два абзаца, вместившие всю его жизнь, состояли из нескольких стандартных глаголов несовершенного вида: работал, учился, участвовал. Голько один глагол — скончался — звучал определенно и весомо и мог бы придать смысловую законченность этому цветному жизнеописанию, если бы не многоточие. Оно замыкало этот текстовый ряд, поражая своей неуместностью и бестактностью.

Впрочем, похоже, что неожиданный знак препинания никого особенно не занимал. Все деловито сновали мимо, на ходу не вчитываясь, скользя взглядом по написанному.

Удальцов попытался открыть глаза и пошевелиться. Ни то, ни другое не получалось. Веки были тяжелые, словно их придавили сверху, грудь что-то стиснуло, не давая вздохнуть, рук и ног он вовсе не чувствовал, удивляло и сковывало то, что лежал он на спине, в непривычной позе, будто опрокинутый навзничь нокаут. По-видимому, от долгого лежания затылок налился свинцовой тяжестью и в голо-

ве что-то звенело, напоминая то ли птичий посвист, то ли зуммер телефона.

Все же ему удалось поднять веки. Тьма густая, черная, крошечная, взгляд не мог пробиться сквозь нее, как не тарашил он глаза.

“Как в могиле”, — подумал он и вспомнил недавнее свое видение. Озноб ужаса судорожной волной прокатился по всему телу.

Он опять открыл глаза, присмотрелся, увидел где-то над собой мерцающее голубоватое сияние, снова испугался, уже не на шутку, и — все вспомнил.

“Жив”, — подумал Удальцов.

— Живой, — прошептал чуть слышно.

— Живой! — выкрикнул во все горло и прислушался.

— Ой-ой, — хохотнуло эхо.

Пискнула дверь, пропуская узкую полоску света, которая конфузливо застыла в углу, прижавшись к стене, словно раздумывая, стоит ли вступать в единоборство с царившей здесь тьмой. Это продолжалось недолго, дверь снова пискнула, и полоска погасла.

Но Удальцов успел все разглядеть. Палата была маленькая, на одну койку — бокс. Провода от датчиков, прикрепленных к его груди, тянулись вверх к монитору, источнику света и свиста. Никакой мистики, сон есть сон, явь есть явь. Все в полном порядке.

Вновь открылась и закрылась дверь, прохладные нежные пальцы прикоснулись к запястью.

— Вам плохо? — тихо спросила медсестра. — Болит сердце?

— О-о-ой, — протяжно простонал он в ответ, не открывая глаз.

И с тщеславным удовольствием подумал, как ловко ему все удалось. от замысла до воплощения. Вначале он детально продумал план действий, затем безукоризненно разыграл сердечный приступ перед молодой и неопытной врачихой “скорой помощи”, и вот он здесь, окруженный вниманием. А они пусть там без него копошатся в своем муравейнике, попусту растрачивая силы, нервы, жизнь.

Почувствовав слабый укол в предплечье, он удовлетворенно подумал: “Лечат”. А через некоторое время, медленно, с наслаждением погружаясь в сон, как в теплую, пенистую воду, вдруг ни с того ни с сего испытал страшное смятение. Он не успел понять, откуда оно взялось, увидел три неотвратимо надвигающиеся на него огромные точки, вспыхивающие и исчезающие, как на световом табло. Защищаясь, он выставил вперед руки и закричал, что было сил...

## 2

Утром к нему пришла жена, бледная, утомленная, медлительная, с печатью ничем не завуалированной, как бы выставленной напоказ болезненности. При ее появлении он сразу ощутил прилив глухого раздражения, это не зависело от него, как изжога после обильной и жирной трапезы.

Он был физически здоров и с удовольствием поддерживал хорошую форму, гордился стройной не по годам фигурой, легкой, энергичной походкой, почти круглогодичным загаром. И исповедовал простую истину: “В здоровом теле — здоровый дух”.

Жена, наоборот, постоянно хандрила, недомогала, с покорной обреченностью переходя из одной болезни в другую. Ее слабая улыбка словно говорила: “Вот видите — что я могу поделать — я снова хвораю”. А ему казалось, что, заболевая, она всякий раз торжествует маленькую победу, утверждая перед всем миром свой статус существа немощного, нуждающегося в сострадании и поддержке. Но он не испытывал ни малейшего сочувствия к ней. Слыша осточертевшее: “Ой, что-то мне сегодня очень лихо”, с трудом сдерживал желание наругать, а порой казалось, и ударить.

Однако ничего подобного не происходило. Они давно уже жили, практически не соприкасаясь, каждый сам по себе.

Поглощенная собой, своими болезнями, она всегда неохотно и безрадостно выполняла свои супружеские обязанности, убивая тем самым в нем и без того чуть тлеющее желание. Уступая его не слишком настойчивым домогательствам, она словно подавала ему милостыню и требовала взамен непрерывного изъявления благодарности. Только он категорически не был способен на это. Его отношение к жене определялось двумя непоколебимо устойчивыми составляющими — неприязнь и раздражение без каких бы то ни было оттенков и полутонов.

Детей у них не было, что избавляло от дополнительных сложностей и совместных обязательств. И это его вполне устраивало. Он, правда, никогда не предпринимал особых мер предосторожности, а если и думал о возможных последствиях, то лишь с тайным злорадством: пусть наконец узнает, почему фунт лиха. Но сия чаша ее миновала, Бог ли уберет, сама ли позаботилась — он не знает. Да по правде сказать, по прошествии некоторого времени от начала их семейной жизни вовсе перестал думать об этом. Тем более что так называемые “близкие” отношения изжили себя прежде других форм взаимных контактов.

К хозяйству жена тоже не испытывала пристрастия. Если и делала что-то, то с немой, но очень красноречивым укором, словно приносила себя в жертву его необузданным фантазиям и капризам. А он не желал принимать эту жертву и в конце концов перешел на полное самообслуживание. Не так уж он прихотлив и привередлив, чтоб устраивать из этого трагедию.

Жизнь не избаловала его. С детства он привык к простой, довольно скудной пище и бытовым неудобствам. Семья была большая: шестеро детей, мать, отец и бабушка. Отец работал на деревообрабатывающем заводе и попивал. Однажды спьяну попал под циркулярную пилу, лишился четырех пальцев правой руки, перешел в сторожа и запил

по-черному. Мать одна надрывалась, пытаясь как-то свести концы с концами и примирить между собой детей, пребывавших в постоянной вражде.

Удальцов был самым младшим в семье, и настал момент, когда все братья и сестры, едва повзрослев, ушли из дома, навсегда исчезли с горизонта; отец и бабушка умерли, и они с матерью остались вдвоем. Мать, собрав все силы, направила их на то, чтоб поставить на ноги и вывести в люди младшенького, любимца, гордость ее, а может, и опору в недалекой уже старости. А он не только принимал все, что она давала ему, но и требовал большего, нисколько не заботясь о том, как мать выкручивается при своих весьма ограниченных возможностях.

У него была цель, и он шел к ней напролом — он мечтал вырваться из низов общества, где имел несчастье родиться, чтоб забыть об этом постыдном факте навсегда.

Он был упорен, целеустремлен и везуч. И вот первый этап восхождения благополучно завершен: красный диплом, отличное распределение и даже собственная жилплощадь, пусть пока комнатка в коммуналке, но в хорошем районе. Он закрепился на достигнутой площадке и принялся изучать дальнейший маршрут, который ему предстояло пройти.

И тут умерла мать, избавив его от возможных хлопот и неприятностей, которые могли бы осложнить его жизнь.

Мать умерла в одночасье, не обременив его никакими заботами. Правда, на поминках, которые он устроил, не пригласив, однако, никого из новых знакомых, поскольку не желал афишировать свое происхождение, бывшие соседи намекали на какую-то болезнь, от которой мать страдала и мучилась в последние годы, смотрели на него укоризненно, а то и осуждающе. Но он хорошо угостил их, был вежлив и вместе с тем недостижимо далек, как пришелец из другого мира, и никто не посмел открыто обвинить его в чем-то. Он ушел из дома, где прошло его детство и юность, неся в себе радостное освобождение от своего ненавистного прошлого, от которого в душе отрекся уже давно.

Вскоре он женился. Это был брак по расчету. Ему чрезвычайно льстило, что родители его невесты — научные работники, потомственные интеллигенты — из того круга, к которому он стремился, неуклонно приближался, но уже начал выдыхаться, устав от ежедневных усилий. Женильба сразу приближала заветную мечту, превращая ее в реальность. И он не устоял, хотя к невесте своей не испытывал ни малейшего влечения.

Он был весьма сведущ в делах любовных, пользовался успехом у женщин и гордился этим, что не мешало ему их презирать. За исклчением, пожалуй, первой.

Это была больная туберкулезом двадцатилетняя соседка, блондинка с пышным бюстом и тонкой талией, за которой он подсматривал,

когда она переодевалась или мылась в своей комнате, подолгу, с грустью разглядывая себя, обнаженную, в зеркале. Однажды она застигла его за этим занятием, втащила в комнату, отхлестала по щекам, потом пристально и задумчиво изучала его глазами, словно прикидывая что-то. И наконец, неопределенно вздохнув, потушила свет и отдалась ему, неумелому, сама неумелая и стеснительная.

Потом он почти два года приходил к ней тайком, крадучись, и всякий раз не в силах были они расцепить свои жаркие объятия, прервать томительно долгий поцелуй, словно прощались навек. Такой неуголимой и сладкой была их любовь.

А потом она умерла. И его страданиям не было конца: острое, неудовлетворенное желание, эротические сны, доводившие его до сумасшествия, собственное бессилие и невозможность что-либо изменить. Он плакал по ночам и ходил к ней на могилу. В пятнадцать лет познавший истинную страсть, он мучился оттого, что так рано лишился ее, и дал себе слово никогда не предавать свою первую любовь.

Спустя какое-то время он пришел в себя, начал заниматься спортом и устремился к цели, которую уже тогда четко наметил себе. Он старался избегать женщин, хотя желание не оставляло его, пока один случай, пустяковый, мимолетный, неожиданно не открыл ему, что можно вкусить высшее наслаждение, не испытывая при этом ни любви, ни увлеченности, ни вообще какого-нибудь чувства. Это успокоило его, ибо до сих пор он связывал все воедино: любовь, наслаждение, страдание. Теперь этот узел разрублен, и ему нечего бояться. Он может жить без оглядки на прошлое, на свой детский, кажущийся ему сейчас таким наивным опыт, из-за которого он так долго лишал себя плотских радостей.

С тех пор цинично и безжалостно переступал он через всех женщин, с которыми сводила его жизнь, ни разу не изведав сожаления, мук совести или хотя бы признательности.

Таким душевно закаленным и уверенным в себе подошел он к своей женитьбе. То, что невеста сразу же уступила его притязаниям, не удивило, не обрадовало его. Все шло по плану. Не было только удовлетворения, которое он привык получать, не давая ничего взамен. Вяло и безучастно отдавалась она ему, и он никак не мог понять, что побуждает ее к этому. Она должна была полюбить его — на этом строил он свои расчеты, а ее холодность отнимала у нее сладостное опьянение победой. Потому что никакой победы не было.

И все-таки он женился — во исполнение намеченной цели.

Изменял он жене с первого дня, нимало не мучаясь раскаянием. Напротив, чем больше он убеждался, что желанная цель не принесла не только долгожданной радости, но и вообще никаких перемен, что его восхождение по социальной лестнице прошло незамеченным, тем с большим упоением он грешил. Он чувствовал себя обманутым, ви-

нил во всем жену, ему хотелось унижить ее, оскорбить, и он даже не пытался что-то скрывать от нее.

Очень скоро он убедился, что в этом смысле все его усилия были напрасны. Погруженная в себя, она его вовсе не замечала. Иногда ее рассеянно блуждающий взгляд натывался на него, как на нечто непередвиденное, задерживался на миг и равнодушно проплывал мимо.

Однажды, вернувшись с работы раньше обычного, она застала его дома с женщиной. Молча прошла в свою комнату, и вскоре оттуда долетел тошнотворный запах каких-то капель. Проводив свою гостью, он зашел к жене и остановился перед ней с вызывающим видом. Но она молчала, и его взбесило то, что в этом молчании не было ничего нарочитого, напускного. Он схватил ее за плечи и тряс до тех пор, пока она, побледнев, не закрыла глаза, почти теряя сознание. Прежде чем отпустить ее, он резко выкрикнул:

— Я хочу знать, зачем ты вышла за меня замуж? Отвечай!

С трудом переведя дыхание, она взглянула на него безучастно и тихо сказала:

— Ах, боже мой, какая разница? Не ты, так кто-нибудь другой, рано или поздно это все равно произошло бы.

Вот она, точка над "i". И точка отсчета.

Он снова в коммуналке, как в недалеком прошлом. Только комната больше и квартира лучше, и обстановка богаче, и на нем не вылинявший и обвисший на локтях, коленках и на задке, выдававший виды тренировочный костюм, а легкие брюки из твида и куртка из импортного вельвета. И соседка не в халате с драконами, а в вызывающе элегантном домашнем платье из дорогой фланели. И зовут ее не Баба-Яга, а бэ жена (бывшая). И вместо развешенных повсюду глаз, ушей и ноздрей, высматривающих, выслушивающих, вынюхивающих и вечно разверстого провала орущего рта, абсолютная тишина и невмешательство в дела друг друга. Полный суверенитет. И если прежде из комнаты соседки ненавистно и душно пахло геранью, то теперь это был едкий, больничный, лекарственный запах вперемешку с ароматами дорогих духов и дезодорантов. Раньше ему казалось, что и в пищу жена добавляет какие-то снадобья, и за едой под ее негодующим взглядом он все время подозрительно шмыгал носом, и его слегка подташнивало.

Теперь он купил себе новый холодильник, посуду и держал все это в своей комнате, которую круглосуточно проветривал.

Вот, по сути, и все его завоевание — свежий воздух в ограниченном объеме, который легко вычислить, умножив площадь, означенную в жировке, на высоту потолка.

Все остальное оказалось мыльным пузырем. Впустив его в свой круг, они не приняли его и на всякий случай оставили приоткрытой дверь, чтоб он мог выйти незамеченным. А он почему-то остался и дверь не рискнул закрыть, хотя оттуда все время тянуло холодом.

Ему было неуютно и беспокойно под пристальным и как будто заинтересованным взглядом жены.

Оба молчали, и, чтобы прервать наконец эту пытку, он нажал кнопку вызова. Вошла медсестра со шприцем, и он застонал почти радостно.

Тихо попрощавшись, жена вышла. И в ее голосе так же, как и во взгляде, он явно уловил участие.

Участие и интерес в обмен на инфаркт. Неплохой вступительный взнос. В компаньоны надумала взять. Ну нет уж, дудки, он в эти игры не играет.

Здоровый и неунывающий, он вызывал у нее такое же неприятие и отвращение, какое она у него своей хворостью. Но он по-прежнему здоров как бык. Вот только сердце чего-то ноет. Вжился в роль, не переборщить бы.

### 3

Удальцову снилось, что к нему пришла Жанна. Она примостилась в изголовье его постели в напряженной и неудобной позе и, ласково улыбаясь, смотрела на него. Сердце больше не болело, дышалось легко и спокойно.

“Жанна — целительница, — с нежностью подумал он. — Надо попросить, чтобы ей дали постоянный пропуск на посещение. Не станут же они спрашивать, кто она мне”.

Он потянулся к сигналу и проснулся.

Жанна не то полусидела, не то полустояла у его постели и ласково улыбалась.

— Я думал, ты мне снишься, а ты в самом деле здесь.

— Я давно уже смотрю на тебя.

— Твой взгляд меня исцелил. Не уходи, пожалуйста.

Он взял ее за руку, она наклонилась вперед, чтоб ему было удобней, отчего ее поза сделалась еще более неправдоподобной.

— Ты в самом деле болен? — спросила она недоверчиво и испуганно одновременно.

Зря он посвятил ее в свои коварные замыслы, она же, как дите малое, верит каждому его слову.

— Конечно. Сюда симулянтов не пускают. — Он многозначительно обвел взглядом палату.

— Да, да, конечно, я пошутила.

Сказала с видимым облегчением, словно была рада, что он был серьезно болен.

— Поцелуй меня. — попросил он.

Жанна зарделась, опасливо оглянулась, быстро наклонившись, ткнулась теплыми губами куда-то между подбородком и ухом и отп-

рынула, снова покосившись на дверь. Она была похожа на ребенка, который боится, что его застанут за недозволенным занятием.

И все же этот поцелуй взволновал его. Едва уловимый горьковатый запах ее кожи, ее неловкость и застенчивость — все это вместе в который уж раз напомнило ему его первую любовь, полуистершийся, но неизжитый образ, символ чего-то подлинного, непреходящего, что довелось ему пережить. Впрочем, он не настаивает на том, что это любовь. Да и какое имеет значение слово, если у тебя дух захватывает, будто воспарил ввысь, как птица, и душа трепещет от восторга, что достиг, сумел, узнал, и обмирает от страха, что вот сейчас ты спустишься на землю, и это никогда уже больше не повторится.

Между двумя этими вехами, той полудетской страстью и непривычно затянувшимся, что порой настораживало его, романом с Жанной было бесчисленно повторенное взаимное ханжество, агрессивные и хладнокровно рассчитанные притязания, ловко закамуфлированные под тонкие чувства. Все было и ничего не осталось, кроме вороха ненужных воспоминаний, захлаивших память, как заброшенные в чулан, отжившие свой век вещи. Он, правда, в этом старье никогда не копался, и оно, забытое, истлевало потихоньку, превращаясь в прах.

Это сегодня его почему-то все время заносит в сторону с хорошо наезженной дороги, проложенной четко по маршруту, без удлинняющих путь зигзагов и поворотов. Хотя, если вдуматься — куда он так спешит? Конечно, прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками, это знает каждый школьник. Но если эти точки — начало и конец жизни, то что несет его безоглядно вперед, почему не бродит он по боковым тропинкам, делая вид, что заблудился, радуясь меж тем своей хитрости?

Наверное, Жанна — первая такая тропинка. Неприметно петляя по обочине, она вдруг увлекла его в такие сказочные дебри, на существование которых указывали лишь слабые отголоски полузабытых, а может быть, и полунадуманных воспоминаний.

Только свернул он на эту тропинку бессознательно, приняв за обычный придорожный привал, где можно поразмяться и отдохнуть, ни о чем не заботясь.

Началось все на базе отдыха их института, где они случайно встретились. Случайно — потому что он никогда прежде не бывал здесь, не имея ни малейшего желания делить свой отдых с кем-нибудь из сотрудников, неизбежных контактов с которыми ему вполне хватало в рамках установленного регламента. К тому же стоял ноябрь, сырой, промозглый. Лепил мокрый снег, вперемешку с дождем. Короткое серое утро, серый недолгий день и темный, неторопливый вечер, незаметно вползающий в ночь.

База почти пустовала, и он жил один в комнате на четыре койки. В такое время приехать сюда можно было только от большой тоски или, как он, спасаясь бегством от невыносимого кошмара.

Жена болела, больше месяца не поднималась с постели. В доме круглосуточно находились ее приятельницы, все как на подбор больные и убогие: одна хромая, другая немая, третья — с нервным тиком, непрерывно сотрясавшим ее тщедушное тельце. Все это вместе делало дом похожим на богадельню, в которой ему быть не пристало.

Раньше он считал, что жена придумала себе такое окружение, чтобы не иметь повода для ревности, но довольно скоро понял, сколь самонадеянным было его предположение. К нему это не имело ровным счетом никакого отношения. Здесь дело совсем в другом: сострадание — единственное чувство, на которое способна его жена. Но, сострадая вполне, быть может, искренне, она, помимо всего прочего, испытывает сладостное удовлетворение, гордясь и даже кичась своей благотворительностью и человеколюбием. Наверное, оттого он ей так до отвращения безразличен, что ни разу не дал повода, пусть ложного, пожалеть себя.

В тот вечер, придя с работы, он никак не мог попасть ни в ванную, ни в кухню, даже его комната, святая святых, была занята. Там заседал доморощенный консилиум: звонили куда-то по телефону, с кем-то о чем-то советовались, тут же проводили летучее совещание, снова звонили, записывали, и не было этому конца.

Он решительно возник на пороге и, обворожительно улыбаясь, сказал:

— Ну, вот что, милые дамы, убирайтесь отсюда вон. И чтоб я вас больше не видел.

Та, которую он считал немой, вспыхнув, как факел, срывающим своим голосом прокричала:

— Бессердечный негодяй! Как вы смеете!

И снова онемела, испепеляя его взглядом, исполненным такой ненависти, что на миг ему стало не по себе.

А тут еще подскочила та, у которой тик, и принялась барабанить кулачками в его грудь. Она била изо всех сил, аж посинела от натуги, при этом широко открывала и закрывала рот — то ли задыхаясь от гнева, то ли тоже желала сказать ему что-то значительное. Она прямо зашла вся, как в припадке. А третья тихо плакала, ни на кого не глядя.

Он подумал, что надо бы как-то прекратить весь этот балаган, пока они все не умерли от полноты чувств. И тут услышал за спиной легкий шелест. Прикованная к постели жена остановилась на пороге его комнаты, не смея нарушать священные рубежи, разделяющие их владения, обвела всех медленным взглядом и сказала:

— Шли бы вы по домам, девочки, в самом деле.

Легкие, бесшумные тени скользнули мимо, чуть всколыхнув воздух, и растаяли. Бестелесые призраки, несправедливо изгнанные, покорные и бессловесные.

Бред какой-то, все бред: и эта напряженная тишина, где каждый шорох подобен грому, и эти тени, и явление больной жены (не так уж, видно, безнадежна, если поднялась и ходит, и ест, и пьет, и не проявляет никаких болезнью продиктованных отклонений от своего раз и навсегда выбранного стиля).

Он достал из холодильника бутылку коньяка, медленно, со смаком, причмокивая и облизывая отчего-то пересохшие губы,пил рюмку за рюмкой, перекатывая во рту холодную, пощипывающую язык и небо жидкость. Пил стоя, не закусывая, пока не опустошил всю бутылку. Коньяк был плохой, его подташнивало, но цель была достигнута — он напился до чертиков, до беспамятства.

Очнувшись, он обнаружил себя в незнакомой комнате, где стояли четыре аккуратно, как в казарме, заправленные кровати. Пахло многожды стираным казенным бельем и масляной краской. Тускло голубели по-видимому недавно выкрашенные стены, сквозь желтоватую тюлевую занавеску проглядывал мутный полумрак то ли зарождавшегося утра, то ли угасавшего дня. В стекла тихонько постукивал дождь: “тук-тук” как “тик-так”, напоминая удары маятника в старых ходиках в виде кошачьей морды с бегающими глазками.

Ходики, неожиданно выплывшие из глубины лет, подцепили короткую, местами истончившуюся до предела нить с маленькими, едва заметными узелками. Быть может, так выглядят узелки, которые вяжут на память.

Тик-так, тик-так, мирный, мерный перестук и сумасшедшее бие-ние слившихся в едином порыве сердец... Тик-так, бух-бах... Господи, как быстро летит время! Я умру, а они будут также тикать... Останови их, останови! Тик... Ненасытная, страхом близкой смерти подстегиваемая любовь, жадные, неумелые руки, жаркие полудетские губы... Бух-бах...

Тук-тук... Уютно и покойно. Он уже знал, что находится на базе отдыха. Вспоминать события, заставившие его столь стремительно катапультироваться, не хотелось. Никакого прошлого не существует, есть только настоящее. Никакого вчера, только сегодня. И он в этом сегодня один. И никого ему не нужно. Что может быть благословенней одиночества!

Почувствовав голод, он взглянул на часы и решил, что еще может успеть на ужин. Если, конечно, здесь не действуют те же извращенные законы, что и везде: не во благо человеку, а во зло ему, не во имя, а вопреки. Его опасения, однако, оказались напрасными: он был принят радушно, как дорогой гость. И добрым словом приветили, обласкали, и попотчевали всласть. И уснул он в тот день сытый и довольный. Много ли человеку нужно?

На другое утро за завтраком он сел спиной к залу, дабы оградить себя от жадного любопытства немногих постояльцев сей укромной обители.

Несколько пар буравчиков впились в его спину, стремясь продырявить насквозь. Но он терпелив, он не поддается, потому что не желает заводить ненужные знакомства, особенно обременительные в столь узком кругу.

Одного беглого полувзгляда было достаточно, чтобы определить весь контингент: старички и старушки, больше старушки, заботливо высланные любящими детьми из дома, чтоб не мельтешили перед глазами, не путались под ногами (пусть отдыхают дорогие папы и мамы сколько влезет, благо путевки почти бесплатные).

Лишь один облик в этой общей массе смутил его. Это ощущение возникло еще вчера. Полные губы, растянутые в неуверенной улыбке, готовые тут же сомкнуться и замереть, неловкий наклон головы, и взгляд отсюда — ищущий? избегающий?

Неужели и здесь тоже кто-то наблюдает за ним, и, стало быть, игра продолжается: он нелюдим, он сам по себе, ему никто не нужен. А ему почудилось, что вчера, сказав, “чур!”, он вышел из игры и так хорошо ему стало: он один, он сам по себе, ему никто не нужен!

За обедом они, столкнувшись в дверях, поздоровались, и он быстро прошел мимо, не желая давать повод для начала разговора. Слово за слово — так и плетется паутинка, потом уж из нее не выпутаться. Взаимные приветствия, как можно более изысканные, — вот та оптимальная форма общения, которая исключает какие бы то ни было иные контакты.

Тем более они с Жанной и не знакомы, в институте даже не здороваются и встречаются-то крайне редко. Кое-что он о ней слышал, да точно и не припомнит что (не вникал — интереса не было), она о нем ничего хорошего знать не должна, это уж наверняка — его никто из сослуживцев не любит, и он всемерно поддерживает эту повальную, как эпидемия, нелюбовь.

Так жить намного проще. Возжелай он всеобщей любви, что, возможно, гораздо приятнее, давно бы уж надорвался, завоевывая ее, жилы бы лопнули. Да и к чему она, всеобщая? А одна-единственная, которая достается ни за что ни про что, как сама жизнь, — вспыхнула однажды и погасла навсегда. Осталась лишь внутренняя установка на подавление любви, как способ укрепления обороноспособности и уязвимости. На этом поприще он весьма преуспел и был, как ему казалось, застрахован от всяких неожиданностей.

Жанна подошла к нему сама, сказала, что ей здесь очень тоскливо, хоть человек она малообщительный и замкнутый.

— Наверное, это оттого, что я стариков люблю. А их здесь много, и мне всех жалко.

— Отчего же жалко? По-моему, им здесь нравится.

— Ну что вы? Разве вы не видите: приосанились, перышки распустили, а тоскуют по дому? Стариков нельзя отрывать от привычной обстановки, им дома лучше.

Разговор его нисколько не занимал. Даже наоборот, породил недовольство: он уловил некую связь Жанниной пылкой жалостливости с благотворительностью жены. Этого еще ему не доставало!

И все же он счел неприличным прервать беседу и стал мучительно соображать, о чем бы таком нейтральном поболтать, прежде чем распрощаться. Спасительная и неисчерпаемая тема нашлась сама собой, как только, выйдя из столовой, они попали под прямой обстрел снежного вихря, метко, без промаха, швырявшего в лицо мокрые хлопья, залеплявшего глаза, рот, заставлявшего склонять голову, отворачиваться и наконец, признавая поражение, повернуть вспять.

Погода — что может быть безобиднее?!

Но оказалось, и здесь у них нет единодушия.

Жанна любила такую погоду и даже предложила погулять.

— Что вы? Надо быть просто ненормальным! — воскликнул он, продолжая двигаться задом наперед и с отвращением чувствуя, как забивается мокрый снег за поднятый воротник куртки.

И, чтобы как-то сгладить впечатление от своей резкости, не очень, впрочем, настойчиво, предложил:

— Может, лучше зайдем в мои хоромы, посидим в тепле? Правда, угостить мне вас абсолютно нечем.

Он был уверен, что Жанна откажется: с чего бы это вдруг пошла она к нему в номер на ночь глядя. Им и поговорить-то, по сути, не о чем.

Но она неожиданно сказала:

— Тогда лучше ко мне. У меня есть чай индийский и конфеты.

Они почти не разговаривали. От нечего делать он следил взглядом за суетящейся Жанной, изучая ее лицо и фигуру. Он считал себя докой по женской части и поначалу весьма критически оценил ее достоинства: узкие покатые плечики, тонкая талия, но тяжеловатые бедра и несоразмерно полные ноги, — здесь явно были нарушены какие-то пропорции, и лицо, смуглое, невыразительное, с первого взгляда ничем не примечательное. Однако это впечатление было обманчивым и проистекало из того, что густые, темные, неправдоподобно длинные ресницы обычно бывали опущены, прикрывая глаза. Жанна почти всегда смотрела в пол, словно изучала какой-то диковинный рисунок, от которого не в силах была отвести взгляд. Лицо это совершенно преображалось, когда она открывала глаза, коричневые, бархатные, вроде бы не очень красивые, обыкновенные: но это уже было не лицо — лик, светлый, сияющий, излучающий. Тут бы надо сказать что-то возвышенное, но было это всего лишь навсего испокон веку женское, где-то на тернистом пути эмансипации утраченное и оттого особенно дорогое — доброта и покорность.

Вскипятив чай и разлив его по стаканам, Жанна перестала суетиться, больше ей нечего было делать. Она неловко присела на краешек постели, взглянула на него с какой-то детской, полувопросаю-

щей улыбкой и пожала плечами, словно извиняясь за что-то. Он вдруг почувствовал, как она напряжена, ее волнение передалось ему. Он еще успел подумать: “Да что это я, с ума сошел, что ли? Зачем мне это?” Но уже что-то щелкнуло внутри, включился инстинкт охотника, почувшего легкую добычу. И он не сумел остановить себя.

Его несколько удивило и, как он вскоре понял, обмануло то, что Жанна практически не сопротивлялась. Он принял ее покорность за привычность, поспешно порадовался, что она так же, как и он, не придает этому никакого значения (все в самом деле вполне естественно), но еще мимолетно думая так, уже осознал, прежде даже, чем встретил ее взгляд, устремленный на него в напряженном ожидании, что это происходит с ней впервые.

Ему сделалось так отвратительно не по себе, словно он обманул ребенка, подсунув пустой фантик, — и самому не смешно, и ребенок плачет. И все старался увернуться от ее немигающего взгляда, зарываясь лицом в густые, жесткие волосы, целуя в шею, в грудь. Но даже и тогда чувствовал его обжигающее прикосновение к своему лицу, когда делал вид, что спит. Хотя уснуть ему так и не удалось еще и потому, что он всю ночь прижимал к себе Жанну, замершую, словно попавшая в силочку птичка. Ему почему-то казалось, что если он ослабит объятия, то ее бешено колотившееся сердце разорвется.

Утром ему все же пришлось открыть глаза, и тогда Жанна, опалив его взглядом, прошептала:

— Ты теперь будешь любить меня?

Она не спрашивала — просила.

Его никто никогда не просил о любви, и это возымело свое действие: он поцеловал ее в висок, нежно, по-отцовски, как если бы она была его дочь, и сказал почти совершенно искренне:

— Почему буду? Я уже люблю тебя.

Слово это он произнес впервые. В начале его любовной Одиссеи до того ли было: сгорая от страсти и нетерпения, он лихорадочно и поспешно сдергивал одежды, свои, ее, прохладная нежная кожа, сладчайший озноб и жар, и бред, и ее шепот в беспамятстве, интимно, с губ на губы, чтоб не растерять ни вдоха — и ни единого слова в памяти, на слуху, только дивное послевкусие.

Потом, позже, и всегда слов было много, синонимы, заменители, эрзацы, плоские, одномерные и пустые, он их не выбирал, произносил заученно в перерыве между привычными гимнастическими упражнениями, чтоб как-то заполнить паузу. Формат был строго отмерен, как и весь комплекс упражнений — все для поддержания физического здоровья, основы основ. Никаких излишеств и, упаси бог, перегрузок.

А с Жанной — вдруг о любви.

В первый раз сорвалось, слетело с языка опрометчиво, от непривычной неловкости и желания загладить, хоть словом сохранить еще до конца не осознанную и непредумышленную, но несомненную вину перед этой полуженщиной-полурребенком.

Позже вошло в привычку и стало своего рода игрой, только правила изменились: Жанна, раз и навсегда поверив ему, не задавала свой вопрос никогда, а он, как постоянно повторяющийся припев любимой песенки, пропуская прочие куплеты, к месту и не к месту напевал: “Ты меня совсем не любишь”, “Если б ты меня любила”. Действовало это безотказно, готовая подтвердить свою любовь, она шла на все, и он бессовестно пользовался этим, добиваясь всякий раз своего во имя очередной причуды, прихоти, баловства, не щадя ее болезненную стеснительность и шепетильность. Эти маленькие победы доставляли ему радость, он привык к ним и не в силах был отказаться от них.

Да и не было причин для беспокойства. Жанне хорошо с ним, он это твердо знал. Она счастлива, и счастье это ей подарил он. Это было чрезвычайно лестно сознавать, этим можно было гордиться: сделать кого-то счастливым — даже больше, чем посадить одно дерево или вырастить целый сад. И главное — не требовало никаких усилий и не причиняло мало-мальских потерь, хоть какого-нибудь урона его собственному существованию.

Жанна ничего не требовала от него, ни на что не посягала, не добивалась каких-либо перемен. Она распахнула ему сердце, укутала своей преданностью, как теплым одеялом, заботливо подоткнув его со всех сторон, чтоб не надуло. И было ему тепло, удобно, беспричинно радостно и бездумно, как, наверное, когда-то давным-давно, в материнском чреве. Так хорошо ему было, что он этого почти и не осознавал, а тем более не ценил. Потому что ценят, как правило, лишь то, что теряют, а такой угрозы не существовало.

Жанна готова была идти за него в огонь и в воду и на деле доказала это.

Всплеск анонимных звонков и писем достиг апогея и, аукнувшись в разных инстанциях, породил, как горное эхо камнепад, лавину оргмероприятий, обрушившихся на их так неосторожно подставленные головы. Детонируя о его нарочитую и воинствующую враждебность, кто знает, какой разрушительной силы достиг бы этот обвал, если бы не Жаннино несокрушимое и обезоруживающее спокойствие.

Он восхитился ее стойкостью, которая отвела от них угрозу, не умаляя при этом и своих заслуг, ибо немало усилий приложил для того, чтобы Жанниной душой всецело завладела эта безмятежность. Он устал от бесконечных увещеваний и уверений, что не она явилась причиной разлада его семейной жизни, что таковой давно уже не существует, а точнее — никогда не существовало. Но она все никак не могла успокоиться, съедаемая угрызениями совести.

И вот однажды, когда он в очередной раз выпалил всю обойму неопровержимых и достоверных аргументов и фактов, она тихо попросила:

— Поклянись.

- Клянусь, — не задумываясь, сказал он.
- Нет, ты не так. Ты самым святым поклянись.
- О господи, что ты хочешь? У меня нет ничего святого. Она осторожно дотронулась до его руки и попросила:
- Поклянись памятью своей мамы.

“Бедная Жанна!” — подумал он, мимолетно вспомнив детство, мать, ее смерть и свое такое неуместное облегчение, которое одно лишь чувствовал, стоя у ее гроба. Что-то кольнуло, похожее на запоздавшее раскаяние, всколыхнулось смутное какое-то воспоминание: осуждающие взгляды соседей, их намеки — и невесть откуда выплыло сознание своей неискупимой вины перед матерью. С неожиданной горечью он подумал, что ни разу за все годы не был на ее могиле, решил пойти, разбужающих его дома, здесь не было. Пахло сложно, трудно дышать, спазм подступил к горлу, он тяжело вздохнул, поцеловал Жанну в лоб и почти торжественно сказал:

- Клянусь.

Жанна жила вдвоем с матерью в маленькой двухкомнатной квартире. Мать была больна и несколько лет не вставала с постели. Однако никаких лекарственных или иных неприятных, сопутствующих болезням запахов, раздражающих его дома, здесь не было. Пахло ванилью, чем-то еще, искони домашним, было уютно и чисто, недоставало лишь веселой песенки сверчка.

Жанна не сразу познакомила его с матерью, да он к этому нисколько не стремился. Не для того, понимал он, маменька пестовала единственное свое дитя, чтобы в один прекрасный день предстал перед ней не вызывающий особых симпатий, слегка перезрелый субъект и, галантно шаркнув ножкой, представился:

- Первый любовник вашей дочери, тещащий себя надеждой статус этот сохранить пожизненно.

Нет, у него не было ни малейшего желания эпатировать бедную маменьку, но и намерения в угоду ей фальсифицировать обстоятельства он так же не имел. А посему назваться женихом никак не мог.

Он бы вообще ни о чем подобном не думал, если бы Жанна, на первых порах не разрешая ему остаться на ночь, не повторяла с виноватой улыбкой:

- Погоди немножко, надо подготовить мамочку.

Он решительно не понимал, почему и к чему надо готовить мамочку, и это его настораживало. Он давно уже избегал всяких неожиданностей, верша свои дела по собственному желанию. Так ему, во всяком случае, казалось. Он привык считать себя хозяином положения. И славать позиции не собирался.

Однако как вскоре выяснилось, ему ничто не угрожало. Взяв его за руку, Жанна просто сказала:

- Пойдем, я вас познакомлю.

Его встретила такая приветливая улыбка, такая откровенная доброжелательность, что сразу стало ясно — он принят безоговорочно, никаких неприятностей не будет.

Наверное, он был похож на болвана: молча стоял, как вкопанный, не в силах отвести взгляд от этого лица. Коричневые бархатные лучистые глаза, маленький, слегка приоткрытый, словно поющий рот с детской припухлостью губ — Жанна? Не Жанна: резкие, недоброй рукой наведенные складки по щекам к подбородку, синеватые с лиловым отливом тени у глаз, как расплывы небрежного грима. Нелепый, дурной маскарад. Я узнал тебя, маска. Ты — Жаннино завтра.

— Что же вы стоите? Садитесь, — сказала маменька, чуть отяжеленным одышкой маминым голосом.

Он сел. И часто и подолгу сживал на этом стуле, расточительно проводя время, к которому привык относиться в высшей степени рационально, в неторопливых, без конца и края беседах. Никогда в жизни он не был таким говорливым, он — великий молчальник, вещь в себе, “черный ящик”.

Будто замороженный звуком собственного голоса, он говорил и говорил, не выбирая слов, не взвешивая мыслей, не выстраивая речевых конструкций, и что-то открылось ему неизведанное и чудное — просто райское блаженство какое-то. И будущее, пугавшее всегда своей неизвестностью, словно выглянуло из-за частокола скрывающих его лет, и оказалось, что они прямо-таки замечательно подходят друг другу: он со своим будущим и Жанна со своей маской. Дивная, почти идилическая картинка. Только бы скорей избавиться от плотских страстей, корыстолюбия и прочих мирских пороков и искусов.

И вдруг Жанна взорвала всю эту почти материализовавшуюся благодать тремя тихими словами:

— Я хочу ребенка.

— Какого ребенка?

С улыбкой, как маленькому:

— Мальчика или девочку. Лучше девочку.

— Ты что, Жанна?! Зачем тебе ребенок?

И тут же сработал счетчик — первая оплошность: не “нам” — “тебе”.

По мелкому дрожанию ресниц понял — она заметила его промашку сразу.

— Дети всем нужны.

Ну что тут скажешь?! От неожиданности он утратил свою выдающуюся способность к четкому, логическому мышлению, умение находить доводы, бьющие без промаха, наповал. И в замешательстве ляпнул:

— Ну какие дети в нашем возрасте?

И снова шелкнул счетчик: примазался черт к младенцу, ему почти сорок семь, ей — тридцать пять, как ни округляй — из разных они десятилетий. Тут никакое “наш” не поможет, ответ не сходится.

Словно **то же** решая задачу, только из другого варианта (у него — на сложение, у нее — на вычитание), она чуть слышно, но твердо сказала:

— Когда мы познакомились, мне было двадцать восемь. Она бы уже в школу собиралась.

— Кто?

— Дочка.

Он был сражен. Так бесцеремонно и грубо разрушить его светлое будущее, которое удивляло всем его вкусовым претензиям, как костюм, сшитый у первоклассного портного: элегантно, комфортно, добротно и долговечно. И все это слернуть с него, как с манекена, служившего лишь моделью, больно уколов при этом булавками. Чтоб не остаться голым, он впопыхах натягивает перед зеркалом свой повседневный костюм — слегка помятый, изрядно поношенный и осточертевший. Унылое, однако, оказалось зрелище.

Хозяин жизни, знаток женских душ. Жалкий слепец! В Жанниной светлой, фосфоресцирующей душе он, как в темном погребке, умудрился насчитать на неожиданное препятствие. От удара у него сделалось сотрясение мозга и, как следствие, — смещение всех понятий.

Дивясь Жанниной неопытности, он с привычной улыбкой превосходства — чудо какое-то — думал о том, что она, по-видимому, просто не знает, откуда берутся дети. Иначе хоть в какой-нибудь форме да проявила бы беспокойство. Но она лишь заливалась густым румянцем всякий раз, когда он, как бы невзначай, задавал наводящие вопросы, повергавшие ее в страшное смущение. А он гордился тем, как деликатно и тонко взял все на себя, и зорко стоял на страже ее интересов, ни разу не дав себе поблажки, не расслабившись, не утратив на миг бдительность.

И за все за это — такая черная неблагодарность!

Обвинить его в коварстве и жестокости! И кто — Жанна, ради которой он единственный раз в жизни нарушил свой главный принцип: “Не посеешь добро — не пожнешь зло”. Он, никогда ни о чем подобном не думавший, желал уберечь ее от возможных неприятных последствий. И ведь уберег. И был рад и за себя, сумевшего соблюсти чужой интерес, и за нее, неискушенную и доверчивую.

И нате вам — к чему все пришло.

Впрочем, Жанна ничего такого особенного ему не сказала, это уж его воображение разгулялось, помноженное на уязвленное самолюбие.

Она же, сморгнув несколько капель, зависших на кончиках ресниц, сказала, словно оправдываясь:

— Я ведь тогда с самого начала очень обрадовалась, и все ждала, когда же это произойдет. А потом пошла к врачу — думала, что у меня что-то не в порядке.

Она польхала горячим румянцем, как в лихорадке, но все же продолжала:

— Я очень хотела ребенка. Ведь ты все равно не собирался жениться на мне.

И взглянула ему в глаза, до боли прикусив нижнюю губу.

Он понимал, что она ждет опровержения, что от того, что он сейчас скажет, многое будет зависеть. Никогда еще не доводилось ему оказываться в таком положении. Небрежные связи, беспечные флирты, без усилий и сожалений, ничего не значащие обещания — и вот

его уже нет, исчез, как приснился — не ухватить, не задержать, не привлечь и ни одного взгляда назад — что натворил там, проказник? — лишь вперед и вперед, некогда, некогда, надо все успеть, легкое, ускоренное, чуть хаотичное, но направленное движение — только от минуса к плюсу и никогда наоборот.

И вдруг резкое торможение, перегрузка. Сжатый со всех сторон, сплюснутый, раздавленный, он, желая любой ценой поскорее освободиться, обрести прежнюю, привычную легкость, выкрикнул:

— Ну и рожай на здоровье. При чем здесь я?

Белые маленькие зубки выдавили алую каплю. Жанна быстро слизнула ее и, с трудом разлепив губы, сказала:

— Я хотела ребенка от тебя, какой же ты... глупый.

Окончательно поверженный, он прижимался обеими лопатками к полу и даже не пытался подняться. Сил для реванша не было, да и за что ему мстить Жанне.

Сейчас, держа Жаннину руку в своей, он радостно думал о том, что, раз она пришла, едва узнав о его болезни, нет никаких причин для беспокойства. Он все преувеличил, нафантазировал Бог знает что и раскис, как последний слюнтяй.

Впадая в другую крайность, он чуть сжал Жаннины пальцы и, пленительно улыбаясь, промурлыкал:

— Разве это поцелуй? Ты меня совсем не любишь.

Жанна вздрогнула, отдернула руку, будто обожглась, и, не поднимая головы, сказала, словно самой себе:

— Не надо играть словами, за это приходится платить. И поспешно добавила: — Я пойду, меня ведь пропустили на минутку.

#### 4

Только ушла Жанна, дверь снова скрипнула. Удальцов закрыл глаза. Пусть думают, что он спит, и оставят его в покое. Ему ничего от них не нужно. Ему ни от кого ничего не нужно. Он один, он сам по себе, отшельник, затворник, анахорет.

— Ну, ну, не притворяйся. Я же вижу, что не спишь. И Жаннетку твою только что встретила.

Мягкая, горячая, как горчичник, ладошка накрыла его руку.

Валентина!

“Господи, ей-то что нужно? Неужто и впрямь умираю?” — с тоской подумал Удальцов и открыл глаза.

— Ты что это, крошка моя, оторвалась от важных государственных дел? Ужель дела мои так плохи? — с трудом попадая в нужную тональность, спросил он.

— Обождут дела, обождут. Да я и ненадолго, еле уговорила, чтоб пустили на пять минут. Говорят, у тебя отбоя нет от баб, гляди, выпит за нарушение режима.

Она погрозила ему пальчиком, перевела дух и затараторила дальше, чуть прищептывая и захлебываясь словами. Маленькая, худенькая, шустрая, она не только говорила, но и делала все так быстро, словно пребывала в постоянном цейтноте. Ее обуревала неутолимая жажда деятельности. Ей было тесно в рамках собственной жизни, своих проблем, и, не зная устали, она бесцеремонно и нагло, ничтоже сумняшеся, лезла в чужие дела, которые, в общем-то, ее нисколько не интересовали. Цель у нее была одна — напичкать, убажить свою ненасытную утробу, и фантазия ее не знала границ — и подливки разные придумывала, и приправки к ним. И все ей было мало, все не так. Сколько бед натворила, сколько дров наломала, врагов нажила, а угомониться не может.

Враги ее, впрочем, нимадо не беспокоили, она сама изначально всех числила врагами. Это их с Удальцовым сблизило на определенном этапе — совпадение жизненных установок. Только если для Удальцова это была всего лишь тактика, то есть просто линия поведения в любых обстоятельствах (простенькая формула: не обольстившись, не разочаруешься), то для Валентины — стратегия, искусство, стихия, причем стихия разрушительной силы.

На Удальцова поначалу это не распространялось. С ним она не боролась — терпела.

— Мне с тобой, Удальцов, скучно, — как-то призналась она. — Ты мне и не друг, и не враг, а так...

И все же они довольно долго были близки, а точнее, состояли в интимной связи, что послужило отправной точкой для всеобщей к нему нелюбви коллег, так как Валентина была его начальницей. Все усмотрели в этом альянсе с его стороны корысть, которая, по сути дела, отсутствовала.

Не то чтобы Удальцов не был честолюбцем, был, и тому подтверждение то беспримерное, как он считал, восхождение, которое он, альпинист-одиночка, совершил, вскарабкавшись из глубокой пропасти, заброшенным в которую оказался при рождении, к первой покоренной им вершине. От радости перехватило дыхание, голова шла кругом, руки и ноги дрожали от только что испытанного напряжения, и захотелось расслабиться, насладиться достигнутым, понежиться и отдохнуть. Силенки поднакопить, мышцы поднакачать — и снова в путь. Дистанция марафонская, надо себя поберечь. Он предался праздности и так втянулся, что не заметил, как лень пересилила честолюбие, и та первая вершина оказалась последней.

Валентина, в связке с которой отправился он все же во второй маршрут, лишь чуть подтянула его по пологому склону. Дальше он ей надоел, и она его бросила, беспрецедентный, кстати, случай в его практике. Правда, Валентина же и не дала ему скатиться по этому склону вниз, вбила колышек и привязала его намертво: ни туда ни сюда он с этой точки не сдвинулся.

— Мужчина, Володичка, — трещала Валентина, — должен быть в постоянном движении к цели, тут все средства хороши: талант и зависть, злость и жадность, обида и честолюбие. Ну, словом, какое-нибудь топливо. Конечно, лучше талант или что-нибудь в этом роде. Но у тебя, Володичка, ничего этого нет, злости настоящей тоже, честолюбие разве что, да и то чуть тлеет, как отсыревшие дрова. Ты, Володичка, ни то ни се, серединка на половинку. Тебя ни полюбить, ни возненавидеть нельзя. Спать с тобой можно, это да, здесь ты маэстро. Но не великий, нет. Великим был мой алкаш Геночка.

В этом месте, прерывая свой страстный монолог, Валентина обычно закатывала глаза, впадая в экзальтацию. Такой приступ случался с ней всякий раз, когда она вспоминала своего Геночку, но очень скоро прекращался без применения каких-либо сильнодействующих средств.

Геночка — Валентинина легенда, тщательно продуманная и выстроенная с той долей неправдоподобия, которая и делает вымысел похожим на правду. Если в двух словах, то: была безумная любовь (ах, какая безумная!) и горькое разочарование (ох, какое горькое!). А между ними — конгломерат страстей, подлинных, шекспировских. Можно и еще проще, совсем просто: Геночка тихо и безнадежно спивался, Валентина, воспитанная лозунгом: “За счастье надо бороться”, дошла в этой неравной борьбе до полного истощения недюжинных своих сил, транспарант выпал из ослабевших рук, но последним усилием она сбросила-таки камень, висевший на шее, и всплыла. А Геночка, как и следовало ожидать, пошел на дно — только она его и видела.

Валентина отторевала, сколько положено, и явилась миру женщиной свободной, энергичной, приятной во всех отношениях, в полной, что называется боевой готовности. Раскрепощенная, никакими узами не связанная, в рутине и косности быта не потонувшая, блестящая светская дама — идеал, недостижимая мечта.

И потянулись к ней со всех сторон, как к роднику с ключевой водой, страждущие мужские души. От жен своих наскучивших, расхристанных, затюканных, брызжащих — к ней, к Валентине, крошечному оазису в бескрайней пустыне.

Удальцова она сама из толпы выудила, поманила и при особе своей оставила в качестве пажа и наперсника одновременно. Приблизившись к звезде, он увидел то, что прежде было сокрыто окружающим ее ореолом. Одна лишь истинная страсть владела этой маленькой женщиной — неутомимая страсть отмщения всем и вся, без вины перед ней виноватым за ее невыплаканные слезы, за несбывшиеся надежды, за беспросветное одиночество, за даром растраченные силы, за все то, что, недоступное взгляду восторженного зрителя, ежедневно поджидает ее за кулисами.

Удальцова ничуть не смутила открывшаяся ему закулисная тайна. Он ни в чем не обвинял Валентину, не находил состава преступления в ее лжеблаготворительных деяниях, которые она богатейши-

ми россыпями, не скупясь, разбрасывала направо и налево. Кладовые ее были неисчерпаемы, и жертвы сами спешили в эту западню, прельщенные ее роскошью и доступностью. И поделом им.

Себя он в их составе не числил. Он не обольщался насчет Валентины, не строил никаких иллюзий, и потому его не ждала расплата. Он чувствовал себя хорошо тренированным пловцом, который, ослабившись на волнах, не боится неожиданного шторма — уверен, что выплывет. И знай себе качается:

постылая жена — любовница-люкс — безупречная служба — будни — любовные игры, улада, утеха — будни, будни — отпуск, загул, путешествие — будни — служебный роман, шуры-муры, карьера — хандра, меланхолия, сплин, отвращение — болячки жены, ипохондрия — будни — гимнастика, праздники, бодрость, уныние — кругом мезальянс, филистерство, кручина — будни, будни, будни — Жанна... — покой и блаженство — ... но будни... — ...но Жанна...

Его вдруг укачало так, что он потерял берег из виду.

Вот тут-то Валентина и врезала ему, что называется под дых, чуть не утонул.

Отомстила. Хотя за что? Сама его бросила, сама преместила в другую графу своего штатного расписания. Чем-то вроде дальнего родственника по знакомству пристроила, что не исключало, однако, рецидивов прежней страсти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Его, откровенно говоря, новая должность вполне устраивала: платили меньше, но и требования снизили. Валентина изрядно утомила его: нотациями, претензиями, притязаниями. Он долго был пайнкой, позволяя двигать себя, как шахматную фигуру. Но ей этого было мало, входя в раж, она то и дело нарушала правила игры, выходя за рамки игрового поля.

Взяв его под неусыпный контроль, в средствах не знала разбора. Осведомители были в почете. Он поначалу возгордился, важной персоной возомнил себя — под колпаком у самой Валентины. Тем более что это принесло реальные плоды: она продвинула его по служебной лестнице, протаскив через несколько ступенек (кто-то вовремя умер, кто-то уволился, кого-то сместили, отодвинули — и он без всякой борьбы оказался победителем турнира, в котором не участвовал). Правда, это был насильственный акт: не без труда обустроившись на старом месте, он кое-как притерся к действительности, сумел убедить себя, что все вполне соответствует некогда сформулированным задачам, и менять ничего не собирался. А тут такой сюрприз, без всякой подготовки. Он был в шоке. Но все как-то утряслось. Помусолив за щекой сей неведомый плод, который, не будучи гурманом, хотел выплюнуть, не распробовав, он неожиданно проглотил его. И ничего. Не так страшен оказался черт: жалованье большое, кабинет отдельный, привилегии там разные, загранкомандировки, то да се, да и работы, в сущности, никакой, а с руководством он вполне справлялся (все же

голова на плечах есть), тем более его недолгоблivelyли и сверху, и снизу, а посему с мелочевкой всякой не приставали, и контакты были сведены к минимуму. Это все плюсы. А минусы, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, вовсе отсутствовали. Или он их не замечал. Bravo, Валентина!

Это событие совпало с пиком Валентиновой активности, направленной на него. Она шагу не давала ему ступить самостоятельно, опекая, как мать-наседка — неоперившегося птенца. Даже в дом к нему пробралась, подругой жены оборотилась. И та не составили исключения из общего правила — поддалась Валентинным чарам, будто околдованная, заплясала под ее дудку, закружилась. Валентина, искусница, искусительница: знахари, лекари, сенсоры, врачеватели, исцелители, травники — угодила, вмастила, умаслила.

Даже ему перепало несколько благосклонных взглядов жены за некую причастность к великой особе, хотя он видел — не слишком почетное место ему и здесь отвели. Жена буквально преобразилась, это был ее Ренессанс, она вся светилась и излучала, даже немного выздоровела. Он вдруг понял, что она просто-напросто влюблена, влюблена в Валентину и, черт возьми, это его задело.

— Идиотка! — не выдержав, заорал он. — Идиотка! Ты посмотри, какую змею пригрела, да она проглотит тебя, как кролика, наслаждаясь процессом пищеварения, а глупость твою, как особый деликатес на десерт оставит.

И, испытывав неожиданный прилив вдохновения, такой ушат грязи вылил на хорошенькую Валентинину головку, что жена, оцепенев, ни слова не могла вымолвить, лишь тарачила на него выпученные от ужаса глаза.

И Валентине, под горячую руку, в благородном порыве отвадить от дома, ляпнул нечто такое, отчего она на миг утратила самообладание. Но уже в следующее мгновение, обольстительно улыбаясь и с нежностью глядя на него, проворковала:

— Вот что, дружочек мой, я давно хотела тебе сказать: пошел-ка ты от меня...

И чтобы у него не осталось никаких сомнений, уточнила обстоятельство места.

Однако на сей раз трагедии не произошло, не считая того, что жена не простила ему Валентину. Ей нечем было заполнить образовавшуюся пустоту и, пометавшись в напрасных попытках возобновить так неожиданно оборвавшуюся дружбу, она вновь ушла в трясину своих болезней. Оттуда и долетали до Удальцова слабым отголоском происшедших событий флюиды ее упрямого непростения.

С Валентиной же отношения вскоре наладились, перейдя в иную фазу. Он бывал у нее в гостях со своими подружками, она не скрывала от него свои связи, по-прежнему посиживала в его кабинете, попивала кофеек, поругивала, поучала, посмеивалась, подслушивала,

подсматривала, попугивала — и все это полувсерьез: не играла — поигрывала. Эдакая эквилибристка, легкая, непринужденная.

И вдруг провал так хорошо отработанного номера, полная потеря равновесия — Жанна. Жанна — не только в эпицентре, но и сама причина мощнейшего землетрясения, лишь по счастливой случайности, впрочем, ценой ее же, Жанниной, стойкости не повлекшего за собой роковых разрушений и жертв. Жанна выстояла, и он вместе с ней, ею надежно защищенный. Ведь пострадать в первую очередь должен был он, против него был затеян этот катаклизм.

Валентинина причастность к случившемуся, а точнее ее руководящая роль, не вызвала сомнений — кому бы еще по силам организовать массированный налет? Всю агентурную сеть свою задействовала: писали, звонили непрерывно, не давая опомниться ни обвиняемым, ни проверяющим. Да она и не скрывала своего участия в этой акции. Когда последние слабые толчки прекратились и все успокоилось, она появилась в его кабинете. Вызывающая поза, пронзительный взгляд сквозь насмешливый прищур, курит медленно, глубокими, долгими затяжками в несвойственной ей манере (обычно от щелчка зажигалки до обгоревшего фильтра всего мгновение, так стремительна она во всем: баловство ли, дело ли — быстро, быстро, раз-два и готово). Медленно тушит сигарету в пепельнице, медленно острым перламутровым ноготком снимает прилипшую к чуть оттопыренной нижней губе табачную крошку и протяжно, распевно, как бывает только в минуты ярости, говорит, растягивая губы в улыбку:

— Думаешь, вый-круу-тился, друу-жочек мой, не надейся, я тебя еще доо-стану.

Взмахнула ресницами, как крылышками, вспорхнула со стула и вылетела вон, оставив после себя нежнейшее благоговие и гнетущее ощущение надвигающейся беды.

Сейчас запах был тот же, и, словно продетая в игольное ушко нитка, тонкими стежками потянулась за ним тревога.

Валентина без умолку тараторила, вдохновенно помогая себе мимикой и жестами. Удадьцов попытался вслушаться, ведь не напрасно же она пришла, это ясно. Стало быть, надо искать тайный смысл.

Однако искать ничего не пришлось. По-видимому, устав от его безучастности, Валентина начала все говорить открытым текстом. Терпение лопнуло, не в ее это характере — ждать. Она спешила оглушить его своим сюрпризом, специально для него с любовью и выдумкой приготовленным. Нарушая приличия, она сама разорвала упаковку — ну же, гляди, гляди скорее. И подавился им.

— Ой, да ты меня не слушаешь вовсе. Удадьцо-ов! Что-то ты совсем расквасился, дружочек мой. Уж не переусердствовал ли в лицедействе своем? Ты очень-то не надрывайся, полежи, отдохни, расслабься.

Она смотрела на него с нежной лаской во взоре, как мать родная.

— Спешить тебе некуда. Мы тебя вчера аттестовали, заочно. Прошло мое тестирование. Помнишь, я анкеты придумала? Очень миленько получилось: раздали, заполнили и подвели итоги — некоммуникабелен, неинициативен, неинтеллигентен (удар в самую болевую точку), не и не, а на не, как говорится, и суда не: не соответствует, то бишь. И никаких сомнений и обид — неподкупный глас народа. Ни предвзятости, ни преднамеренности.

Она улыбалась ему так щедро, будто только что одарила бесценным подарком и теперь вправе ожидать адекватного изъяснения благодарности, уверений во всепреданнейшем почтении и прочих изысканных форм поклонения и признательности.

“Я убью ее, — подумал Удальцов. — Задушу. Сейчас, здесь, немедленно”.

Он вытер о простыню повлажневшие ладони и с трудом сглотнул.

Большой палец с силой упирается в уютную ямочку между ключицами, которую она обычно подставляла для поцелуя, остальные обвиваются вокруг белой, гладкой, нежной шейки, опоясанной тонкой паутинкой морщин, подвижной, вертлявой...

Руку свело судорогой. Он растирает ее, пытаясь разжать пальцы. И не может отвести взгляд от ее шеи.

Она резко вскочила, как подпрыгнула, уголки губ задергались — вверх, вниз, в стороны, улыбка поплыла, закачалась, гримасы сменяли одна другую, словно она демонстрировала возможности мимической гимнастики. А в глазах заметалось беспокойство.

“А, испугалась, стерва, — торжествуя подумал он. — Все равно я убью тебя, это, оказывается, совсем не сложно”.

И снова испытал знакомое уже напряжение во всем теле и сладостную истому. И ужаснулся, что от этого можно получить удовольствие.

— Ну, дружочек мой, я исчезаю. Надеюсь, ты не слишком огорчен. Да и нет причин, я тебя в эту игру принудительно втянула, я же тебя и выручила. Палочка-выручалочка, выручи Удальцова.

Она выпалила все это безукоризненной скороговоркой, без запинки и задоринки — явно домашняя заготовка.

Мимолетный страх улетучился, как не бывало, она была довольна собой и не скрывала этого, упиваясь взмах его оторопью. Фурия, прадзнуюющая триумф.

“Я убью ее”, — снова подумал Удальцов, но никакого отзвука не услышал.

Весь запал пропал вхолостую. Он опять упустил свой шанс, слизняк, ничтожество. Она торжествует по праву.

Он решил молчать, ибо ничего более достойного не придумал. И только смотрел на нее с испепеляющей, как ему казалось, ненавистью.

Но такие, как Валентина, в огне не горят. Целехонькая и даже ничуть не опаленная, она продолжала улыбаться, но в улыбке этой

появилось нечто новое; она словно вдруг узнала, что он неизлечимо болен. Какой с него спрос. Мелькнуло что-то похожее на жалость. Унизительную, брезгливую жалость. И тут же:

— А знаешь, Удальцов, если бы мы неожиданно поменялись ролями, я бы убила тебя. Это был бы эффектный конец, ей-богу.

Она рассмеялась.

— Ну, будь здоров, что ли. Не вешай нос.

И уже взявшись за ручку двери, крутанулась на каблучках, и он увидел взгляд хищника, опьяненного кровью своей жертвы.

— Кстати, о носе. Что-то Жаннетка твоя мне последнее время не нравится. Может, нам ее замуж выдать? А что — детишек нарожает, ей это очень пойдет. И никакой меланхолии. А? Ну для чего ты ей, сам подумай — ни богу свечка, ни...

Больше ничего сказать она не успела, вскрикнула “ой, мамочка!” и выскочила из палаты.

Граненый стакан врезался в дверь и стеклянными брызгами осыпался на пол. Еще один холостой выстрел.

Он лежал, как оплеванный, и по лицу стекали остатки компота, выплеснувшегося из стакана.

## 5

Нет, нет, нет... Нет!

Он не сдастся, он будет бороться. Его голыми руками не возьмешь. Не на того напали! Болезнью воспользовались, заговор организовали, террор объявили. Но его не запугаешь. Просчитались, товарищи дорогие, вороги лютые. На всех управа найдется. Все одним миром мазаны. Круговая порука, одной и той же трагикомедии персонажи.

Сюда улыбочка поприветливее, сюда взгляд исподлюбья, строгий, взыскующий. Направо пальцем грозят, кулаком по столу постукивают, налево — голову почтительно склоняют до хруста в позвонках, не шадя хребта своего. Тревога — и занятость изображают, напряженную умственную работу, лоб безжалостно в гармошку сморщивают: чем резче морщины, тем глубже мысли. Отбой — и глубокий вдох, и полный, свободный выдох, покой и отрешенность. Здесь поприветствовать, там покарать, тут полаяльнее, там пожестче. Главное — не перепутать, не ошибиться. Выучить роль на зубок и шпарить как по писаному, даже если партнер оплошает, вести свою партию безукоризненно чисто. И дважды в месяц с глубоким удовлетворением банкноты в шегольской бумажник аккуратненько складывать, одну к одной (желательно, чтоб покрупнее). На лице отстраненность и деловитость, а в кармане — кукиш.

Всем, всем, всем: налево, направо, туда, сюда. Если каждому по труду, а ему больше всех, значит, он всех ценнее. Достиг, дорвался, неприступен, непобедим.

Не-ет! Он не таков. “Чур не я! Чур не я!” — только и успевал кричать. Правда, про себя, мысленно. Но с завидным постоянством. Он не с ними, он сам по себе. Не зря же они его не любят. Взаимное отторжение, несовместимость крови.

Он, правда, никогда не бунтовал открыто и ни за что не боролся — ни за, ни против. Но ни от чего и не отказывался — что давали, все брал, даже если не был уверен, что очень нужно. Дают — бери. Не им придумано, не ему и отменять.

Да и кто не берет? Таких показывать надо по телевизору на всю страну. Только их сначала отыскать нужно. Гении, непризнанные, доморожденные, энтузиасты-бессребренники, жуки навозные. Встречались на его пути такие. Смеются над ними все. Вслух, может, кто и позавидует, в пример поставит, а в душе хохочут, надрываются. Иной сердобольный не выдержит, пожалеет, всплакнет прочувствованно, а смахнет слезу — и туда же — хохотать со всеми вместе за компанию. Ну и что хорошего? Его-то не любят — вполне достойное чувство. Но жалость, но смех — это уж, извините, не для него, он не шут, не паяц, раздражать уважаемую публику не вызывался.

Вот кукиш в кармане — другое дело. Это и ему по душе. Не явный, не агрессивный, а все же протест.

Сначала он жену для этого приспособил. Протестовал ею против прошлого своего ненавистного, социальной ущербности, уязвленности. Профессорская дочка, интеллигентка и интеллектуалка, можно сказать, аристократка. А он, ее муж, стало быть, тоже не лыком шит, вполне достоин внимания. Накось — выкусите!

Только вскорости это ему надоело. Им никто не восхищался, но и не гнали взашей. То ли признали, то ли не заметили. Он устал гарцевать, переломил через колено древко знамени и, отшвырнув его подальше, перешел на вольную ходьбу.

А пальцы так и остались сплетенными в привычную комбинацию. Только теперь она звалась Валентина и не требовала никакой дополнительной рекламы. Здесь все говорило само за себя. Он был на виду у всех, даже когда мирно спал в своей постели, предаваясь легкому и беззаботному младенческому сну. Шутка ли — фаворит самой Валентины. Ему завидовали, его ненавидели, презирали и, презирая, побаивались. Предел мечтаний, финиш. Дальше ехать некуда. Тпру!

Но кони вдруг взвились и понесли. Спасти от неминуемой гибели могло только чудо. К счастью ли, к несчастью, он в ту пору еще спал, опьяненный Валентиным приворотным зельем. Проспавшись, протер глаза — и ничего особенного не увидел. Он прежде никогда не встречал чудо и не узнал его.

Перед ним была просто Жанна. Жанна — сегодня, завтра, ночью, днем, привычно, постоянно — Жанна. Только он никогда не прятал ее в кармане, а нес на открытой ладони.

Здесь можно бы сказать: нес бережно и осторожно, трепетно и истово защищая от бурь и невзгод, грудью своей прикрывая, жизнь

готовый отдать за нее... Да мало ли что можно наговорить, все зависит от того, каков твой словарный запас.

Но все это будет не просто преувеличением — фальсификацией, то есть подменой истинного ложным с заведомо корыстной целью. Но у него: а) нет никакой корысти и б) абсолютно нет сил.

Он устал. Он смертельно устал. Видения, сон, бред, тяжкие размышления. Было ль, не было? Где сон, где явь, где он? Для чего с такой изнуряющей тщательностью препарировал он сам себя, разложив на составные части и рассортировав их по принадлежности? Кому нужны эти останки?

Он сам подписал себе смертный приговор.

Теперь уж ему не возродиться. Это конец.

Конец...

Тик-так... Мирно тикают давным-давно остановившиеся ходики.

Удальцов спит, и ему снится, будто он спит и ему снится, что он умер, воскрес, еще раз прожил свою жизнь и снова умер, уже по-настоящему. Но скоро он проснется, потому что ему снится, что в прозрачной ясности раннего утра ему откроется нечто такое, не узнав чего, он не сможет ни умереть, ни жить дальше.

Он спит, а меж тем прозрачное ясное утро, заглянув в больничную палату, повыгоняло прятавшуюся по темным углам нечисть, выветлило, выбелило все вокруг, чуть подголубило, позолотило. Мазок, еще мазок, ровно, размеренно, неспешно, со знанием дела.

Холст загрунтован, свет поставлен. Ах, какая чудесная должна получиться картина. Ну если не шедевр, то что-нибудь очень значительное или, по крайней мере, достойное внимания взыскательного зрителя.

Удальцовым овладело предчувствие, предощущение счастья. Он глаз не мог отвести от этой ненарисованной еще картины, он видел ее всю, в деталях, и был восхищен и удивлен. И узнал себя: и там, на холсте, и здесь — творца, художника. Он был и по ту, и по эту сторону холста. Он был везде. Он был...

— Ах вот оно что... Ах, Боже мой... — шептал он, замороженный.

*Галина Гордеева*

## **В перевернутой высоте**

**Стихи**

\*\*\*

Боже правый и боже левый,  
Пятипалый морской урод,  
Гору жатвы и пору сева  
Затянувший в водоворот,

Боже левый и боже правый,  
Невод ставящий в небеса,  
Чтоб гудела в синей оправе  
Солнца бешеная оса,

Чтоб для нового зодиака  
Знаки хмеля, секиры, злака  
Бились, соль отрясая с тел,  
В перевернутой высоте.

1969

## МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Ты и не горло, ты и не скрипка —  
Как же в тебе уместились улыбка,  
Голос, и вечность, и вздох?  
Кто же твой мастер? Златая ли рыбка?  
Кот ли баюн? Или сердца ошибка?  
Ганс, Амадей или Бог?

(Ты, самодержец, швыряющий кубок  
В бездну, которую я и врагу бы...  
Видел ты это вблизи:  
Пота потоки, слюну из раструба,  
В жесткую ниточку сжатые губы,  
Черный потек от слезы?)

Ты не гортань и не флейта, но все же  
Тысячи игл танцуют по коже,  
Сея морозную пыль.  
Ах, Александр Сергеевич, Вам тоже  
Снилось, что принц, неуклюжий до дрожи,  
Пляшет под эту кадрили?..

1972

## ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ

### 1. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР

От страха почти что горбата,  
Продыmlенным легким дыша,  
Без лонжи бежит по канату,  
Традиции ради. душа.

Она ничего не умеет,  
Тоски протече и родня,  
И купол круглится над нею  
Сверкающим черепом дня.

Стара для подобных оказий!..  
И, кверху носочки задрав,  
Сейчас она сверзится наземь —  
Хрипунья, бродяжка, Пиаф.

## 2. ДЖАЗОВАЯ ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ ГРИГА

Газуй, моя шоферюга.  
Проездочкою дразня!..  
Нет, все хорошо, подруга,  
Ну все хорошо, подруга,  
За исключением меня.

За исключением пульса,  
Бьющего вперебой.  
Сказано: “Образумься”.  
Выпалено: “Не суйся  
В ссору мою с судьбой!”

“Эй, моя королева! —  
Гримасничает маршрут:  
— Хоть раз поверни налево,  
Сейчас поверни налево —  
Ведь хочется повернуть!”

Там. За углом. Прохожий.  
Вызверившись лицом,  
Как на брачное ложе,  
Как на грешное ложе.  
Возляжет под колесо!..

Езжай, забавляясь болью,  
Троллейбусная Жорж Санд,  
Душу посыпав солью,  
Газуй, королева троллей,  
На повороте в ад.

## 3. НЕУДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЭТА

О последняя жизнь! Неужели не жаль,  
Восходя к небесам ежеутренним паром?..  
.....

Наконец-то разгневанный ангел загара  
Осенил Ваши плечи и Вашу печаль.

Вот, склоняясь лицом, во весь рост на песке, —  
Никогда не бывало прекраснее вида!  
Ах, трепещет, как бабочка, тень на щеке...  
.....

О последняя жизнь! Неужель не обидно?

Тонким голосом Вас восхваляет песок,  
Вас, в промокшей ковбойке, в ожогах удачи,  
И поет, и ползет, обтекая висок...

.....  
О последняя жизнь! Неужели не плачешь?..

(Точки обозначают шум, топот и свист зрителей,  
заглушающие голос поэта)

1972

## ИЗ ЦИКЛА “КНИЖКА С КАРТИНКАМИ”

### РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА

#### *Heilige Nacht*

За окном совершается выход Плеяд.  
Старый плотник торжественной думой объят.  
А жена его, правя обычный обряд,  
На груди раскрывает свой синий наряд,  
Молоком намакающий; птицы парят;  
Грудь белеется в сумраке еле.  
Ты лежишь на соломе среди пчел и ягнят,  
Ходит мир колесом, отражая твой взгляд,  
Ты лежишь.  
Тебе нету недели.  
Балерина поет, и танцует певец,  
И любовь возлагает свой бедный венец  
В изголовье твоей колыбели.  
Три волхва над тобой наклонились, птенец:  
Белый Моцарт, в небесную дудку игрец.  
Черный Пушкин, вернувшийся к нам наконец,  
Ну, а третьего мы не успели  
Ни назвать, ни узнать, ни схватить за рукав.  
Только знаем, что он, как и эти, кудряв,  
Только видим — смотри! — что бежит он стремглав  
(Словно мальчик, монетку в ладони зажав!)  
В небеса по сияющей ели,  
Чтоб в угоду тебе — уж таков его нрав! --  
На Плеяды навесить качели.

## ОКТЯБРЬ

Недвижный полдень смотрит свысока,  
Как платье пестрое к ногам роняют клены.  
И в сладостных пустотах тростника  
Мне чудится дыханье Аполлона.  
И сон единственный еще теснит мне грудь:  
Тень будто бы, далекая такая.  
Седую голову, склоненную чуть-чуть,  
Рукою белою бестрепетно ласкает...

1974

*Чебоксары*



*Наталья Семынина*

## КОЕ-ЧТО О СТРАХАХ

### Рассказ

— Вот, послушай, — сказал мне приятель, взяв со стола раскрытую книгу (красноречивая деталь), и ловко отвернулся от меня к окну, не столько для удобства чтения, решила я, сколько скрывая от моих глаз книжный корешок с именем автора.

Таинственность была налицо. Ах ты, старый мистификатор. Я ждала, что будет дальше.

Приятель внятно зачитал: “За все время, пока я живу на этом свете, мне было страшно только три раза”.

— Что скажешь?

Я пожала плечами.

— Счастливый человек.

— Кто?

— Согласись, мало кто может похвастаться, что за всю жизнь перетрухнул только три раза.

— На этом свете, — важно заметил приятель.

— Я и говорю: счастливый человек в счастливой стране.

— Не в слишком счастливой стране и отнюдь не счастливый человек. Отнюдь. Но не перестаешь завидовать, хоть завидовать гению... — Он шелкнул пальцами и поморщился.

— Ты понимаешь, что я хочу сказать...

Чтоб избежать объяснений, я проямлила, что понимаю.

Приятель грустно глянул на меня.

— Не гению я завидую, вот что обидно! — воскликнул он с восхитительной непоследовательностью, впрочем, допускаю, он следовал внутренней, одному ему доступной логике. — Но такой нормальностью веет от этой фразы, вот именно, нормальности я завидую.

— А, — протянула я, разочарованная.

Нет, он не морочил меня, он был удручающе серьезен.

Я приуныла: добрый малый, несмотря на свои прекрасные душевные качества, — потрясающий зануда на самом деле.

— А жизнь тоже была не сахар, по головке не гладила, бился за кусок хлеба.

Так и есть, завел шарманку. Я стала думать о своем, а ухо машинально ловило обрывки фраз.

— Тиски, подлая нужда, работа на износ, болезнь, призрак смерти... но нормальное, здоровое мистическое отношение к страху.

— Чего, чего?

Полагалось отреагировать, я и отреагировала, но если он думал удивить меня, то ошибался, уже обозначился новый крен прихотливого ума, слишком явный, чтоб остаться незамеченным; может быть, голубчик и позабыл, как прошлый раз испытывал мое терпение комментариями к Лавкрафту, но я нет.

Поэтому мое восклицание было скорее церемониальным, не хотелось обижать чудака, он так ценит свои изречения.

— Горе тому обществу, которое позволяет страху стать бытовым явлением.

— Горе, горе, — эхом откликнулась я, — по себе знаю.

— Постыдилась бы, — презрительно бросил старый товарищ.

Мне стало передаваться его раздражение.

— А чего стыдиться, если страшно. Что, скажешь, нет?

Он негодуяше фыркнул.

— Ну знаешь ли, мой милый, когда твоих знакомых убивают в собственной квартире и десятая кража в доме...

— А раньше не убивали?

Он неприязненно умолк и отвернулся.

Я почувствовала укол в сердце, стало неловко и за себя и за него, я поняла, что он намекает на давнюю трагедию: лет пятнадцать назад его близкую знакомую зарезал грабитель или грабители, преступление не было раскрыто; и то, что тень мученицы вызывалась как полемический аргумент, корбило, было недостойно моего старинного друга; человеку увлеченному можно многое простить, но есть предель... Захотелось закруглить разговор.

— Хотя бы на улицах не стреляли.

Меня тут же поставили на место.

— И на улицах стреляли, только мы не знали, поэтому безобразий вроде и не существовало. Ненормально было наше молчание, но столь же ненормальна наша теперешняя болтливость. Ты замечала, с

каким удовольствием они это делают, прямо с наслаждением, сладострастно, възхлеб, смакуют: опять зверское убийство.

— Чего ж ты от них хочешь, — мне не надо было пояснять, кого он разумеет, — газетная сенсация, расчет на самый что ни на есть обывательский спрос, ловят читателя, как умеют, дух конкуренции, слава Богу, и у нас, как у людей.

— Спасибо, — кисло отозвался он, — утешила.

Возникла неудобная заминка. Я спросила об общих знакомых, он ответил, мы поболтали о том о сем, кто приехал, кто уехал, но я слишком хорошо знала своего товарища, чтоб не заметить мрачной думы на его челе; недосказанное томило его.

— А как ты назовешь это? — с новым приливом праведного гнева вскричал он, схватил со стола газету и потряс ею у меня перед носом. — Тут уж метафизика, понимаешь, эссе, интеллектуальные упражнения. “Страх” — через всю полосу, видишь, заглавными буквами, — шипел он, тыча пальцем в развернутый газетный лист.

Мне стало жаль его.

— Пусть себе упражняются, детская болезнь левизны или как там... запретный плод...

Я хотела сказать, что они немного смешны со своей запоздалой смелостью.

— Какая пошлость, — брезгливо заметил мой строгий оппонент, и я не разобрала, к кому это собственно относилось: к неугодным авторам, или опять мне погрозили пальцем.

Дальнейшее немного успокаивало.

— Нет, ты только послушай, что они пишут: “Страх (заглавными буквами). Подспудно он руководит нами, направляет нашу жизнь”. Не стоит обольщаться. Тут не новички работали. Запретный плод... Не смейся.

— Не иначе как от лукавого, — сказала я; в конце концов я тоже не чужда иронии.

— Что?

Допускаю, ему не понравился мой тон, мне и самой он не нравился, но недаром один классик как-то отметил магическое сродство иронии и жалости. Возбуждение собеседника приближалось к критической температуре. Он становился смешон.

— Я думала, ты намекаешь на дьявольские тенета.

— Да, — легко согласился он; я понимала его желание отмахнуться от меня как от надоедливой мухи, — копытце предательски вылезает, как не пытаются упрятать его в хитроумные обертки. “Страх — это всегда серьезно, — снова процитировал он с каким-то мрачным удовольствием. — Смерть — это всегда серьезно. Они суть две постоянных составляющих человеческого естества”. Человеческого естества, — с нажимом повторил он. — Тебя не возмущает?

— Копытце?

— Нет, — отрезал он, в гневной патетике отметая саму попытку иронии, — посягательство на мое естество.

Он выпрямился и как будто вырос на глазах, теперь он возвышался надо мной.

— Нас хотят приучить жить в страхе, сжиться со страхом, носить страх в себе, всегда, везде. Мелкий, липкий, ползучий. Нас пригибает к земле, парализует волю, малодушными легко манипулировать, один из рычагов массового сознания, новая идеологическая обработка.

Я нашла, что оратор хватил через край.

— Ничуть, — возразил он, — только отделив человека от страха, мы вернем его к самому себе.

Однако какая самоуверенность, снисходительность представителя высшей расы! Меня не принимали всерьез.

— Ты думаешь, — сказала я, — что твои черные рассказы спасут мир?

Тут приходится сделать небольшое отступление.

Да, он писатель (таков его официальный статус), лет десять назад был принят в Союз писателей, издал две книжки рассказов и очерков, сам приятель предпочитает именовать себя литературным тружеником; пожалуй, он один из немногих известных мне на сегодняшний день довольных жизнью людей. Работа в частном издательстве не обременяет его, еще удастся пописывать, и остается только диву даваться, как много он написал за несколько последних лет: это оттого, что он нашел себя, на шестом десятке открылось истинное призвание, всему свой срок, бывший советский писатель начал сочинять фантастические рассказы с набором inferнальных сил и леденящими кровь описаниями; настал его час, по собственному выражению автора; его продукция имеет спрос, он все время печатается в каких-то газетах, сборниках, идут переговоры об издании его книги в одном совместном предприятии; как человек искренний, друг убедил себя, что служит благому делу, ему была бы нестерпима мысль о модных поделках и конъюнктуре интеллектуального рынка.

С той же искренностью он излагал теперь передо мной свое кредо:

— Мистический страх — это трепет, восторг перед тайной бытия, преклонение, обостренное чувство жизни, он поднимает, возвышает.

С моей стороны было, наверное, жестоко подвергать сомнению его детскую веру, тем более что она помогает ему жить, и неплохо жить.

— Всяк по-своему с ума сходит, — примирительно произнесла я.

— Не знаю, — запальчиво воскликнул приятель, — кто из нас безумнее. Было же в твоём сером существовании хоть что-то, какое-то ощущение, случай, соприкосновение, что-то странное, необычное, неведомое? Таинственное. Или нет для вас тайн? Хоть раз? Неужели на твою долю не выпало?

— Страшное?

— Я подозреваю, — ядовито заметил наш Сведенборг, — что мой вопрос наивен. Я имею в виду что-то отличное от страха опоздать на работу или не достать в очереди колбасы.

Мне стало обидно.

— О чем ты говоришь! Писатель называется! Это же стереотип затасканный. Когда я последний раз ела колбасу?

— Какая колбаса? — милейший теософ свалился с небес на землю и был неприятно удивлен. — При чем здесь колбаса. Я говорю об улыбке сфинкса, о том мире...

— Это так же банально, как колбаса.

— Придумай что-нибудь получше, — огрызнулся он совсем прозаически, — тогда и будешь судить.

— Я ничего не придумываю. Придумывать по вашей части. С меня хватает жизненных впечатлений. Могла бы порассказать на целый том твоих страшных историй. Не забудь, я пережила железнодорожную катастрофу — раз, ребенком меня вынесли из огня — два...

— Есть и три? — с плохо скрытой завистью полюбопытствовал приятель, жизнь литературного труженика на самом деле однообразна, бедна острыми ощущениями.

— И три, и четыре.

— Ого! А мы и не знали.

— Ты многого не знаешь обо мне. Когда-нибудь я тебе расскажу, как ехала в лифте с насильником... Но самое смешное, что ты, кажется, прав. Меня преследует одно воспоминание... как бы это сказать... присутствует во мне... вот ты заговорил, мне даже не пришлось напрягать память, потому что, да, оно присутствует, на периферии сознания, то есть не столько сознания, оно в крови, незабываемое впечатление, точнее, ты опять-таки прав, соприкосновение, помнишь кожей, нервами... А случай сам по себе ничтожный, да и не было случая, в сущности, ничего не случилось. Напрасно смеешься. Вся жуть — в неизъяснимом.

Ответом мне был элегический вздох и сомнительная похвала.

— Ты даже не догадываешься, какую глубокую вещь ты сейчас сказала.

— Нет, нет, — запротестовала я, — это не то, о чем ты думаешь. Это действительно было не то.

— Помнишь наш старый дом? Хотя нет, мы после познакомились, я уже переехала на новую квартиру.

— Когда это было... Двадцать лет назад.

— Не все ли равно — двадцать лет назад или вчера.

Я бы могла прибавить, что столько всего забылось, важного, мучительного, страстно пережитого, того, что, мнилось, останется со мной навсегда; столько позабылось, а вот какую-то мимолетность я помню со всей свежестью новизны.

— Открой Даля, посмотри там определение времени, советую выучить наизусть, ты только вдумайся: пространство в бытии.

Здесь я отступаю от прямой речи, ибо, по видимости, повествование больше пристало скупому рассказу.

Мы жили тогда в старом московском переулке, низкорослом и тенистом, он выходил на магистраль, но стоило свернуть с широкой скучной улицы с ее движением и гарью, и ты оказывался в особом мирке, веяло чем-то патриархальным и отставным, я застала еще бульжную мостовую и душистый свод лип, потом переулок заасфальтировали, стали появляться машины, сначала одиночные, потом все чаще, все шумнее стали проезжать, проноситься по переулку легковуше, грузовики, уже с оглядкой приходилось разгуливать по мостовой, как повелось исстари. Чтобы попасть к нам, надо было углубиться в переулок, до середины его через арку войти во двор, минуя садик с его деревянным заборчиком, достичь наконец вожделенной двери парадного, путь домой казался особенно долгим темными вечерами, в одиночку возвращаться бывало страшновато. Постепенно переулок все больше утрачивал свою симпатичную физиономию: подгнившие липы заваливались и падали поперек тротуара, здания ветшали.

Последние годы нашего проживания здесь (время действия) картина упадка стала явной и удручающей. Полупустые дома пугали выбитыми стеклами и блуждающими огоньками в оконных провалах по ночам. Дома, что получше, ставились на капитальный ремонт, остальные были предназначены на слом, кое-какие строения уже снесли, уродливым намеком на будущее благоустройство и новостройки, появились заборы и ограждения вокруг намеченных котлованов. Как раз такой забор и попался мне на пути, следовало пройти вдоль него метров двадцать. Стояла осень на дворе, где-то конец сентября, час был довольно поздний, около одиннадцати, соответственно сезону время глухое и темное. Участок у забора, видимо, как принадлежность стройки специально освещался, фонарь подвесили на трос, протянутый между двух столбов, ветер раскачивал фонарь, и белесое, размытое световое пятно зыбилось на досках забора, на асфальте под забором. Противоположная сторона переулкa была в тени, тем более густой для глаз, что смотрела я со света. Движение теней угадывалось в шершавом шелесте листьев, в скрипе качающихся на ветру ветвей, ни смеха, ни человеческого голоса, ни звука шагов. Впереди никого, сзади никого, тихо и пустынно. Я поравнялась с забором, вышла на самое освещенное место, теперь можно было перевести дух и не лететь сломя голову, я радовалась свету и спокойнее вслушивалась в скрип ветвей, жалобу дряхлой липы, старушка больше не страшила меня; вот тут и полетел первый камешек, с сухим щелчком ударился о доску забора, отскочил от нее и упал на землю. Щелкнул второй камешек, третий... Бросали с той стороны, из темноты, молча и бесшумно, только камешки ударялись о забор. Вот эта затаенность, умение владеть собой

даже в охотничьем азарте, как я понимаю теперь, задним числом, поражала больше всего в неведомом происшествии. Ругань или возглас удовольствия, или любое другое проявление людского темперамента было бы, наверное, не так жутко, во всяком случае понятнее. Но стрелок ничем не выдал себя. В том, что обстреливали меня и били на поражение, не было сомнений, но того, кто целился, я не видела, чтобы всмотреться, надо было как минимум остановиться, а я боялась стать, понимая, что представляю идеальную мишень — темный силуэт на светлом фоне, да и вряд ли удалось бы что-нибудь разглядеть в глухой, невнятно кольпащейся тьме. Теперь мне больше всего хотелось как можно быстрее миновать забор, каким обманом обернулся мирный свет фонаря, все спуталось, смешалось — неверная тень чудилась спасением, но я не побежала, что-то удерживало меня, я даже не убыстрила шага, я шла какой-то неестественной мерной поступью, выступала, как журавль, этакое оцепенение в движении, а камешки летели из темноты, ударялись о деревянный забор и с треском отскакивали, прыгали у меня под ногами, проносились над головой, ни один не попал в цель, бить по движущейся мишени, как известно, особое искусство, и даже моя медлительность не слишком помогла стрелку. Кто бросал камешки? Ребенок? Предоставленное себе одичалое дитя, полусирота при живых родителях, маленький полуночник. Взрослый? Пьяный? Дебил? У нас на переулке их было двое, выросших на наших глазах. Не знаю и, понятно, не узнаю никогда. Какими длинными были эти двадцать метров, но вот забор кончился, и я побежала, никто не кинулся за мной, не пустил вдогонку камнем, очевидно, охотник потерял ко мне всякий интерес, он поджидал новую жертву, новую мишень для своего тира.

— Вот и все, — сказала я.

— М-да, — промышчал наконец приятель.

Я ждала, что он прибавит еще.

Но он лишь стесненно улыбнулся и отвел глаза.



*Александр Макаров-Кротков*

## **ВСЕГО ПОНЕМНОГУ**

**Стихи**

### **ЭЛЕГИЯ, НАПИСАННАЯ ВО ВРЕМЯ ГРИППА**

заедешь бывало в европу  
экая тьмутаракань

изможденный буржуазным похмельем  
утираешь слезу умиления  
электричество да-с

а потом ни с того ни с сего  
потянет в родные микитки

и пронзит неожиданно  
бесповоротно ,

морозец поносец  
всего понемногу

*1991*

\*\*\*

все бы ничего  
вот только жалко немного  
собаку цвета опавших листьев  
шуршащую под ногами

*1992*

\*\*\*

чистота жанра  
частота жеста  
честное слово  
частное дело

*1992*

\*\*\*

отдельное спасибо всем  
не принявшим участия

*1992*

\*\*\*

не сею не жну  
птица небесная  
издыхающая

*1993*

## БЕССОННИЦА

декабрьская ночь  
стоп-кран стоп-кадр  
далеко ли еще?  
далеко говорят  
возвращайся

*1991*

\*\*\*

тихо так воеет собачка  
словно хочет повеситься  
а не умеет

*1990*

\*\*\*

что я могу сказать  
собравшимся около этого столба  
и ждущим не красного словца  
а непререкаемой истины

что я могу сказать  
сидящий на этом столбе

кыш кыш пернатые

*1990*



*Лариса Шульман*

## **ЧЕГО УЖ ТАМ...**

### **Два катастрофических повествования**

#### **1. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВОКЗАЛЬНОЕ**

Пролетавший сквозь необозримые пространства очень отдаленного региона страны поезд, минуя прекрасный Витьюховск, как-то особенно семенил колесами, и словно бы приседал весь вниз, и пытался забиться куда-то в щель или же между шпалами дороги, потрясенный необычайной окраской городского вокзала, построенного непонятно зачем, поскольку никто не изъявлял желания никуда поехать в благополучном и тихом Витьюховске. Зачем ехать, когда и здесь хорошо? К тому же история всегда учила витьюховцев, что перемены не могут вести к добру, а разве что к худшему...

Иногда ряд мужиков выстраивался вдоль железной колеи смотреть, как пробежит мимо поезд, никогда не тормозивший возле прекрасного вокзала, такого яркого и свежепокрашенного, что, нога ни одного жителя города в него не ступала — ведь этого не разрешал начальник вокзала, бдительно его охранявший от подобных покушений. Поэтому мужики стояли не на перроне станции, а поодаль, прямо на зеленой траве, что растет по всему Витьюховску в необычайном изобилии и выросла бы неограниченного роста, если бы предусмот-

рительные виттьуховцы не выпустили на нее коз, овец, поросят и прочую домашнюю живность, что и помогало бороться с излишней растительностью простыми и полезными обществу средствами.

Мужики стояли очень даже спокойно возле железной колеи, и на своих весьма колоритных лицах не выражали совершенно никаких чувств и мыслей, кроме стремления постичь смысл жизни самым прямым и потому правдивым способом, и часто задирали вверх головы, отчего падали назад их шапки, как спелые яблоки в садах как раз в это время года, время близкого праздника, в честь которого вокзал и начал частично принимать новый цвет, не менее пронзительный и яркий, чем предшествующий.

Конечно, поезд должен был непременно затормозить перед таким вокзалом в полупронзительно-желтом цвете, а также и в полупронзительно-алом, но почему-то этого не случилось, хотя на лицах пассажиров, прилипших в невероятном количестве к стеклам нескольких вагонов, минующих Виттьуховск, отражалось такое потрясение, такое... В особенности, когда их вереница лиц проезжала вереницу лиц стоявших и смотревших мужиков...

Много необъяснимого происходило и происходит с виттьуховским вокзалом не только сейчас, в описываемое время, но и в далеком прошлом, хотя, надо сказать, события в прошлом были скорее небольшим снежным комом, тогда как в современности уже походили на снежную лавину. Если раньше, к примеру, на окраску вокзала требовалось совсем немного краски и была она скромных и бледных тонов, то теперь отчего-то краски на вокзал никак не хватало, хотя ее выдавалось многократно более, чем на пять прекрасных больших вокзалов почти международного размаха... В этом же году подготовка вокзала к празднику и вообще остановилась из-за недостатка краски, словно бы целых десять вокзалов стояло в одном месте, тесно сбившись в кучу... Но такого количества пронзительной краски даже и трудно найти. Потому то вокзал и стоит наполовину желто-пронзительный, наполовину же ало-пронзительный, что смущает проезжающих мимо Виттьуховска пассажиров, а также и некоторых мужиков, еще недавно пришедших из деревни и не привыкших к ежегодным вокзальным метаморфозам.

Где раздобыть бы краски, и размышлял бдительный начальник вокзала, который внимательно охранял свою вотчину, прогуливаясь взад-вперед по перрону, хотя и с некоторой осторожностью, потому что, кроме него, никто здесь не ходил — по его собственному распоряжению — дабы сохранить перрон новым. И только галка на противоположном конце сделала два важных шага, двигая при этом головой взад-вперед, взад-вперед. Они прошлись синхронно с начальником вокзала в одну сторону, затем в другую, после чего галка была обнаружена пронзительным взглядом, ей было погрожено пальцем, и бедная с криком, припадая на левое крыло, поспешила улететь.

Но, может быть, ужас галки возник не только от ужасающего качания начальственного пальца и от глаза, испустившего этот пронзительный, острейший взгляд, но и от совершенно невероятного, непредставимого звука, что начал вдруг издавать в то время близившийся поезд... Что это значит? Что делается? И с криками “а-а!” все мужики мгновенно переместились к статуе, которая находилась как раз в другом, противоположном, самом крайнем конце единственной улицы Витюховска. И когда это быстрое, даже невидимое обычным, стереоскопическим — а не начальственным — глазом перемещение происходило, из своей статистической конторы выходили, качаясь, держа друг друга, Егорьев П.С., поэтический делопроизводитель, и новоявленный историк Игнатъев В.В. Их реакция на все эти крики была многогранна: сначала оба пали на землю, затем Егорьев П.С., не выходя из лежачего положения, виртуознейше выбросил-таки свои черные нарукавники, швырнув их в руки задремавшей в кустах Якимцевой М.Л., затем Игнатъев В.В. вдруг также захотел кричать похожее на “а-а!” по содержанию, но тут Егорьев П.С. сказал ему, что делать это бессмысленно, они переглянулись, поднялись с земли, хотели отряхнуть свою одежду — и вдруг оба махнули рукой и на одежду, и на контору, и на судьбу, на собственную жизнь и закричали вполне единогласно:

— Кузьма! Кузьма! В Размахаяевку!

А Размахаяевки-то, попутно заметим, нет не только на карте очень отдаленного региона страны, но и на картах прочих материков и целого мира, и спрашивать о ней не надо, не надо у витюховцев — крайне опасный предмет для разговоров, особенно в предкатастрофических и катастрофических периоды истории...

Столь бурная же реакция всех витюховцев не повлияла на поезд, который не прекращал производить все эти странные звуки. Начальник вокзала, будь он не при должности, а свободен как птица, улетел бы сейчас в любые пространства, пусть даже и космические, пусть даже на астероид какой пустынный или же на звезды типа “красный карлик” или “белый гигант”, но только вдаль, вдаль... подальше от несчастного перрона, перед которым вдруг совершенно неожиданно остановился поезд — чего никогда-никогда не бывало в Витюховске — и тут на перрон вступил изрядно красивый парень, лицо которого отчего-то показалось начальнику знакомым, хотя и расплывалось в его глазах в довольно-таки бесформенное пятно.

Начальник вокзала даже попытался подумать об этом знакомом лице с осмысленным выражением собственного лица, но снова на перрон уселась бессмысленная галка. к тому же и обнаглевшая вдруг непонятно с чего, и начала вновь вышагивать взад-вперед по перрону, да еще и препротивнейше копировать начальственную походку смотрящего на нее начальника, и к тому же еще и каркать. И тут на-

чальник не выдержал психологической атаки и решительнейше показал галке кулак, что привело к неожиданному следствию: превращению одной галки в двух совершенно одинаковых галок, и, более того, когда начальник посмотрел на поезд — и тот оказался в двойном расплывчатом варианте, появилось и два вокзала, покрашенных, правда, один — в пронзительно-желтый, а другой — в пронзительно-алый цвета... Раздался двойственный гудок об отправлении, и оба поезда, противнейше пуская пар, пыль, скрежет и пыхтенье, поползли куда-то вдаль, вдаль, навсегда запечатлевшись в памяти начальника как явление сугубо отрицательное, вредоносное, мусорное, осуждаемое всей общественностью Витьюховска, которую он осознавал лишь в собственном лице, что справедливо... Как бы иначе, словно капли из одноцветной и яркой тучи, расплозились бы по Витьюховску дома, окрашенные в тот же цвет, что и славный вокзал славного города? Так что вообще-то — дополним изображение Витьюховска еще и цветовой палитрой — половина города была уже окрашена в новый цвет вокзала, вторая же половина еще оставалась окрашенной в старый цвет вокзала, а несколько домов, как и вокзал, окрашены наполовину, из чего сторонний внимательный наблюдатель мог сделать множество любопытнейших психологических наблюдений о взаимоотношениях между горожанами.

Но тут-то задумчивый начальник вокзала на последних, дрожащих в тумане вагонах, привычно мигавших ему огоньками, увидел не только козу и козла, которых ранее никогда не наблюдал на крышах проезжающих составов, а также и мужичка Перфильева Я.Я., рябенького такого мужичка, и потрясение начальника стало столь велико, что он и закричал былинным голосом: “Стой, Перфильев! Зачем?” На что уплывающий в туман рябенький Перфильев и отвечивал ему со всей почтительностью: “Продать-купить, продать-купить, продать-купить...” Стучали колеса, возвращая прежнюю безмятежность Витьюховску или же только видимость прежней безмятежности, от которой так безмятежно бежал Перфильев Я.Я., столь изощренно обманувший бдительность начальника вокзала, ведь, казалось бы, и на версту никого возле перрона не было, кроме козы да поросенка...

## 2. ПОВЕСТВОВАНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ

Бурмашкин К.Л. мечтал о Колумбии, лежа на кровати и созерцая разводы нежных, нежнейших трещин на потолке, что само собою необъяснимым способом точно копировали границы этого излюбленного им государства, как она виделась в тех мечтаниях Бурмашкину К.Л., не обремененному издешеством географических познаний, равно как и бухгалтерских пристрастий — хотя и работал некогда в

одной славной бухгалтерии. Бывший сослуживец Авдейников У.С. приходил изредка навестить заблудшего душевно друга, даже не снимавшего носков и ботинок при своем лежачем созерцании любимого с детства метафизического существа, и очень смущался возникшему неравноправию их отношений — зато не смущался нисколько Бурмашкин К.Л. Ранее они сидели рядом за столом, бодро натягивали одновременно черные нарукавники на локти и были как близнецы не только духовно, но и физически. Иное теперь: Авдейников У.С. процветал, обородател, оживотился. Бурмашкин же К.Л. потерял последний вес, и глаза его ярко блестели. Размахивая ногой в ботинке поверх кровати и заложив руки под голову, он отстраненно от своего не слишком далекого прошлого описывал красоты колумбийских пейзажей, женщин и колумбийского типа бухгалтерских учреждений, где излещен был сосредоточенный счет и не надо было постоянно до смерти помнить о достоверности дважды два...

Но однажды веселый толстяк Авдейников У.С. проговорился, что не все так благополучно во многих странах мира, к примеру, в Колумбии, как принято думать, а трудностей едва ли не больше, чем в Париже, в Мадриде... — и тут Бурмашкин К.Л. утратил слух, которым ранее гордился и перестал слышать произносимое Авдейкиным У.С., поскольку вдруг начала работать его мысль и он решил отдать последнее, чтобы помочь экваториальному колумбийскому брату и другу по раздумьям. С этими чувствами и намерениями он встал с кровати, где лежал уже очень давно, сам не подозревая с какого времени года, помня только пунктом отсчета уход собственный жены, которую Бурмашкин К.Л. любил, но которая не одобряла таких метафизическо-сердечных привязанностей и в любовь с Колумбией не верила иначе, как в образе некоей коварной соблазнительницы, поскольку иногда во сне Бурмашкин К.Л. и в самом деле был несдержан в ласковых эпитетах, пусть и крайне метафизическо-туманно-расплывчатых. Следом его покинула и собака породы лайка, казалось бы, не отличавшаяся особой избалованностью с хозяйской стороны, но обладавшая феноменальным охотничьим даром и умевшая добывать пищу и без незадачливого Бурмашкина К.Л., за что он ее вообще-то ценил. Несмотря на все это, Бурмашкин К.Л. не изменил мечте, даже напротив, ушел в нее полностью, однажды забыв, что живет он в Витьюховске, и весь погрузился в колумбийские ритмы, проблемы, чувства... И когда наконец он встал и вышел на улицу, то удивился осенней витьюховской прохладе и обилию комаров, еще не полностью осеннеисчезнувших. "Где это я?" — закричал тут Бурмашкин К.Л. по-колумбийски с витьюховским акцентом, созерцая раскинувшиеся просторы родного Витьюховска, ограниченные с одной стороны статуей, с другой же — вокзалом. Крик его остался безответен, и он тихо пошел на почту отправить единственный, хотя и рваный тулупчик несчастным колумбийцам, которым не так-то и хорошо живется, как можно было подумать. Но на родной почте ему не дали сде-

лать такой порывистый поступок, отказываясь искать такой город Колумбию и зная отсутствие у Бурмашкина К.Л. какой бы то ни было прочей одежды.

Все эти почтовые мужички типичной витьюховской породы с весьма колоритными лицами, внимательнейше слушали рассказ желающего отдать тулупчик соотечественника. Затем же выступил вперед Пермятников Ф.С. и сразу один за всех отвечивал, что, мол, нехорошо замерзнуть зимой Бурмашкину К.Л. без всякой одежды в суровом климате их отдаленного региона страны, где и сосульки-то растут выше человека, как пишут достовернейше в иностранной печати.

Владелец же рваного тулупчика отвечивал не менее степенно, что бы рад замерзнуть в сосульку ради интернациональности и был бы в подобном случае значительно счастлив, а если ему не разрешат, он все равно будет спасать любимую тропическую страну хотя бы фактом своего приезда.

Произносимые мужичками в ответ Бурмашкину К.Л. слова понять было трудно, но суть их заключалась в практическом: не надо ехать в столь ослабленном виде в Колумбию. Не одобрялась никак такая поездка, и весьма-таки категорически. Тем более все знали, у слабого телом Бурмашкина К.Л. нет и калош, чтобы перейти витьюховскую лужу в мелком месте, в Колумбии же должно быть много широких и бурных не только луж, но и рек.

Надо ли говорить, что Бурмашкин К.Л., хотя и не мог выехать в сторону славной Колумбии — ибо невозможно, конечно же, покинуть Витьюховск, даже если желаете, по причине отсутствия остановки у проходящих мимо поездов, — но к вокзалу он тем не менее пошел. Вот только после долгого лежания, а также и созерцания облика далекой страны в глазах любителя Колумбии стало темно, и пошли разнообразные пятна. Идущие пятна в глазах Бурмашкина К.Л. складывались в такие слова: “Милые, милые колумбийцы! Пошто так далеко живете, что даже обнять вас трудно!..” Затем пятна самым странным образом нарисовали ему витьюховский знакомый вокзал, до которого он впотьмах сознания все-таки добрался, стремясь к южной стране. Представший в половинчатой окраске вокзал привел его в состояние аффекта и ужаса, поскольку, живя последнее время в душевной близости с Колумбией, он отвлекся от реалий Витьюховска и не видел грандиозной полуокраски вокзала, остановленной из-за неожиданной резкой нехватки красительных веществ.

В свое время Бурмашкин К.Л. еще кое-как привык к пронзительной алости вокзала да и, наверно, смог бы привыкнуть к его же ядовитой желтизне. Но столь феерическая половинчатость потрясла его до основания. Она повергла его, ослабленного любовью к Колумбии, наземь. Бурмашкин К.Л. застонал с колумбийским акцентом, съехал в полубомороке по забору ближайшего дома и упал бы, если бы его не увидел шедший мимо Селятников Ф.Ф., который и спросил на

чистейшем витьюховском диалекте русского языка, зачем это он здесь выражается по-колумбийски. Бурмашкин К.Л. не узнал приятеля, потому что пятна в его глазах ходили строем, с песнями и ало-желтыми транспарантами.

Селятников Ф.Ф. вежливо напомнил ему свою фамилию и поправил свой рваный треух так, чтобы в глазах криво лежащего Бурмашкина К.Л. выглядеть относительно ровно. Но не увидев в этих глазах никакой мысли, а лишь туманные пятна колумбийских национальных цветов, увел его в сторону от вокзала и рассказал свою историю влюбленности в Зеленый мыс, которая началась с нечаянной находки им, Селятниковым Ф.Ф., на чердаке собственного дома, в пыли, оставшейся от прошлых, более зажиточных времен, обрывка некоей карты, изрядной помятости, неизвестного масштаба и назначения, где было написано об островах Зеленого Мыса, а может быть, и не только о них. Селятников Ф.Ф. побледнел, проникся вдруг мгновенно одиночеством не только своей, но и бедных далеких покинутых островов. Он уставился в окошко-крошку на синие небесные пространства и начал думать об этих неведомых и странных зеленых островах, ему необычайно приятных и дружественных. Столь трепетно думать возможно, конечно, и о Канарских островах, но была невнятна этимология последних — библиотеки не было в некрупном Витьюховске — кусочка же карты, где сохранилось бы иное географическое название, созвучное его душе, более не нашлось.

Селятников Ф.Ф. представил, что Канарские острова произошли от глагола “канать” или от верещавшей канарейки, к тому же излишне желтой, и даже поморщился, поскольку не любил птиц в клетке, а также пресытился излишней желтизной одной из половин вокзала. Еще более стал ему приятен Зеленый Мыс, почти родственен его душе, близкой зеленым тонам. Поэтому он снова подумал, что не только ему, но и кому-то другому на Зеленом Мысе, наверное, плохо в подобную минуту, и сразу решил отправить дружественную телеграмму, полную душевного тепла, объятий и метафизически протянутых сердечно рук... Селятников Ф.Ф. отряхнулся от грязи и пыли чердачных вековых наслоений и по ветхой лестнице спустился вниз, решительнейше направляясь к почтовому окошку, в каковое постучал грозно и потребовал немедленной отправки телеграммы, что привело к хаосу и шуму, — телефонистка ушла домой, никак не подозревая о такой насущной необходимости. Охраняющая почту старушка Евсеевна спокойно зевала над пряхей и никак не понимала потребности Селятникова Ф.Ф., стучавшего в дверь с большим громом и криком. Наконец он страшно топнул ногой, Евсеевна заверещала от страха, и Селятников Ф.Ф. сразу увидел телефонистку Любу, бегущую из дома с плюшкой в руках.

Но едва он увидел сначала прекраснейшую плюшку — о, плюшки умеют печь в Витьюховске потрясающе — затем детское лицо с оспинками и веснушками, обыкновенный нос с обычными щеками и

ртом... Он вдруг забыл категорически текст телеграммы, хотя до этого почти что им бредил. Ему стучали по плечу и по затылку, вливали в рот воды, трясли, спрашивали, что такое Зеленый Мыс — деревня или поселок — и в каком месте их отдаленного региона находится. Да и что в этом мысе такое катастрофическое случилось? Все растревоженные им люди очень даже интересовались неизвестным им населенным пунктом.

Но Селятников Ф.Ф. ничего не понимал, глаз с Любы не сводя, и наконец предложил ей, заикаясь, прогуляться по улице — единственной, витьюховской — до замечательной статуи ради дружественного народа. И Люба согласилась исключительно из интернациональных побуждений.

Впрочем, улица слишком коротка, едва добредешь до вокзала с одной стороны, как уже видна и статуя с другого края, и это очень, очень мешает установлению дружеских отношений внутри собственной национальности, особенно с застенчивостью Селятникова Ф.Ф. Поэтому на помощь ему сразу пришли люди, стоявшие возле памятника-статуи.

Они вступили с гуляющими в продуктивный диалог о том, как следует назвать им первенца и очень отговаривали от возможных имен Зеленого Мыса, предлагая более отечественный вариант Ивана или Марьи. Любаша сначала смутилась эдакой решительности, но только в первый момент, во второй же застрекотала бойким своим язычком и такие дерзновенные словечки выговорила, такие дерзкие и часто даже трудно переводимые, а иногда и совсем непереводимые выпалила пулеметной очередью, подбоченясь так и сбив косынку набок, что окончательно потрясло сердце дрогнувшего Селятникова Ф.Ф., здесь же прямо и заумолявшего о женитьбе и вышеобговоренном первенце...

Тут к славной витьюховской луже, что раскинулась в самом центре единственной улицы, вовсе не беспокоясь возможностью шторма и бури на столь широко раскинувшихся водах, подъехали дружественные Саврас с Кузьмой, напевая презаунывейшую песню на два голоса, которой подпевал и некий пассажир, которого не видно было из соломы по причине невозможно маленького роста. Не подвывая он голосом почти громоподобным, никто бы не предположил его присутствия. Причем голос этого непонятного и непредставимого существа был отменный, рокочущий, словно бы из Ла Скала, к тому же поющий на миланском диалекте русского языка. хотя солировали Кузьма с Саврасом по-витьюховски.

Появление артистической повозки остановило речь прекраснейшей Любы, любившей песенное искусство, что и растопило ее сердце, готовое также запеть и внявшее мольбам Селятникова Ф.Ф., чему обрадовались присутствующие бурно, искренне, от всей души. Знаменитый транспорт “Кузьма, Саврас, а также и Ко” был вынужден ос-

тановиться — пение не прекращалось и только набирало эпический размах — по причине уже не философско-художественной и даже не прагматически-практической, а скорее этнографической: все обнимали новый семейный союз и давали доброжелательные советы. Но помимо этой прекраснейшей причины была и еще одна, географическая: славная лужа славного Витьюховска вдруг непонятнейше вышла из собственных берегов, и так необъятно-огромных и утесистых — столь широкий размах городской лужи не смог бы присниться, допустим, парижанину или конгрессмену Гонконга, ибо волны ее сравнимы лишь с океанскими...

Сложно, очень сложно было миновать сию лужу, разлегшуюся излишне пространно, так что и объехать было нельзя, кроме как перебраться в брод, что, впрочем, было не менее опасно, а также и безумно. Поэтому благоразумный Кузьма, вобравший ум, честь и совесть многих и многих извозчиков, сполз с прекрасной скрипучей телеги. И едва он встал на землю своими маленькими ножками, то выдал такой аккорд, такой... волна так и пошла по луже, так и пошла, едва не утопив рыболова на другой стороне со всеми его удочками и спиннингами, чему тот не был рад и заругался, но ветер не доносил сути его претензий, хотя и был в тот день очень порывистым и сильным.

Отправившись на разведку брода, предусмотрительнейший Кузьма эдак присел и подпрыгнул для разминки, затем же начал делать движения танца, скорее всего, корякского народного, национального: в тулупе, как в малице он делал сложные выпады вперед ногой, сгибая другую, затем наоборот, жаль только, не было бубна в руках, зато была связка поводьев, также очень некстати. Некстати попавшие в руки Кузьме эти поводья тут натянулись и даже хлестнули Савраса из-за того, что Кузьма вдруг упал на песочке и озлобленный конь, не вникнув в психологическое положение кинического хозяина, осудив его националистическое поведение, отвернулся в трудную минуту от своего собрата по раздумьям и быстро ушел куда-то по делам, выбросив и незаметного пассажира, оказавшегося славным Семейкиным Н.П. — любителем Бонд-Монда.

Семейкин Н.П., впрочем, не удивился такому обороту путешествия, как его не удивляло уже давно ничего из происходившего на свете, и, если бы подошли к нему люди и сообщили совсем невероятные известия, вроде того, что материки сдвинулись и даже столкнулись, что Ирландия дружит с Англией или в Америке отменили доллар как зло — нет, он не удивился бы ни за что. Разве полубобпытствовал, а что же такое доллар? Или спросил, почему не видел он лично никаких материков и не подозревает о их существовании, в то время как Бонд-Монд с очевидностью существует. Впрочем, Семейкин Н.П. не интересовался, есть ли такой в природе славный Бонд-Монд и где находится, но любил со всем пылом души его роскошную

жизнь, бардак и разложенцев, притоны, грязь и падших женщин и часто рисовал собственные карты и город Бонд-Монд, крупно подписывая название каждый раз в новой транскрипции, чтобы его постоянное и ровное чувство испытывало же какое-то разнообразие. Жена Семейкина Н.П., особа крайне уравновешенная, а также и изрядной полноты, белизны и избытка достоинств, впадала иногда в полное непонимание психологии своего добрейшего мужа и смотрела на него в совершенном оцепенении, бывало, и целый час. И смотрит себе, смотрит, как пухлый и в общем-то крайне неуклюжий Семейкин Н.П. ползает по полу, как ребенок, разрисовывая любимое название и силуэты прекраснейшего из городов мира — Бонд-Монда. Сложность заключалась в том, что быстро рвались все карты, не выдерживая такого напора любви в ее деятельном варианте. Отчего-то было не принято к тому же посылать их в очень отдаленный регион страны, считая, видимо, что чем далее от затерявшейся в дaliaх столицы находится регион, тем менее ему необходимо и всевозможных карт. Карты мира и вообще не поступали в отдаленный регион, смущая первоначально неопытного учителя географии. Но быстро, впрочем, перестроился учитель, перейдя на краеведческий вариант географии. Когда же пытливый умом ребенок вдруг задавал вопрос, а где же Австралия, то быстро и здесь нашелся опытный витьюховец, прекрасно находя в линиях, штрихах и пересечениях карты отдаленного региона силуэт Австралии, чем даже вовсе и не отступал от истины. Ведь если повнимательнее так, повнимательнее приглядеться, то очень даже многое можно увидеть...

Правда, на каждой новой карте очень отдаленного региона страны Бонд-Монд помещался Семейкиным Н.П. в новом виде и на новом изгибе линий и пересечений. Впрочем, это и не смущало посетителей, которые приходили смотреть на иностранную жизнь, а также потрясались новыми цветами раскраски, поскольку она всегда соответствовала новой раскраске вокзала и, следовательно, была столь же пронзительна. Бывали и такие случаи, что зашедший в гости к Семейкиным человек — а к Семейкину Н.П. всегда заходили поговорить о роскоши — вздрагивал, и падал ниц, завидя столь ослепительный Бонд-Монд, и даже хотел бежать к вокзалу, к вокзалу... Не остановится ли вдруг случайно проходящий без остановки мимо их славного города поезд?..



*Ры Никонова-Таршис*

## ИЗБРАННЫЕ НЕИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

\*\*\*

Боги день рождения Иисуса  
празднуют

Перепились до очеловечивания...  
Обкурили небо папиросными  
тучами

Поплевали на землю дождичком  
Каждый по очереди...

Иисус что-то похабное прогремел...  
Хохочут боги...  
Жду...

Скоро на землю пустые бутылки  
падать будут

*1959*

\*\*\*

Все идиоты в этом мире идиотов  
и каждый идиот идёт отдельно

Все патриоты в этом мире идиотов  
и каждый идиот идёт отдельно

И каждый идиот по-каждому живёт

В этом мире  
в этом мире  
каждый — идиот

1965

\*\*\*

Когда помру  
я стану знаменитой  
Я        знаменитой  
         знаменитой

стану  
стану  
Я стану  
стану  
стану  
стану знаменитой

Ах

знаменитой  
знаменитой

стану  
стану

1972

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ

1. Короткая проза
2. Длинная проза
3. Проза в 120 слов
4. Форма из букв
5. Предложения
6. Вступление

7. Содержание № 1
  8. Содержание № 14
  9. Грустное содержание
  10. Заключительная форма № 5
- и т.д.

1973

## ЗА ЗДРАВЬЕ УБИВАЕМОГО!

“За здравье убиваемого!” —  
бокал в руке сжимая  
я тост произношу  
и укрываюсь ёлкой  
и блеск звезды над чёлкой белки  
находит отблеск в маникюре  
и чуткий запах снежной бури  
дошепчет: стужа

снег... январь

Я губ кипящих киноварь  
на крике чётком разжимаю:  
“За здравье убиваемого!”

1974—1978

\*\*\*

Вот бабочки воинственная доблесть  
Ей свой отмерен срок  
и жизни область  
Но вот летит она

травую возвышаясь...

И хочется и мне такую малость

1974

## ОПЕРЕТТА КАЛЕКИ

Друзья

прекрасно наше оперенье!

И свеж цветов гвоздящийся венок

Я предлагаю тост — за нетерпенье!

За светлый и светящийся восторг!

Эх

как извивна лошадина гривна!  
Как чуток круп к перстящимся сердцам  
Как неумолчна и гнездовно-дивна  
их чудна стать  
на зависть острецам

Тақ воспоем

друзья

вакантно поколение!

Омоем тост: За нетерпеньё!

Пеньё!

1975—1983

\*\*\*

Если пена ужом на губе  
Если днём не горит бревно  
Если голая грязь в трубе  
Если ёлей елей в тебе  
Если неба костяк дымит  
Если в губы ударит дым  
Будь барабаном  
дурак

(бей

барабан

в трубу!)

Будь кардиналом

баран

(пей

барабан

елей...)

Будь адмиралом

Гаврош!

(посмотри на совиную тень...)

Не то брутто и пропадёшь

сеном набитый Гаврош...

1976—1977

\*\*\*

Россия с исснеженным зубром!  
Твоей заповедной золы  
я запах храню  
для неубранных  
для сладостно помнящих дым  
*1976*

\*\*\*

Если в гости пришел поэт  
ты на стул его не сажай  
посуду его не мой  
в воду его не ставь  
Ты лучше в сапог напиши:  
“зеркало, мол, Вашей души”...  
и подпись свою поставь  
и клетку сердца закрой  
*1979*

\*\*\*

Простая форма! Ты остра  
ты — астра  
        анти-гастрономна  
ты автономна  
        как сестра  
от вен души моей нескромной  
ты тонкой нитью рябь плещеешь  
и выпускаешь стон со дна  
где  
        плесневея  
        всё густеешь  
*1980*

## БУМАЖНЫЙ АНГЕЛ

Приготовьте себе бумажные крылья с бахромой  
наденьте  
продемонстрируйте себя Господу  
и если понравится  
работайте ангелом  
*1983*  
*Ейск*



**Виктор Санчук**

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УТОЧНЯЮТСЯ

### Рассказ

*Из сводки происшествий по Зарайскому р-ну Владимирской обл. за 12.01.19\*\* г.*

12 января 19\*\* г. между 02.00 и 03.00 (время московское) рядовой первого года срочной службы в/ч №... Валин Н.П., находясь при несении караула на территории части, нанес прикладом автомата АКМ тяжелое телесное повреждение сержанту срочной службы той же части Титаренко К.В., повлекшее за собой смерть последнего, после чего покинул самовольно в/ч.

Около 03.00, выйдя на шоссе Владимир — Зарайск, Валин остановил рейсовый автобус ЛИАЗ № 32-15 Зарайского ПАТП, возвращавшийся в гараж автобазы. За рулем автобуса находился шофер Зарайского ПАТП Комов А.Д.; при этом других лиц в салоне автобуса не было.

Угрожая автоматом АКМ, унесенным из части, рядовой Валин потребовал от Комова отвезти его не менее чем за 20 км. от места преступления. При проезде через г. Зарайск Комову удалось, сославшись на неполадки в двигателе, остановить автобус у калитки собственного дома (ул. Ленина, 16) и скрыться от вооруженного преступника.

В дальнейшем дезертир Валин открыл беспорядочную стрельбу из имевшегося у него автомата АКМ по окружающим строениям, преимущественно по дому Комова А.Д. В 03.45 Комову удалось, имея при себе охотничье ружье ("ИЖ" —

*двустольное, 12-го калибра), выбраться с задней стороны дома, обойти переулок и улицу прилегающего квартала и, пользуясь прикрытием городского сквера, непосредственно примыкающего к ул. Ленина, незаметно приблизиться к Валину со спины, после чего произвести два выстрела в последнего.*

*В результате попадания второго выстрела (картечью) в область верхней части головы Валина наступил летальный исход.*

Захлопнув за собой дверь, ткнул в скважину и два раза быстро повернул ключ. Рука, сразу отяжелев, повисла, подрагивая. Он прислонился спиной к дощатой двери. Но тут же, словно ощутив затылком уличный холод, будто полотно досок было ненадежной защитой от холода, рванулся вперед, в глубь дома.

Миновал сени — крадучись и осторожно.

— Не включать свет!

Вторую дверь — из прихожей в слепой коридорчик — прикрыл беззвучно и тихо опустил щеколду.

В большой комнате глянул в окно. Грязно-желтый кособокий автобус под фонарем — как на привязи. Передние двери раздвинуты. Рядом никого, а внутрь не заглянешь — темно.

— Черт бы тебя драл! — Он наконец отдышался. — И ключ торчит — жми на газ и катись...

Прошло минуты две.

— Этот гад успел крикнуть: “Даю одну минуту”... Ничего, поглядим, какой ты смелый...

Человек в комнате за окном отпрянул от окна, отступил в темноту, постоял в замешательстве. “Разбудить жену? Ничего, ничего, — подождем, поглядим...”

Полез рукой внутрь телогрейки, ища закурить, и вспомнил, что оставил в автобусе. Матюгнулся и сжал кулаки от обиды и злобы.

— Все-таки разбудить. — Шагнул к соседней двери.

С мыслью о жене накатило новое раздражение: ни хрена ведь, дура, спросонья не разберет. Он переступил порог другого помещения, еще чуть помедлил, пока, наконец решившись, твердо направился к похрапывавшему и белевшему в темноте. Однако от задуманного его освободил внезапный и резкий, как крик разъяренного человека, рев. Автобус, его автобус, поставленный к самому тротуару, гудел. Сначала долго и угрожающе. Потом вдруг умолк — так же неожиданно, как начал. Потом рывкнул несколько раз подряд отрывисто и четко. И этот металлический голос в ночном провинциальном городке летел над одно- и двухэтажными деревянными домами, стучался в стекла и ставни, словно прося. — или требуя, — то ли прибежища для себя, то ли разрушения того, на что он наталкивался здесь, в темноте: домов, спящих улиц, сугробов, самой зимней ночи — всего.

— Сань, ты, что ли? — проговорила сонным голосом женщина, пошевелившись.

— Ну, гад! — уже вслух процедил он вместо ответа, — ну, гляди... — Подошел ближе к ней, хотел было еще что-то сказать, но в этот мо-

мент другой голос — и впрямь человеческий, только срывающийся и мерзлый — донесся с улицы:

— Выходи, пидар! Хуже будет, выходи, говорю!

— Погоди, погоди, поори еще, — сейчас аккурат за тобой придут, — негромко вымолвил человек, обращаясь опять не к жене, а к тому, кто, впрочем, кричал извне и явно не мог его слышать.

В другом углу комнаты тоже кто-то проснулся и окликнул мать.

— Ой, да что же это! — взвизгнула женщина, откинув одеяло и зашлепав по половицам.

Вдруг она застыла. Замолк и ребенок. Там, за старой деревянной стеной, как будто бы кто-то врубил и сразу выключил оглушительный отбойный молоток. Через секунду что-то со звоном рассыпалось по земле.

Это было похоже на то, как когда перед праздником грузчики во втором магазине грохнули на скользких ступенях ящики с минералкой.

В следующее мгновение человек по имени Саня, сильно толкнув на пол женщину, ринулся через комнату ко второй кровати и выхватил из нее хнычущую дочь. Он прижал ее и тоже — как-то боком — повалился вниз.

Тишина длилась с полминуты.

Вопреки угрозе хозяина дома, за тем — на улице — никто не ехал. В комнате молчали.

Снова включили отбойник. На этот раз он работал дольше, а звон долетел из-за внутренней стены, отгораживавшей соседнее помещение, и что-то со стуком ударялось и увязало в ней.

— Ой, Господи, ой, Господи, — причитала с пола женщина.

Мужчина подполз и подтолкнул к ней притихшую, с широко распахнутыми глазами девочку, которую та судорожно схватила и прижала к груди, а сам, опасливо приподнимаясь и тут же валясь вниз, стал выбираться, двигаясь к темному дверному проему.

— Куда ты, Саня? — простонала было женщина, делая движение в его сторону.

— Лежи! — решительно и грозно прошипел он. — Лежи, говорю.

Механизм заработал с новой силой. Теперь уже разлетелось стекло в окне над кроватью, а с потолка сыпалась штукатурка. Впрочем, первые клочки обоев сорвались со стены довольно высоко. Вторая очередь содрала их с правого бока и ударилась в шкаф у выхода, отколуывая от него полированные щепки. Потом зашелкало в углу с левой стороны. Было похоже, как будто кто-то огромный шарит дробными пальцами в темноте, никак не находя нужного.

Хозяин миновал коридор, прополз по диагонали первую комнату, слыша, как в той, другой, после каждого очередного приступа грохота беспорядочно сыплются на пол обломки. Он добрался до низкой тахты у наружной стены, и черный зимний ветер ударял и царапал его снежинками, врываясь в разбитое окно. Но, жмурясь от ветра и уни-

мая дрожь в руках, он возил руками в проеме между лежаком и полом, пока не вытянул из глубины длинный и увесистый тряпичный сверток и пыльную небольшую коробку рассыхающегося картона.

Теперь стрельба прекратилась.

Оказавшись за пределами едва различимой в темноте двери, перевел дух и стал торопливо разворачивать ветошь, извлекая из нее ижевскую 12-го калибра старую двустволку.

Нужно выйти с обратной стороны дома, пробежать небольшую улицу, обогнуть кирпичное в два этажа здание районного универмага и прокрасться по просматриваемому от автобуса перекрестку.

Он сорвал последний лоскут с черных стволов и стал тыкать их упрямым штырем-крючочком в паз на цевье.

Он перебежит улицу с автобусом и войдет в темный сквер за спиной у этого ублюдка, там, где скроет остаток пути большой стенд “\*\* лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ”. Он вставит на ходу в стволы два картонных патрона и подойдет — как сможет близко. Вот только патроны — сам как-то от нечего делать набивал их — не были помечены. Он знал, что в них картечь; а несколько — с круглыми пулями, где по всей поверхности — выпуклое перекрестье.

Никогда не был охотником. И ружье и патроны лежали просто — чтоб были. Лишь постреливал по бутылкам когда-то в детстве.

Нужно очень постараться прицелиться, потому что если в обоих картечь (не расковыривать же сейчас крепкие картонки), то несколько маленьких кругляшей, хоть на близком расстоянии и идут вместе, но все-таки разлет небольшой дают, и пусть один, да обязательно заденет, а тогда можно влупить и другой раз. Главное, чтоб тот не успел сообразить, что да как. Потому что если в ружье две пули, и с первого раза промазать...

Сталь наконец сцепилась и слилась с деревяшкой приклада.

И он, мужчина с двустволкой, шофер, загнавший, переломив два ружейных ствола, по картонному цилиндрику в каждый, приоткрыл чуть скрипнувшую дверь на заднем крыльце. Замер, прислушиваясь, и, не различив ни единого звука, кроме стуков собственной крови, мягко ступил в рыхлый снег.

Ладони даже здесь, на морозе, оставались влажными. Но дрожь унялась. Пересохло в горле и сильно хотелось курить. Он сделал шаг, еще шаг, глубоко увязая в снегу, и быстро, но с неизвестно откуда взявшейся умелой осмотрительностью пересек небольшой дворик с задней стороны дома. Когда-то, еще в начале зимы, с первыми снегопадами, он думал время от времени расчищать его, и начал было, как начинал каждую зиму, сгребать большой деревянной лопатой свежавывающий легкий пух к самому забору. Но, как и каждый год, позже забросил это занятие, обходясь лишь расчисткой крыльца; и сугробы росли, чтобы растаять потом — к весне. Однако там, у забора — он знал это — под верхними слоями остался слежавшийся и затверде-

ший навал, образовавший нечто вроде ступеньки при высокой дощатой ограде.

Он ступил на плотную снежную горку, так что край забора пришелся даже чуть ниже уровня глаз, и прислушался еще раз. Он увидел темную безмолвную улицу параллельно той, с автобусом, два схожих с его собственным дома на противоположной ее стороне за длинным равномерным сугробом и густую черноту в проеме между ними. Если идти все время туда (где сейчас не видно ни зги), то, пройдя между домами (боковые заборы их притихших дворов, не касаясь друг друга, образовывали узкий коридор), меж глухими дворами, когда бы ни зима, то можно выйти на крутой песчаный откос. Там кончается город и течет застывшая теперь река.

Горели звезды. Ночь была холодной и ясной, так что света единственного, к тому же горевшего вполнакала, фонаря и не требовалось.

В левом доме, в крайнем его окне, включили желтую лампочку.

Люди проснулись, должно быть разбуженные непривычными странными звуками.

Он вздрогнул, как будто опять оказавшись в большой комнате с ворвавшимся в нее под звон битых стекол ветром, снова машинально ругнулся, что не может различить патроны с картечью и пуль в ружье, и в приступе резкой, как вкус лимона, решимости и безудержной ненависти легко перемахнул через забор, не забыв впрочем, — или инстинктивно, — высоко поднять руку с ружьем, чтоб не задеть прикладом за дощатый край.

Человек в серой шинели опустил автомат, и руки, за долю секунды до этого сжимавшие словно нервно дрожащее с оглушительным голосом теплое существо, стали обретать, вспоминая, холод металла.

Стояла ночь и зима. И неказистые домишки со слепыми стеклами окон. Кургузый обычный памятник в городском сквере и костяки мертвых деревьев. (Он увидел все это, медленно оглядев пространство вокруг, — как бы за стеклом телевизора, или проплывающей по незнакомым улицам машины — за стеклом чего-то, что всегда, как кажется, отгораживает нас от той, другой, настоящей, должно быть, жизни — той, к вечной отстраненности которой мы настолько привыкаем, что в конце концов перестаем принимать ее сколь-нибудь всерьез.) И тишина навалилась на него, как бездонность пустоты, если падать с обрыва вниз. И так же — откуда-то снизу — нахлынул бездонный страх, и сразу скользнула в сознание и вернулась, лишь на мгновение затмив, а потом растя и вытесняя тот страх, — досада.

Он как будто бы вспомнил свой неверный шаг, приведший к падению — автобус! — чертов автобус — груда мерзкого облупившегося дребезжащего железа, перемежающегося (теперь уже, впрочем, изувеченными) оргстекляшками. Не надо было с ним связываться. А пуше: с его хозяином. Просто идти, бежать, не оглядываясь, — в тем-

ноту, в безграничную тишину зимы и ночи, — туда, к серым снегам окрестных лесов...

Дернуло же этого сердобольного шоферюгу полчаса назад притормозить, увидев на пустынной трассе одиноко вышагивавшего солдата! А впрочем, он, человек в шинели, солдатик, был ему тогда рад. До одури рад. И даже рукой сам махнул. Хотя мог бы и не махать — тот и так бы остановился. Еще бы: идет себе один-одинешенек по шоссе. Ночью. В мороз. До ближайшей в/ч километров пять. Небось любой бы остановился — ведь служил каждый... А ему, шинельному, самому, что было делать! Они там, наверное, уже забегали. И сержанта нашли. Оповестили все службы и посты, а теперь и дорожным, и всем милициям знать дали. Сейчас около четырех. В караул заступали в два... А, может, еще не прочухались... Да разницы уже никакой! Струсил шоферюга, дурак! Ведь и трогать-то его не собирался. Пусть бы отвез километров за двадцать, да валил себе... Или, может, “правильный”: за порядок решил подержаться. Скорее просто — заело. Да и кому приятно, когда тебе в затылок автоматом тычут: вези, говорят.

А сам-то, “срочной службы”, тоже хорош, поверил: воды набрать, радиатор... Да кто ж его знал, гада, что ему тут, на этих гнилых улочках все ходы-выходы знакомы! Зашел за колонку, да юрк в калитку. Дверка и захлопнулась.

Дверка захлопнулась. Его дом. Точно. Собственный. Гад.

Теперь уже все равно: никакой теперь разницы. Никакой.

Так думал, вернее пытался думать, стоя напротив деревянного дома у разбитого им же автобуса, солдат в шинели с черным тяжелым автоматом в руках, а мысли его путались, перескакивали с одной на другую, временами прояснялись, выстраивались в логический ряд и были тогда невыносимы.

И возвращался, и врывался в сознание страх. Не страх — бесконечный ужас, словно падаешь, падаешь вниз с умопомрачительной высоты. Но нет, не падаешь еще, еще только на самом краю — скользишь и вроде срываешься, но держишься. Удерживаешься еще! Иначе — невозможно, немыслимо, непредставимо.

Сильно колотилось сердце, и воздуху не хватало.

— Бежать!

— Куда?

Он еще раз оглядел сквер, два угловых дома на смежной улице, унылый переулок.

— Сука! — Злость на шофера нахлынула с новой силой, на шофера, его собственный дом за высоким забором, городишко, промерзшую до дна реку и леса там, за ней...

Он приподнял свой “калашников”.

Но на курок не нажал.

Холодный ли ветер прошелся по улице, качнулся ли бледный фонарь над изуродованным автобусом, опустилась бесшумная — двойная — полночная звезды — снежинка.

И страх, и злоба, притупившись, отхлынули... чуть отпустили...

Дом за забором, в калитку которого предательски юркнул шофер, — единственное, если не считать двухэтажной кирпичной стены справа, строение на короткой улице, — выглядывал из-за забора форточками окон, еще минуту назад отражавшими уличный свет. Теперь в нишах всех четырех оконниц, обращенных к солдату, в верхних их частях, видных ему из-за досок ограды, торчали шербатые резцы осколков и четыре фонаря, болтавшиеся прежде в четырех стеклах, раздробились на десяток малых и злых фонариков на каждом острие.

— Редкие и шербатые, словно зубы того в его дурацкой ухмылке.

И вновь стало страшно, но не огромным, как небо, вмиг заглатывающим рассудок страхом, а другим — скользким и мерзким, как какое-нибудь пресмыкающееся на ощупь. Нечто, глубоко под шинелью, оказывается, так и не свыкло с ним за эти полгода.

И даже теперь, выплескивая в мозг периодическое “нет разницы”, оно (нечто) не могло выдавить из себя и капельки сожаления, что прикончил эту гадину. Прикладом! В висок. Без шума.

Видать, и теперь, среди снежной пустоши, на нескончаемом просторе, как когда избивали в вонючей каптерке, — ни за что, просто “чтоб понимал” (как, ласково улыбаясь редкозубым ртом, не уставал пояснять сержант) — тупыми кирзовыми сапогами и круто загнутыми пряжками с медными звездами, вопреки и навстречу страху, боли и омерзению поднималось в нем что-то маленькое, но прямое и твердое, точно приказ “убей!”.

И зачем, загорелый и наглый, позволявший себе свою наглость даже и с офицерами, потому, что один из всей части и впрямь “нюхал пороха”, а стало быть, имел на нее неписаное, но очевидное право, — почему невзлюбил тот, неотвязный, вездесущий, прилипчивый, стоящего теперь под окнами глупого дома!

Или тупая настырность, переходящая в вечную ненависть, в бездарную жестокость, была у сержанта формой непрощенной, неразделенной любви?

Пусть же лежит себе долго под тихим и редким снегом у дверей продсклада на ржавом замке, — со своей сраной медалью, хищным оскалом фраера из подворотни, со всеми присказками и прибаутками, прибаутками и присказками: лучше нет влагалища, чем очко товарища...

Лови очко! Держи влагалище! Прикладом... Прикладом в висок. Тихо. Без шума.

Почему-то на душе неожиданно полегчало. Захотелось курить, — совсем просто, как ничего и не было, как на гражданке. Он даже вспомнил, что сунул в шинель, выскакивая из автобуса, шоферские папиросы. Но тут же, вдруг проявившись, озарила реальность ситуации.

Дернулся в сторону, почти выронив автомат, но замер.словно бы покаленный дом держал его, вцепившись обломками своих стекол-зубов в сукно шинели. И не пускал за бордюр улицы, — к другим домам, в сквер, в ночь.

Что-то изменилось вокруг. Звезды молчали, и ни единого нового силуэта не вырисовывалось на сером ватмане обозримого. Но что-то все-таки изменилось. В нескольких различных поодаль домах теперь горел свет. Но ужаснуло не именно это. Вдруг он почувствовал, что из каждого слепого окна в него вперились пары обезумевших чужих глаз.

Захотелось согнуть, согнуться, исчезнуть! Но остался стоять. Так хотелось исчезнуть (и оставался), когда в классе, не знавшего длинного стиха, вызывали к доске... Пригнулся! — тихо-тихо, — вдоль тротуара: за угол, за глухую кирпичную стену, и дальше — долго-долго, — за стекло, — в никуда... К грязной школе на сонной улице, к томной подружке... Выскочившей замуж? Но он скажет, что все забудется-сбудется-образуется, все пустяки... Станет, к примеру, говорить ей, как в каком-нибудь, таком же почти, как этот, — где все как у всех: ребенок, работа... Да хоть наблатыкаться водить такую бы вот колымагу. Колесить за полночь по пустынным шоссе — чтоб все ближе, все ближе к неприметному дому... К задремавшей и разомлевшей...

Да. Так станет он рассказывать ей.

И глаза ее, подкрашенные и глядящие мимо, будут чужими, словно глаза слушателя длинных, нудных, ненужных стихов, как глаза слепых окон.

Окон!

Бог с ней, с подругой. Хотя, могла бы и подождать... Сейчас здесь он не из-за нее. Просто сержант... “Из-за нее” — и то лишь отчасти — может, только туда, на юг, отказывался: глупо было мотать за тысячи километров, оказавшись в двух часах езды от “родимого дома”.

А и, может, надо было. Тоже б вот, может, медаль привез.

Вновь что-то метнулось по улице: то ли порыв ветра, то ли тень. Разницы нет. Все равно...

Теперь он удивительно трезво понял, что падает. Летит в сплошную гулкую бездну, и улица, автобус, деревья, памятник мелькают перед ним и уносятся навсегда, и неподвижны надо всем этим лишь звезды, потому, что они — звезды.

Как будто что-то острое пронзило насквозь всего.

Он сжал автомат так, что рукам стало больно, и до боли же стиснул зубы.

— Сука! — вновь крикнул невесть кому и нажал на курок, никуда, собственно, не целясь.

Оружие, разразившись двумя, почти слившимися в один, короткими всхлипами, замолкло. Рожок был пуст, и эта закономерная заминка повергла человека в серой шинели на заснеженной улице в припадок бешенства. Он вырвал из гнезда пустой магазин и выхватил из глубокого кармана новый.

Он лупанул наугад по забору, отбивая от бесцветных досок крупные щепки так, что на их местах вспыхивали белым свежие сколы.

Громкий плач (или крик, или то и другое разом) взметнулся из-за пустых оконных рам. Но стрелявший не слышал его. Или не мог слышать.

Мелькнуло: ринуться, ворваться, выбив дурацкую калитку.

Но еще ярче: труба!

Раньше приметил он вылезающую из тротуара и из-под льда на нем, снаружи забора, на самом его углу, толстую и короткую, обмазанную варом трубу. Из нее на высоте полуметра выходила другая — потоньше и еще через метр скрывалась в специально для нее уготованном отверстии.

Газ! Пропан-метан... Совсем как в той школе... Сильный газ!

Он слегка только двинул левую руку влево, и стальная трубка ствола направилась, казалось, точно по цели. Но первые три пули, продолжая цепь белых отметин на деревяшках, железа не коснулись. Четвертая, чиркнув со звоном по нижней трубе, дала рикошет.

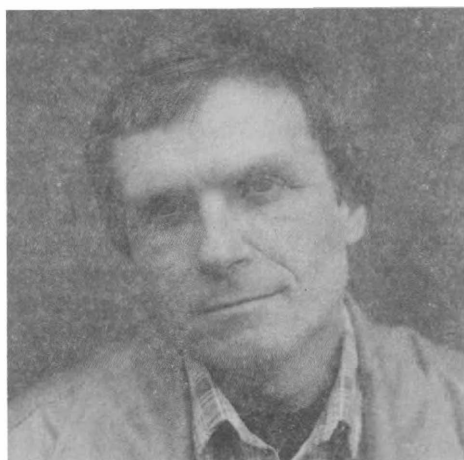
Это заставило солдата насколько было возможно или именно стало возможно — собраться. Он приставил приклад к плечу (до сих пор стрелял навскидку) и прицелился.

Может быть, мгновение сосредоточенности и позволило ему услышать звук выстрела сзади, взвизг подле правого уха и тупой удар в стену забора в пяти метрах перед ним.

Он обернулся, не опуская автомата, — резко и уверенно, последний раз зацепив краем взгляда останки автобуса и желтый фонарь в вышине.

Он увидел перед собой вспышку яркого света и другой удар ощутил уже обрывком сознания — словно бы достигла своего предела эта самая бездна. Но ни сквера в беспорядке чахлах деревьев, ни памятника, ни домов за ними, ни далекого леса, ни, наверное, даже звезд он больше не видел. Не потому, что расплавившиеся серебристые шарики, проникнув в мозг, лишили его осознания зримого мира, а потому, что мир для него кончился.

И вне его, и вокруг, и в сущности от него независимо кончился мир.



*Сергей Бирюков*

## ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Стихи

### ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Франц Бопп глядит в окно,  
он видит в нем Соссюра.  
Соссюр идет в кино,  
где Гумбольдт ждет давно.  
Петух-широкохвост,  
Жак будто на смех курам,  
над фонологией клюет  
жемчужное зерно.  
Князь Трубецкой, зачем  
Ваш вывод так поспешен? —  
Спирантов\* век  
еще совсем не предрешен.  
Но звук еще живой  
за горлышко подвешен  
и в Данию бредет  
из Праги Якобсон.

---

\*Спиранты — щелевые согласные, например, [в], [ф], [ж], [ш].

Франц Бопп глядит в окно,  
чтоб видеть Якобсона,  
но слишком едок дым  
и кончилось кино.

\*\*\*

час ночи  
что ни говори  
час ночи  
а не дня  
а рифмы  
вымерли  
смотри  
на тени  
от огня  
и Я и Ю  
из двух фонем  
попробуй —  
j-а и j-у  
и знаю сам  
кому повем  
Ю-Я

\*\*\*

наступость мар  
глюкоза в зубы  
наспинно греет бишофит  
чудевный дар  
пласты арбуза  
фальшивит флейта и сипит  
теперь другое —  
сонь в притыке  
насыпать спать —  
оно в коленке дорогое  
а так летать

\*\*\*

Снует, быстрит и называется,  
у самых оснований точится,  
он плачет или издевается,  
он движется иль только топчется?

О знак вопроса, пряность южная,  
о мрамор, вывернутый глыбою!  
Что разночтением обнаружится?  
Какой резон из праха выдоен?

## РЕЦЕПТ

*Алексею Сосне*

открыв дверцу глаза  
ты заглянул внутрь  
обозревай теперь  
ходы и лабиринт  
мозгопротоков  
и удаляйся  
в позвоночный столб  
спустись в крестец  
и выйди  
в два канала

так совершай  
вхождение внутрь  
и нисхождение  
семь раз примерно  
в день

пожалуй  
все  
но ежедневно.

## ..ТАК ЧТО НЕ ЖДИ БЛАГОДАРНОСТИ...

как сказал...

- Кто это сказал?
- Не важно, но кто-то сказал
- Кто же сказал?
- Кто-то сказал
- Сказал-то кто?
- Сказал кто-то
- Кто-то сказал
- Сказал
- Кто-то?
- Сказал

\*\*\*

Разумно ли разумно ли разумно ль  
сидеть в тени афиш,  
партнеру лгать в глаза  
и принимать условность за  
событие  
действительной судьбы?

Нет — неразумно!

Нет —

неразрешимо —  
нет-нет.

О, облако судьбы  
на небесах стеклянных  
небесной ваты рваные клочки  
и книжке запись —  
“заказать очки”,  
чтоб слово разобрать,  
признать потерю гласных...

Еще чего?

Да вот и все — почти.

*Тамбов*



*Валерий Чава*

## СМЫСЛ ЖИЗНИ

### Рассказ

Еще не открыв глаза, Катя поняла, что проснулась. Голова гудела. Впрочем, это было обычное состояние после пробуждения. Непривычным было то, что рядом никого не было. Как правило, ночные гости не уходили так рано. Некоторые еще и по утрам чего-то требовали от нее. Другие просто отсыпались.

Это было ужасно. Она надеялась, что и утром раскрутит вчерашнего знакомого хотя бы на бутылку вина. Теперь эта надежда исчезла, и на душе стало совсем тоскливо и мутно. Хотелось завывать, рвать подушку на части, но сил ни на что не было. Она поплотнее закуталась в простыню, хотя с утра в комнате было совсем не холодно, и почувствовала, как липкий пот проступает на коже.

Катя заплакала. Тихо, бессильно. В соседней комнате включил телевизор сосед. Так она называла бывшего мужа. Сквозь тонкую стенку она слышала, как он ходит по комнате, очевидно, собираясь на работу; затем хлопнула входная дверь, и все стихло.

Она стала припоминать вчерашний вечер, но отделить его в откзывавшейся подчиняться памяти от дня позавчерашнего, недельной или месячной давности было невозможно. Все казались одинаковыми, да и все ее ночные гости были на одно лицо. Она понимала, что такого не может быть, и тем не менее видела перед глазами какое-то

одно общее лицо с неким общим выражением, хотя лицо это, собственно, ничего и не выражало.

Кажется, она встретила вчерашнего мужика возле магазина. Был он навеселе, да и она плохо держалась на ногах. Так. А где же она пила до этого? Ах нет, с утра она опохмелилась с тем, другим, что был у нее предыдущей ночью. А потом полный провал до этого самого магазина. Тыфу! Да так ли это важно...

Как ей хотелось сейчас хоть что-нибудь выпить! А еще прижаться к кому-нибудь и пожаловаться на свою порушенную, совершенно никчемную жизнь. Но желание выпить было сильнее всего. Липкое тело опять прошибла волна пота — так, что, казалось, взмокли даже волосы. Не в силах встать с дивана, Катя отерла лицо уже давным-давно не стираемым пододеяльником.

За окном начинался новый день, но, как и многие другие, он не сулил ей ничего хорошего.

Последняя сука этот ее вчерашний гость — будто сам не знал, как ей будет невыносимо утром. Она не слышала, как он ушел, но даже не стала осматривать свою комнату: не прихватил ли ночной посетитель чего с собой, поскольку прихватить было нечего. Все, что можно было унести, давно унесли другие, а что-то она сама продала или выменяла на бутылку.

В зеркало, висевшее над кроватью, тоже смотреться не хотелось. Она прекрасно знала, как выглядит. Ей было двадцать восемь лет... Или двадцать девять?! Нет, кажется, все-таки двадцать восемь, а выглядела она уже сильно потрепанной багроволицей женщиной неопределенного возраста. Впрочем, надо справиться в паспорте, чтобы знать точно.

Жить не хотелось, но и уйти самой из этой жизни не было сил. Она вдруг вспомнила, как однажды попыталась это сделать, наглоталась таблеток, но эта сука — сосед — вызвал "скорую", ее увезли и откачали. Она помнила довольно смутно, что там с ней происходило. Ей делали какие-то уколы, трясли, кажется, даже били. Обращались с ней очень грубо. А потом на две недели заперли в психушку, где были не комнаты, а открытые палаты без дверей, и где в мужском отделении лежали не столько самоубийцы, сколько косившие от армии, от алиментов и черт знает еще от чего мужчины. У них тоже лежали две женщины, пытавшиеся уклониться от суда. Все знали об этом. Одна из них убила своего сожителя. А другая? Да вот знала же, а забыла...

Катя медленно сползла с кровати, и, не в силах встать на ноги, на корточках подобралась к батарее разнокалиберных бутылок, стоявших у подоконника, в надежде найти что-либо на дне какой-нибудь из них. Изредка по утрам ей выпадала такая удача.

И вдруг, о чудо! Она увидела две одиноко стоящие бутылки молдавского портвейна. Солнечный луч из окна падал прямо на них, и они искрились, сверкали, а вино в них сквозь белое стекло казалось

прозрачно-рубиновым. В первое мгновение она даже не поверила своим глазам, а потом осторожно, неверной рукой взяла одну из них и принялась разглядывать. У бутылки аккуратно была срезана пробка и воткнута на место. То, что все это оставил ночной гость, она не сомневалась — больше некому. Она быстро выпатила пробку и прильнула губами к горлышку. Живительная влага скользнула внутрь, успокаивая горящую глотку и наполняя тело мягкой истомой. Когда она оторвалась от горлышка, бутылка оставалась чуть более чем наполовину полной. Умильные слезы навернулись на глаза от мысли о том, что есть еще добрые люди на земле, что совершенно незнакомый человек так позаботился о ней, а она, стерва, так плохо о нем подумала. А еще в замутненном сознании родилась мысль, что действительно надо делать добро людям и тогда тоски в этом мире станет немного меньше. Незнакомый человек сделал ей такой подарок! Ей самой вдруг захотелось совершить что-то хорошее. А сознание того, что у нее еще есть целых полторы бутылки, делало окружающий мир прекрасным и светлым.

Впервые за долгие месяцы она решилась глянуть на себя в зеркало и вдруг показалась себе даже чем-то привлекательной.

За окном был прекрасный солнечный день, и она решила пойти на пруд. Быстро надела купальник, единственную юбку, в которой без особого стыда можно было показаться на людях, кофточку, правда, прожженную на локте, — потому ее никто так и не купил, — но приличную с виду, и вышла из дома.

На улице и впрямь было чудесно. От того, что кто-то сделал ей подарок, пела душа и даже встречные люди, которых она обычно ненавидела, считала жлобами и жмотами, сегодня казались ей чуть ли не добрыми и приветливыми...

На пруду никого не было. Солнце рассыпало лучи по гладкой, как зеркало, поверхности воды, и верхушки деревьев точно светились от солнечных лучей, запутавшихся в их густо-зеленых кронах.

Что-то очень привычное и очень давнее было во всем том, что ее сейчас окружало. Какой-то знакомый запах детства навевал воспоминания о прошлом, но сами воспоминания были какими-то нечеткими, расплывчатыми, туманными, а оттого еще более близкими ее сердцу. Катя легла на живот и подперла подбородок ладонью.

Неожиданно для себя она замурлыкала какую-то мелодию, но слов, кроме первой строки, как ни напрягала память, так и не вспомнила.

Она медленно повернула голову налево, направо и вдруг заметила, что посередине пруда тонет человек. То, что человек именно тонет, она поняла мгновенно. Сработал инстинкт пловчихи — ведь она когда-то, как-никак, была мастером спорта, даже кандидатом в сборную.

Тонувшая, а это была женщина, еще пару раз нелепо взмахнула руками и скрылась под водой — молча, не издав ни звука.

Катя уже бежала к пруду, пытаясь поточнее запомнить место, где скрылась под водой голова. Старые навыки вспомнились моментально. Пожалуй, никогда в жизни не плавала она так быстро. Вот и то место. Она набрала в легкие побольше воздуха и нырнула. Вода была не очень прозрачной, потому ползать пришлось почти по самому дну. Больше всего Катя боялась, что неточно запомнила место. Она вынырнула, еще раз набрала воздух и нырнула вновь.

На этот раз ей повезло. Она сразу наткнулась на утопленницу, подхватила ее и потащила на поверхность. К берегу она плыла быстро, как только могла. Торопливо вытащила девушку на берег, принялась делать ей искусственное дыхание.

“Господи! — молилась она в душе. — Сделай так, чтобы она выжила, умоляю тебя, Господи! Люди должны помогать друг другу! Прощу, прошу тебя!!!”

И, похоже, ее молитвы были услышаны. Утопленница вдруг вздохнула раз, затем другой. Потом рывками, трудно задышала.

Катя поняла, что девушка спасена, и огромная, давно не испытываемая радость охватила ее. И вдруг странная мысль, как срикошетившая пуля, пронзила ее сознание. “Смысл жизни и есть в постижении смысла жизни!” Эта одновременно и ясная, и совершенно потусторонняя мысль, уходящая в темнейшую глубину, придала ее сознанию ясность и четкость.

— Спасибо тебе, Господи! — вырвалось у нее вслух. — Спасибо! Она готова была плакать от восторга.

Внезапно девушка открыла глаза. Какое-то время она непонимающе глядела перед собой, наконец взгляд ее остановился на Кате.

— Ты кто? — спросила она совсем слабым голосом.

— Я? Катя, — обрадованно сказала Катя. — Ты тонула, а я тебя спасла. Ты не бойся, все позади. Это такое счастье, что я тебя спасла! — голос ее звенел от восторга.

Девушка что-то сказала, но Катя не поняла.

— Что? — переспросила она.

— Зачем? — сказала девушка. — Зачем?! — повторила она с такой жуткой горечью в голосе, что Катя растерялась.

— Как зачем? — переспросила она механически.

— Кто тебя просил? Кто?! Я что, звала на помощь?

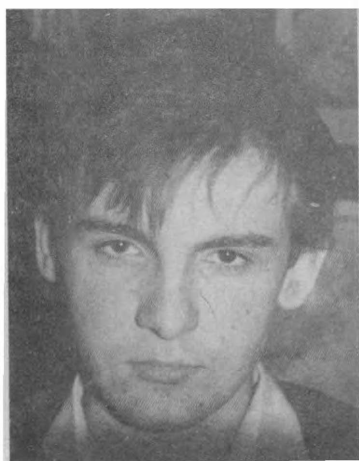
— Нет, — все так же растерянno ответила Катя. — Ты будешь жить!

— А я не хочу жить! Не хочу! Ну, кто тебя просил? Теперь придется все это снова... Я тебя ненавижу. Ненавижу. Убирайся. Все это повторять... — Девушка расплакалась, но в последних словах ее было столько ненависти, что Катя испуганно отсела от нее.

Потом встала и медленно пошла к тому месту, где оставила свою одежду и недопитую бутылку вина. Еще недавно сверкавший всеми красками лета мир померк.

“Господи! Ну понятно, почему в рай нельзя насильникам и убийцам. Но объясни же, почему туда можно только святым, кто уже на земле обрел смысл жизни, веру в тебя и душевный покой?! Ведь им так легко и светло жить! И почему нельзя тем, кто не подличал, не воровал, не убивал; кто сомневался — а это и есть самое страшное мучение; кто всю жизнь страдал и искупал свою вину, но так и не смог просто и искренне верить в тебя, хотя так этого хотел! В чем наша беда?! Ведь это несправедливо, и, значит, там, за облаками, ничего нет!”

Она взяла бутылку в руки и подумала, что смысла в ее существовании осталось ровно столько, сколько недопитого портвейна в прозрачной посудине. Катя отхлебнула из горла, но легче не стало. А смысла жизни сразу стало меньше еще на два глотка.



*Сергей Нещеретов*

## **В СЛОВАРЕ БЛЮД**

**Стихи**

**В СЛОВАРЕ БЛЮД...**

*Памяти В. Шершеневича*

В словаре блюд, тобой  
составленном,  
не хватило белой  
буквы соль.  
Возьми золотую  
чашу с каймой  
посеребренной, — это будет  
лист бумаги под букву,  
неразлучную с вялым словом ...  
и которую нанести  
тем трудней, чем больше  
в ней нужды...

**Не гордись!**  
Буква готовая тоже фальшь.  
т.е. представь, что назавтра протух  
алфавитный фарш.

## БОКАЛЫ

Нас выселил с Кузнецкого моста  
вихрь революции. Слепое провиденье  
порадовалось, наблюдая наш исход  
в огромном ящике,  
с прокладками из серой ваты...

Мы больше прожили, тут оказавшись!  
Давно отмыта вкусовая память,  
скорей вредна, чем внутренним исполнена залогом  
пустого (в наши дни) благодаренья...

Зимой здесь торжествует тусклый свет.  
Безмолвие. Пыль металлическая, словно порох...

...и мы стоим —  
тяжелые хрустальные ботинки  
с ноги старинного французского вина.

## ОТРЫВОК ОБ АКМЕИСТАХ

... проснувшись, поэты обнаружили,  
что сидят связанные в чьей-то  
голове, крепкой на вид, и что  
выход есть в левое с краю  
ухо, а другое оказалось вертоградом  
и могло пропускать одни молитвы,  
и то снаружи. Ограничься осмотром,  
поэты опять задремали...

## СТЕНА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ...

“В наши дни много есть людей,  
которые ведут долгие разговоры  
со стеной, — собеседник воисти-  
ну интересный!”

*Из прозы Ф. Сологуба*

Стена преображается, к щеке  
Прижавшись тихо  
тем, что у собаки  
Зовётся холка, у людей — хребет,

А у стены — фрагмент её окраски.  
Я знаю, — молчаливая, она  
Любительница женской рифмы, солнца  
Палящего; учили же её  
Тянуть тепло из внешней атмосферы!

Да и теперь, однако, дело плохо:  
Сподобилась узнать домашний адрес  
Новорождённых угловатых строф  
(Чей недостаток столь архитектурен),  
Подстроила со мной вот эту встречу  
И никнет, как бумага к небесам...

И дождалась — в порядке старшинства, —  
Что ей стихи охотно разболтало  
Лицо (моё лицо без моего  
Согласия). И это так подали,  
Как будто первый я заговорил,  
Боясь остаться вовсе без вниманья,  
И даже плакался на безрассудство  
Своей профессии, на бесперспективность  
Любого замысла, когда он не стоит  
На летнем громе иль гуденье пчёл.

Потом — так говорят — я сам читал  
Всё то же самое стихотворенье,  
Но только без финала в пару строк,  
Которые — по слухам — непристойны...

\*\*\*

Нож за руку себя поймал,  
когда безвинного пронзал.  
Попятился,  
зачем он здесь, забыл,  
по рукоять в раздумья  
погрузился...  
Ударом в спину нож поторопил  
убийца  
(втайне прослезился).

## ГОЛОД

*Посвящается "Ювенильному морю"*

В отекающей бутылке горла  
галлюцинируют тридцать  
свинцовых букв...

...сползают от винного шторма  
по хлебной гальке  
на красное дно,  
как в передовицу "правды",  
и — такие ж черные —  
плывут на лоб  
обсыхать,  
чтоб оттуда, смеясь,  
отфутболивать белые корки  
съедобной перхоти —  
на спор —  
до горизонта  
инженерского живота.

## ЭПИЛОГ

.....  
Валы, пропихнутые пигалицей,  
льют с отблестевшего, как волосы.  
Я вижу и с залысин прыгающий  
кусочек профиля из олова.  
Мне кажется — спираль одернута  
и выгнута дугой поклонной,  
и в рот серебряный дредноута  
уйдет она в плече с погоном.  
По камешку печаль распродана.  
Смех — тик, смех вроде экзекуции.  
Желаний два, как спин у ордена:  
рыдать! лицом куда уткнуться!..



*Ольга Постникова*

## ДИССЕРТАЦИЯ

### Рассказ

Он брал полупрозрачные круглые образцы, купал их в смеси кислот, промывал и ставил в спектрометр снимать характеристики. Травильная зверская смесь парила кислотой, обжигая легкие.

На шкале прибора сперва метался, а потом вяло перемещался по черному фону световой зайчик. Самописец тянул красными чернилами длинные кривые с пиками в определенных местах. Автоматически повторяя опыты, мой герой порой забывал, что же он измеряет таким образом, делая одно и то же. Бросит перламутровую блешку в кислоту, достанет пинцетом через одну, две или три минуты, следя за временем с помощью старомодных песочных часов, опустит в дистиллировку пластины, похожие на обсосанные леденцы, а потом часами всматривается в линии, нарисованные на бледно разграфленной хрусткой бумаге. А там вдруг не словами начертанное, а неким бессловесным импульсом переданное: "Изменяет!"

На следующий день, потратив уйму времени на подготовку опыта, он сидел, злился на неторопливость прибора, которому требуется на запись спектра почти двадцать минут, и ждал, когда кривульки сложатся в узор, и снова прочел, вникая в их изгибы: "Она изменяет тебе". "С кем?" — измученно обращался он ко всеведущей, тихо погудывающей машине, но ответ она таила.

Он добирался до дома, где жили большой семьей в трехкомнатной квартире- "распашонке" его родители, Инна с сыном от первого брака

и он сам. Отперев дверь своим ключом, он сразу попадал в сладковатую теплую боршковую атмосферу. Жена угрюмо встречала его, недовольная, что опять он пришел в десять, и пришлось ждать и не ужинать. И когда она спрашивала добренько: “Ты обедал?”, он долго всматривался в глаза притворщицы и только через минуту отвечал: “Да, обедал”, чем, как видел, страшно злил ее, этим оценивающим взглядом в лицо. На самом деле не обедал он никогда и повторял про себя: “Мы едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть”.

Женат он был во второй раз. Первая жена сошлась со своим начальником и ушла, даже не объяснившись. Он думал тогда, что сможет обличить предательницу на суде, но ему не дали и слова сказать. Прочли только ее заявление и быстро развели “из-за несходства характеров”. Хотелось изменницу наказать, но ничего, кроме убийства, не приходило в голову, а как убить без пистолета?

Он не верил вопросам Инны, ее участливому голосу: “Как ты себя чувствуешь?” С чего бы такие глупые вопросы, какие такие чувствования? И пока жена ставила на давно накрытый стол дымящуюся сковородку, следил за ней и видел: вон синяк на запястье! А ночью со своего дивана крался смотреть — и видел их, многочисленные синие пятна (следы поцелуев!) на ее руках и ногах. Недаром отец его предупреждал: “Не по себе взял. Смотри, вон на окне — коробка косметики, и каждый день меняет наряды — для кого?”

Пожились они недавно, а то все ходили на вечера поэзии да в консерваторию. Когда они воссоединились и Инна с сыном после долгих уговоров переехала в его родительский дом, он понял, что совсем ее не знает. Многие вещи его пугали. А мать, отмечая, какие короткие домашние халаты носит невестка (уже пришла мини-мода), намекала ему: женщина эга легкого поведения.

Она и отца, семидесятилетнего старика, соблазнить пыталась. Тот как-то вошел в комнату (она сидела) и стал ей рассказывать историю своей жизни (он был женат четыре раза и дважды вдов). Она вскочила и говорит свекру: “Садитесь!” Он сел, смутился, молчит, и она села — и ничего! Для того его усадила, чтоб показать, какие у нее красивые ноги. Да, длинные, ровные ноги, привыкла демонстрировать!

А когда он задерживается на работе, а она с его отцом, матерью и своим ребенком в квартире, к ней кто-то ходит. Того никто не видел, но на диване — вмятины и складки (даже не разгладит, паскуда!), где они сидят (или лежат?).

А парнишка страшно раздражает, все время показывает, какой он умный. Большущие неприятные уши. И кашляет по ночам, притворяется, что у него бронхиальная астма, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы мать им занималась. Кашель этот мешает отцу, он в темноте приходит в их комнату, будит мальчишку и спрашивает: “Чё крехчешь?”, — а тот ничего не отвечает. И очень трудно старику с переездом этого балбеса: все трогает, лезет телевизор смотреть. А когда

ему говорят “нельзя!” — ковчит, жалуется матери: “Сделай мне в стене дырочку, я буду из нашей комнаты смотреть “Спокойной ночи, малыши”. Жук такой.

А самописец опять выводил: “Изменяет!” С кем? — бросался он к экрану, а там только частые зигзаги: то ли спектрометр ломается, то ли имя такое гадкое, что его и прибор не терпит. Недели работы не давали никакого ответа, только графики суммировались на бумажной ленте десятками.

Была еще одна попытка, но он знал, что брака без этого не бывает. И хотелось за это мстить жене, ожидающей его каждую ночь, а утром убирающей постель в ящик тахты с недовольным лицом. А то еще бросается на шею с поцелуями, как он понимал, далеко не бескорыстными, а чтоб склонить его к соитию. Но он эти порывы пресекал. И когда вспоминал о вельзевуле (так он называл про себя некий телесный участок), его обдавал жар отвращения.

А между тем вышла у него неплохая работа и диссертация получилась, но это как-то походя. Он знал, чего добивался, какого открыттия жаждал.

Кривые, помещенные одна под другой на странице ватмана, давали картину травления оптических кристаллов в зависимости от времени обработки и концентрации раствора. Диссертацию напечатала машинистка довольно аккуратно, специальную копирку закладывая, чтобы соблюдать поля в один сантиметр на странице справа. Но все-таки обнаружились ошибки, и Инна взялась править. Она замазывала опечатку белилами из пластмассового заграничного флакона, ждала, пока высохнет, и легко впечатывала нужную букву в узкий просвет между другими знаками. “Ловко поддельывает!” — думал он и холодел, видя, как быстро работает обманщица.

Защита прошла блестяще. Потом долго говорили, какую огромную статистику он набрал по поведению примесей в кристаллах на основе галогенидов таллия.

Правда, он участвовал в действе диссертационного собрания точно в спектакле. Как притчу произносил слова доклада, а сам поглядывал на членов комиссии. Он убежден был, что все всё знают. Это условность такая: он говорит как будто об  $n$ - и  $p$ -проводимости, а на самом деле иносказательно доказывает, что жена живет сразу с двумя мужчинами. И поток электронов — это каждый дотумкает, что за электроны.

Устроили банкет в кафе. На стол, кроме заказанного вина, поставили клюквянку из экономленного спирта, так называемой хищенки. Он стоял с Инной на входе и встречал гостей. По большей части это были сотрудники кафедры, где он работал, несколько родственников да оппоненты защиты. Каждому мужчине, подходившему поздравить, он всматривался в лицо и с мукой думал: “Этот? Этот?” И пока произносили тосты, и острили, и хвалили его, он все взглядывал на жену и придумывал, как бы посмотреть, с кем

она там, под столом, сцепилась ногами. И даже уронил вилку и долго искал ее, но внизу, под колодистой от крахмала скатертью, было темно и ничего не видно.

Диссертация была переплетена, и один экземпляр с нужными бумагами отправлен в ВАК. Наступили пустые тоскливые дни. После гонки и бессонных ночей, когда он судорожно чертил тушью графики, пришло безделье. Он слонялся целыми днями по лаборатории, а дома вечером, наблюдая, как жена стелит на двоих, ярился и выходил из себя.

Когда через два месяца после защиты один из оппонентов встретил на улице Инну — с немытыми волосами и в жеваном платье, нагруженную пузатыми сумками, на вопрос: “Как Валерий Григорьевич?” она ответила: “В больнице”. — “Пришел ответ из ВАКа?” — “Да, утвердили”.

А Валерий Григорьевич содержался в восьмиместной палате больницы имени Ганнушкина, куда Инна таскала ему продукты. Каждый день. Он спускался в комнату приема посетителей и ел при ней, поскольку то, что он уносил в палату, другие больные у него отнимали. Он не мог постоять за себя.

В больницу можно было приносить соки, фрукты, творог и сладости, но не допускалось ни стеклянных банок, ни металлических предметов (даже чайных ложек!), чтобы суицидники — народ хитрый и изобретательный — не могли повторить снова свои эксперименты.

*Сергей Туханов*

## ТЕТРАДКА

### Прозаические миниатюры

#### ТЕТРАДКА

У Лямочкина была тетрадка. В тетрадку эту он записывал свои мысли... что? Мысли? Ха-ха! Он самым старательным образом вносил... нет, подумайте только: мысли! он вносил в свою тетрадку слова, обрывки фраз, фамилии, неизвестно как оказавшиеся в его бедной голове и не дававшие ему покоя, словно внушенные каким-то злодеем-магом. Он не старался отмечать в тетрадке состояние своей души, а просто оставлял в ней клочки воздуха, которым дышал. То это был рассыпчатый мартовский воздух, оседавший на шербатых кирпичах стены Главпочтамта, а то до густоты прокуренный воздух какого-нибудь бардака, где по стенам коричневыми пятнами разбрызган сифилис.

Вот такая тетрадка была у Лямочкина.

\*\*\*

Такое впечатление, что Синхронные Люди наконец встретились — иначе откуда взяться такой жаре?.. Постой, ты же еще не знаешь — кто они такие, эти самые Синхронные Люди. Хотя возможно, никакие они и не самые, просто — Синхронные Люди и все. Значит так: дело все в том, что в Новосибирске живут два Синхронных человека, которые делают все абсолютно синхронно — встают с постели, дви-

гаются, говорят синхронно. Но до недавнего времени они даже и не догадывались о существовании друг друга, а тут они, похоже, наконец встретились... Что тут было! Как они синхронно переходили Красный проспект навстречу друг другу, как они синхронно подали друг другу руки и разом рявкнули: — Здравствуйте!

\*\*\*

Вы шли толпою, врозь и парами,  
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня  
Шестое августа по-старому,  
Преображение Господне.

*Борис Пастернак*

Когда начался переворот, Болиголов взял все, что у него осталось: потрепанного “Доктора” в мягкой обложке, зеленого попугайчика в маленькой клетке и вышел вон.

— Ты куда? — спросили на лестнице.

— На площадь, — ответил Болиголов и добавил: — Если и сейчас стерпим...

Больше его не видели.

\*\*\*

**М.Сергееву**

Да, вот еще что: в этом году дни недели совпадают с числами так же, как в 1985, но не стоит искать параллелей в событиях — водка-то уже налита и нужно взять помидор закусить, а в следующей жизни непременно быть аскетом, но грустно, грустно...

\*\*\*

В самом конце февраля Известняк отправился с поганим ведром на помойку. Он вышел из подъезда как раз в тот момент, когда за тринадцатым гастрономом, в тонкой и четкой паутине древесных стволов исчезал яркий краешек заходящего солнца.

— Вот и зима кончается, — подумал Известняк. — Глупость какая. Нет у него никакой идеи, он просто чудовище насквозь.

За трансформаторной будкой Известняк остановился и помочился в снег, обнажив в глупой улыбке свои безобразные зубы. Потом он долго стучал по мусорному ящику ведром и вдруг вспомнил, как однажды ночью загорелся другой ящик и это было очень красиво: ровное пламя в темноте бесконечной и незащитной октябрьской ночи, искры, летящие к небу, не видному, но подразумеваемому; и тогда он плакал, глядя на польхавший мусорный ящик, или не плакал, прижавшись щекой к запотевшему стеклу.

*Новосибирск*

*Михаил Зенкевич*

## МЕЖДУ ДВУМЯ СФИНКСАМИ

### Рассказ

“Вы спрашивали меня, Елена Евгеньевна, почему я был так поражен, что даже изменился в лице, когда увидел на выставке портрет неизвестной, поразившей и вас своей красотой, в амазонке с хлыстом в руке, и я тогда обещал рассказать вам все как-нибудь потом”, — обратился к своей спутнице, высокой эффектной брюнетке, молодой шатен с простыми, но мужественными и приятными чертами лица.

“Да, Георгий Константинович”, — отвечала та тем металлическим чистым голосом, который бывает только у людей, умеющих хорошо петь.

Они шли по набережной Невы около Академии художеств и остановились над широкими, ведущими к воде ступенями гранитной лестницы между двух сфинксов. Прямо напротив на другой стороне величественной реки несколько рядов окон пылали отраженным жидким золотом заходящего солнца. Отбрасываемый звеньями блеск ложился, удлиняясь, золотыми столбами по опалово-голубой воде, и между двумя рядами пламенеющих колонн пылили, поблескивая снежным пухом, как лебеди, запоздавшие, разрозненные льдины.

“Это тяжелая история моего недавнего прошлого, след от которой изгладился только после встречи с вами, но я не хотел бы, чтобы нашей дружбе мешала какая-либо тайна”.

Девушка молча вскинула свои серые глаза. Золотое отображение развернувшегося перед ними полярного видения трепетало огоньками в ее суженных зрачках, и эти две искорки, канув в темно-карие глаза ее спутника, наполнили его душу радостью, как предвестники ослепительного света уже близкого счастья.

Словно в легкой дреме, лениво вытянув львиные туловища с покоящимся вдоль задних лап хвостом, два царственных сфинкса в надменном спокойствии держали на стройных головах священный символ могущества изваявшего их, давно исчезнувшего народа — кувшинообразную корону Верхнего и Нижнего Египта. На их бесшерстных гранитных хребтах, тысячелетия осыпаемых прежде вихрями раскаленного песка, сырели, как большие подпалины, темные пятна от недавно растаявшего снега последней весенней метели. Женоподобные, прекрасные, но бесполое лица в бесстрастной задумчивости — мнилось — созерцали нечто сокровенное невидимыми зеницами, затаенными, как солнце в облака, в каменную мертвую плеву.

“Странно, Георгий Константинович”, — сказала вдруг рассеянно девушка, медленно окидывая взглядом сфинксов. — “Я, южанка, не люблю севера, не люблю Петрограда. Мне здесь почти всегда бывает тяжело и безумно тянет на юг. Но знаете? Иногда в душные лунные ночи на берегу Черного моря передо мною мелькнет, как призрак, полярная белая ночь, опаловая Нева в граните, сфинксы, и меня потянет вдруг на север, и я почувствую, что и он мне близок, что я все готова простить ему за несколько таких золотых ночей. Я люблю эти сфинксы — у меня к ним какое-то языческое благоговение. Иногда, когда мне бывает тяжело, я иду к ним и моя жизнь с ее горестями кажется мне такой ничтожной и мгновенной, как жизнь мошки, как жизнь сотен тысяч тонких, строгих девушек, прошедших когда-то перед ними там, в Египте. Мне хочется осыпать их цветами, зажечь жертвенники с благовониями и плясать перед ними полуголой забытые религиозные танцы. А потом мне бывает их жалко — мне все кажется, что им здесь невыносимо тяжело, как зверям в зверинце, и я хочу их перенести куда-нибудь в Крым, под кипарисы, на берег моря, чтобы они могли дремать и греться на жарком солнце, как кошки... Я вас прервала, Георгий Константинович, продолжайте, я слушаю”.

“Вы, конечно, догадываетесь, Елена Евгеньевна, что главным действующим лицом моей истории, которую я сам считал бы романтической-занятым приключением, если бы не был пострадавшим, является та самая дама, портрет которой мы видели с вами на выставке. Я не могу вам открыть вполне ее имя — в каталоге под номером картины стоит просто — “портрет г-жи \*\*\*”. Назову лишь, чтобы она не осталась для вас совершенно безличной, ее имя — Евгения Борисовна, и постараюсь возможно точнее очертить вам ее образ. Поражает ли она в действительности красотой так же, как на портрете? Да, я нахожу, что художник очень метко, хотя и внешне эффектно, схватил сущность

ее красоты. Я часто видел ее в этом костюме, и именно такой встает она в моем воображении. Черная амазонка, легко перехватывая высокую статную талию, плотно облегает ее юношески-сильное и в то же время женственно-нежное тело. Из-под черной шляпы из золотисто-пепельного узла белокурых волос на висках и у затылка капризно выбиваются дымчато-прозрачные локоны, готовясь взлетать по ветру. Голубые глаза, опьяненные\* предстоящим удовольствием скачки, смотрят дерзко и весело, а ноздри небольшого с горбинкой носа изредка раздуваются, словно в ритмическом соответствии с горячим дрожанием ноздрей у подведенной берейтором к крыльцу лошади — золотошерстной кровной Изольды или вороного полукровка Тристана. Обтянутые в черные лайковые перчатки, изумительные по чистоте своих линий руки, — правая ласково треплет по напряженной и эластической, как у лебедя, конской шее, левая, поблескивая серебряной рукояткой стека, изредка ударяет им, словно львица хвостом в нетерпении, по черным шароварам и лакированным сапожкам, позвякивающим маленькими острыми шпорами. Мгновение — и всадница, вскинув левую ногу в узкое стремя, оттолкнувшись от земли правой, помужски легко вскакивает в седло и, разобрав поводья, разом смиряет метнувшуюся из рук конюха лошадь, заставляя ее плавно принять от цветника в боковую, приспособленную для верховой езды липовую аллею. Теперь, спустя четыре года, мне кажется, я могу дать вполне беспристрастно характеристику Евгении Борисовны.

Есть женщины, обладающие какой-то роковой, почти непреодолимой силой могучего, но тягостного и недоброго влияния на души соприкасающихся с ними мужчин. Они не являются неиссякаемым источником того ровного и чистого, дающего жизнь и радость света, который исходит из себя истинная любовь, но способны лишь к мгновенным, ослепительным вспышкам страсти, бурно вырывающимся из их сумрачных душ в вечность, подобно солнечным протуберанцам. — страсти, могущей на время в единоборстве затемнить и побороть даже великую любовь. Но упадут огненные вихри и в жизни охваченного ими, если только он уцелеет, не остается ничего, кроме сожженной обуглившейся пустоты. Даже от краткого пребывания вблизи таких женщин у многих непреклонных мужчин стальная указующая им путь в жизни стрелка воли, подобно магниту на компасе, мечется под властным влиянием и, отклоняясь на несколько градусов, ведет их туда, куда они не зашли бы без этой роковой встречи. Иногда, столкнувшись с героически-сильной мужской волей, эти женщины любят любовью такою же напряженной и мрачной, как страсть, но, чтобы не угаснуть, молниеносное пламя их любви должно непрерывно питаться грозowymi, черными тучами ненависти к любимому из-за какого-либо смываемого лишь кровью оскорбления, нанесенного им их жестокой гордыни. Так,

---

\*Авторский вариант: "охваченные".

жадая ласки и мести, смертельно любя и смертельно ненавидя, любила Зигфрида Брунгильда. И не тела, а только тени связывает брачным союзом, торжествуя над их гибелью, любовь — от своего смертного костра на вороном коне мчится валькирия в Валгаллу для свидания с убитым по ее наущению во время сна возлюбленным.

Такою именно женщиною представляется мне теперь Евгения Борисовна. Правда, во время нашего знакомства — ей тогда было 23 года — жестокость ее характера смягчалась молодостью. Две резких противоположности сливались в ней в своеобразную гармонию — хищность и нежность. В ее осанке и поступи, в изгибах и линиях ее тела сквозила неторопливая самоуверенная плавность и соразмерность движений, эластическая напряженность и собранность мускулов и нервов, всегда готовых к внезапному, молниеносному удару, как у благородных хищников, и вместе с тем робкая нежность, какая бывает только в утренних зорях, у первых весенних цветов, у полюбивших впервые девушек. Таковы же были и ее глаза — то круглые, бесстрастные, смотрящие вдаль, насыщенные золотом электричества, как глаза кошачьих и пернатых хищников, — то радостно-нежные, как сияние Венеры на майской заре среди пения соловьев и жаворонков перед восходом солнца. Такова же была ее душа. А на ее прекрасном лице, символизируя ее раздвоенность, — разноликий профиль — грустно-нежный слева и надменно-хищный справа. Объяснялось это какими-то неувловимыми черточками у носа и у глаз, различными на обеих сторонах ее лица.

Любимыми ежедневными занятиями Евгении Борисовны, в этом она следовала древним грекам, были музыка, гимнастика души, и спорт, гимнастика тела. В музыке Евгения Борисовна обладала тонким от природы и художественно развитым вкусом, сама хорошо играла на рояле, прекрасно знала классическую музыку и живо интересовалась новейшими ее течениями вплоть до самых крайних. Среди спортсменов Евгения Борисовна славилась игрою в лаун-теннис, но главным образом великолепной верховой ездой. Конский спорт был главной страстью Евгении Борисовны, которую она унаследовала от своего покойного отца, известного помещика-коннозаводчика, подорвавшего свое состояние на лошадях. Она ежедневно ездил верхом по утрам в течение двух часов и, смеясь, говорила, что без езды чувствовала себя так же плохо, как привычный курильщик, не выкуривший с утра ни одной папиросы. Верховом ездил Евгения Борисовна всегда по-мужски и искусством езды, за которое получила много призов в России и за границей, могла поспорить с профессионалами наездниками. Она прекрасно изучила высшую школу верховой езды, сама выезживала и напрыгивала лошадей, любила охоту с борзыми и парфорсную езду, для чего путешествовала нарочно в Англию, выступала даже несколько раз с успехом на скачках под видом конюшенного мальчика. Собственно, благодаря лошадям и состоялось мое знакомство с Евгенией Борисовной.

В то время я оканчивал политехникум и, нуждаясь, служил утром в одном автомобильном гараже, вечером же усиленно занимался, готовясь к последним экзаменам и дипломной работе. Жил я на петербургской стороне в шестом этаже — мансарде нового дома недалеко от Каменноостровского. Комната моя была не более сажени в ширину и двух в длину, но уютная, с электричеством. Почти всю переднюю часть ее от пола до потолка занимало венецианское окно, так что стена казалась лишь его рамой. Когда, устав от работы, я раздвигал ночью желтую занавеску на нем и, потушив лампу, садился в низенькое креслице — передо мною открывалась фантастическая картина: нагромождение кривых плоскостей, изломанных и усеченных кубов и ромбов от массы крыш и зданий, и блестящий черный туннель проспекта с пробегающими трамваями и автомобилями. Мне казалась тогда моя комнатка со вздрагивающими от ветра стенами — каютой какого-нибудь “Титаника”, готовящегося сняться с рейда и отплыть в туманный зимний океан навстречу плавучим ледяным горам.

Единственное мое развлечение была верховая езда. Ей я увлеклся с детства и мечтал даже в гимназии о поступлении в кавалерию. Как раз в это время в манеже стояла лошадь моего дальнего родственника юнкера Николаевского кавалерийского училища. Лошадь была скаковая, шестилетка, страшно горячая и пугливая и плохо выезженная, и он предложил мне объезживать ее под руководством берейтора. Кстати, этот юнкер, как мне рассказывали, погиб потом в начале войны из-за этой самой лошади — во время атаки она вынесла его впереди эскадрона, и он был изрублен раньше, чем подоспели свои. Ездил я обычно в манеже рано утром, когда не мешал никто из посетителей и берейтор на свободе выезживал лошадей. Я с удовольствием вспоминаю сумрачные осенние и зимние утра, когда я еще в темноте вскакивал с постели, наскоро одевался, умывался и бежал в манеж по рассветающим сонным улицам с первыми вагонами трамвая, наполненными спешащими на работу рабочими. В манеже я отыскивал берейтора, распорядившегося уже в конюшне, где конюхи чистили с деланно-грозными окриками “эй, прими” холеных, пофыркивающих игриво от щекотки щеток и скребков и нетерпеливо топающих в ожидании утренней порции овса о деревянный помост породистых лошадей. “Здравствуйте”, — весело здоровается со мной за руку румяный, с седыми коротко остриженными волосами, невысокого роста берейтор. — “А я уже жду вас. Ступайте скорей одеваться — лошадь сейчас будет готова”. Ему, по его словам, уже 60 лет, “в турецкую войну в 78 году в лейб-гусарском полку служил”, но выглядит он лет на сорок с небольшим; по правильным чертам его лица видно, что в молодости он был красив собою — недаром до сих пор у него так много покровительниц среди немолодых дам, старых посетительниц манежа. Я быстро передеваюсь, натягиваю сапоги, пристегиваю шпоры и со стеком выхожу в манеж, еще полутемный, ды-

мющийся паром, с запотевшими зеркалами; иногда так темно, что приходится зажигать электричество. От подведенной конюхом лошади тоже идет пар, она нервничает и не стоит на месте, пока я вскакиваю в поскрипывающее кожей английское седло, прилаживаю по ноге стремя и разбираю поводья. Сначала не слушаясь, она кидается из рук конюха на середину манежа, но укоризненный окрик берейтора “ай, ай, как не стыдно позволять лошади так баловать” заставляет меня быстро смирить ее, поставить к барьеру, ~~пройтись~~ сначала шагом круг, а затем плавно перейти в рысь. Последние остатки сонливости и зябкость разом исчезают, кровь горячее приливает к мускулам и делает их гибкими и послушными. Лошадь тоже стряхивает остатки сна и, весело похрапывая и пофыркивая, исполняет покорно требуемое. Берейтор скачет сзади или спереди, переменяя лошадей, отдавая команду и поправляя иногда: “повод короче”, “шенкель туже”... Когда лошадь не слушается, идет полевым галопом, вместо манежного, что ей трудно дается, принимает не так, или закидывается в страхе на прыжках перед барьером, он громко и грубо кричит, извиняясь потом: “Вы не обижайтесь на меня, что ругаюсь и кричу, у меня такой характер — люблю, чтобы с лошадьми все как следует шло”. Быстро пролетает час или полтора и, проехавшись напоследок галопом, я соскакиваю с лошади и, похлопав ее по шее и дав ей кусочек сахара, передаю ее в руки подбежавшего конюха. Придя домой, я обтирался холодной водой, делал легкую гимнастику и, напившись чаю, весело шел на службу в гараж, ощущая весь день в теле какую-то приятную свежесть и бодрость. Так равномерно текла моя жизнь, пока не ворвалась в нее бурей неожиданная встреча с Евгенией Борисовной.

Первый раз я увидел Евгению Борисовну в манеже в конце ноября, задержавшись несколько долее обычного. Пораженный, я залюбовался красотой всадницы, сразу точно сросшейся со своею кровною поблескивавшей золотою шерстью красавицей лошадью Изольдой, и с невольной завистью дивился искусной езде. Ее черная, затянута в перчатку рука, казалось, мягко играла мундштуком и трензелем по клавиатуре зубов лошади какую-то неслышную затейливую мелодию, зачаровывавшую своенравное животное и заставлявшую его возбужденно-радостно исполнять веления укротительницы, — так танцуют в Индии под звуки самодельной флейты очковые змеи. Мое восхищение не осталось незамечено; когда она проезжала мимо барьера, где я стоял, мне почудилась в углах ее губ легкая усмешка. Не раз в этот день возникал передо мною образ Евгении Борисовны, вызывая в душе беспричинное радостное волнение.

В манеже Евгения Борисовна бывала почти ежедневно около девяти часов утра, и я стал часто встречать ее, нарочно задерживаясь до ее прихода. Видеть ее стало для меня необходимостью. По-видимому, и Евгения Борисовна привыкла ко мне, потому что, когда я однажды неожиданно поклонился ей, она весело ответила мне кивком головы,

как старому знакомому, и затем дала мне какие-то указания относительно езды, назвав меня по фамилии, которую, очевидно, она слышала от берейтора, с прибавлением слова "monsieur". Но идти дальше поклонов и незначительных фраз я не дерзал. От образа Евгении Борисовны нисходила в мою душу солнечная волна радости, пронизывавшая весь мой будничный трудовой день. Видеть ее, хотя бы на мгновение, — большего ничего я не желал. Слишком велико было расстояние между нами, чтобы из нашего знакомства могло выйти что-либо доброе. Однако случаю было угодно столкнуть нас ближе.

В начале января в манеже состоялся любительский "concours hippique", в котором по настоянию берейтора участвовал и я. Когда я вечером явился туда, там играл военный оркестр, сияло полным светом электричество и, кроме участников, собралось много избранной публики из любителей верховой езды. Я участвовал во втором номере программы — прыжках — и скакать мне приходилось вторым. Нужно было перепрыгнуть так называемую каменную стенку аршина в полтора вышиною, два близко стоящие барьера и тринныбар, а затем повторить прыжки с обратной стороны. Лошадь моя от яркого света и необычного вида манежа нервничала, и я боялся, как бы она не закинулась по обыкновению перед первым барьером. Разогнав, я пустил ее галопом, зорко следя, чтобы она не закинулась. Перед самой стенкой ей пришлось дать шпоры — она, слегка заколебавшись, легко взяла ее и затем благополучно преодолела все остальные препятствия, за что я был награжден аплодисментами зрителей. У других моих соперников дело обошлось хуже, самый же главный, немолодой уже и очень опытный ездок был много тяжелее меня весом, и его скаковая белая англо-арабская лошадь задела задней ногой и сбила рейку, так что эксперты присудили жетон за прыжки мне.

В заключении после других номеров программы, сверх конкурса показывали высшую школу верховой езды берейтор и Евгения Борисовна, которая затмила всех совершенством своей езды и цирковой почти дрессировкой своей Изольды. Когда Евгения Борисовна, радостно-возбужденная, взбежала потом на галерею манежа, она столкнулась в дверях со мной и весело протянула мне руки: "Здравствуйте. Поздравляю вас с успехом — вы его заслужили своей упорной ездой раньше всех по утрам... Кстати, я сейчас уступила свое место в первой паре карусели — не хотите ли вы ехать со мной во второй паре?" Я радостно согласился и во время карусели, иногда забываясь, любовался своей парой больше, чем правил лошадью. Раз даже Евгения Борисовна со снисходительной улыбкой слегка хлестнула меня стеком по руке со словами: "Не забываетесь и не зевайте". После карусели с музыкой на галерее подавали чай с легкой закуской и фруктами. Распили и пожертвованные кем-то несколько бутылок шампанского. За столом я сидел рядом с Евгенией Борисовной. Она успевала разговаривать со всем столом и в то же время и вести отдельный разговор со

мною. У нее была, когда она этого хотела, особенная простота в обращении, вызывавшая ее собеседника на откровенность. Через четверть часа она уже знала обо мне, кажется, все существенное. Когда она стала прощаться, я проводил ее на улицу до ее автомобиля. Садясь в него, она протянула мне руку для поцелуя и с доверчиво-нежной улыбкой сказала: “Давайте познакомимся ближе. По средам у меня собираются музыканты, художники, литераторы. Приходите — я жду вас”. Через мгновение ее прекрасное лицо сверкнуло мне за стеклом дверцы в мехах и скрылось в матово-серебряной дымке крещенского инея. Но и на улице в морозном ветре среди запаха бензина от умчавшегося автомобиля я слышал оставленный ею тонкий запах духов и в моей душе среди безмерной дерзостной радости всплыли пушкинские стихи: “Последний звук прощальной речи // Я от нее поймать успел — // Я черным сободем одел // Ее сияющие плечи”.

В среду, разумеется, я был вечером у Евгении Борисовны. Жила она с мужем в одном из новых роскошно отстроенных домов на Каменноостровском вблизи Каменного острова. Несмотря на простой и лобезный прием, я невольно смутился среди необычной роскоши обстановки и шумной толпы гостей. Впрочем, я скоро затерялся среди них и принялся наблюдать за ними и рассматривать гравюры и картины на стенах. Особенно поразила меня, помню, лежащая в углу на черном бархате высеченная из белого мрамора до кисти прекрасная женская рука в естественную величину. В ее неживой снежной белизне, в изумительной чистоте линий сквозила сквозь хрупкость жуткая недобрая сила: такие руки были, наверно, у коронованных преступниц, сладострастием, ядом и кровью расчищавших себе дорогу к престолу. Погруженный в фантастические мысли, я не заметил приближения Евгении Борисовны и вздрогнул, почувствовав вдруг над своим плечом ее духи и нежное дыхание. Обнаженная до локтя рука ее легла на черный бархат рядом с мраморной. “Узнаете оригинал? Этот слепок с моей руки сделан прошлой зимою в Париже по заказу одним знаменитым скульптором. Не правда ли, очень удачно? Однако я вижу, Георгий Константинович, в манеже вы чувствуете себя более развязно, чем в гостиных. Пойдемте, я представлю вас одной очаровательной барышне, которую вы должны будете занимать за ужином”. И, весело улыбаясь, она провела меня на другой конец зала.

С тех пор я стал бывать в доме Евгении Борисовны и познакомился с ее мужем, одним из богатейших горнопромышленников юга. Это был тип крупного инженера-дельца на американский пошиб, грубоватый, рослый, красивый малый с примесью степной, казачьей крови, одетый, обритый и причесанный на английский лад, всегда чем-нибудь занятый, полный энергии и широких планов. Он провел несколько лет, работая на металлургических заводах в Англии и Америке в качестве не только инженера, но и простого рабочего (чем очень гордился), и великолепно изучил все детали своей профессии. Зато

чем-нибудь другим кроме этой профессии он интересовался очень мало (что даже с гордостью подчеркивал) — театр, музыка, искусство были для него лишь праздным развлечением после делового дня. Евгению Борисовну он по-своему любил и гордился ею, она вносила в его черствую суровую жизнь струю поэзии, но отношения между ними были вежливо-холодные: их брак напоминал сожителство двух вольнолюбивых хищников одинаковой силы, благоразумно старающихся не посягать взаимно друг на друга. Будучи председателем правления акционерного общества, муж Евгении Борисовны часто уезжал по неделям, и большая половина ее жизни проходила без него. Эта-то свобода и была, вероятно, для Евгении Борисовны главной ценностью их совместной жизни.

Если бы не весна этого года, радостная благодаря моей близости с вами, Елена Евгеньевна, то я счел бы весну моего знакомства с Евгенией Борисовной счастливейшей в моей жизни. Сумеречно-синяя и свинцово-бледная, с налетами неожиданных метелей и льдистых дождей, поздняя, как лето, весна, — но в зеленовато-жемчужных просветах ее холодного неба сквозило мне обещание грядущего: истекающее немеркнувшей мощи золотом и пурпуром над поясом вечных льдов, не заходящее за горизонт, тяжкое полночное солнце. Я не мог не заметить, что моя близость с Евгенией Борисовной росла с каждым днем, и радостно отдавался уносящей меня в сверкающие глубины океанской волне безмерного счастья, не думая о неминуемой страшной расплате.

Особенно памятны мне два вечера, проведенные с Евгенией Борисовной — один в цирке, другой на симфоническом концерте.

Главным номером цирковой программы был выход укротителя тигров, только что оправившегося от укуса одного из своих зверей. Одна за другой вывозились служителями в красных фраках тяжелые, массивные клетки с тиграми к складной копыеносной решетке, оцепившей арену. Вверху под куполом засверкал прожектор, и дробью барабанов загремел оркестр. За решетку ступил, направляясь к клеткам, раскланиваясь на аплодисменты публики, поблескивая цилиндром, укротитель, смуглый и бритый человек средних лет, в элегантном черном фраке и белых перчатках, с хлыстом в правой и револьвером в левой руке. По его команде клетки открылись, и на арену друг за другом, крадучись, вышли три тигра. Ослепляемые лучами прожектора, гипнотизируемые тысячами устремленных на них человеческих глаз, не доверяя точности и эластичности скованных неволей мышц, звери, рыча и огрызаясь, чуяли с кровожадной ненавистью, как стальным холодком проникало в золотые щели их сощуренных зрачков непреодолимое обаяние человека в черном, из рук которого гремел огонь, а за плечами сверкала ослепительная белая молния. И нехотя, под шелканье бича и выстрелы, они исполняли его волю — вспрыгивали, как дрессированные собаки, на тумбы и поочередно скакали в обруч, подставляемый им увертливым, быстро поворачивающимся челове-

ком, старающимся ни на минуту не выпустить их из поля зрения и не стать к ним спиной, и, загоняемые прожектором и выстрелами, с оскаленными клыками, скрывались обратно в клетки. Но над последним, самым большим и свирепым тигром, уже нанесшим раз своему хозяину страшный укус в плечо, власть человеческих глаз была ничтожна. Две невидимых молнии их скрестились, как клинки на смертном поединке, с двумя другими молниями, тянувшимися из кроваво-красных прищуренных глазных щелей звериного приплюснутого черепа. Все усилия защищаемого прожектором человека направлялись лишь к тому, чтобы удержать зверя от прыжка, засовывая ему в яростно-ревушую пасть металлическую палку. Одно мгновение казалось, что равновесие нарушится — тигр сделал попытку к прыжку. По толпе зрителей пробежал ропот ужаса. В это мгновение я взглянул на Евгению Борисовну. На ее исказившемся, но прекрасном лице темнело, как мне показалось, жестокое торжество. С таким лицом склонялись над барьером своих убранных пурпуром лож любовницы римских цезарей, требуя опущенным книзу большим пальцем смерти побежденным гладиаторам.

По счастью, укротителю удалось увернуться. Его учащенными выстрелами и выстрелами прислужников за решеткой тигр был загнан обратно в захлопнувшуюся клетку. Представление окончилось, но Евгению Борисовне захотелось подойти к клетке и взглянуть еще раз на тигра, уже впавшего в угрюмое равнодушие. Плотоядный, едкий запах пахнул на меня оттуда, смешиваясь с будуарным благоуханием красивой женщины.

“Может быть, это очень вульгарно, но я люблю цирк”, — говорила мне на обратном пути в автомобиле Евгения Борисовна. — “Его лошади и звери, его наездницы и акробаты зачаровывали меня еще в детстве. Помню, девчонкой я раз убежала из дома в цирк и просила скрыть меня и принять в труппу, но меня вернули через полицию. Цирк — единственное место, где сохраняется и культивируется древняя близость человека и животного, где мы не уступаем в силе пещерным предкам, а в ловкости обезьянам. При виде этой маленькой круглой арены мне мерещатся огромные цирки древности с сотнями гладиаторов и диких зверей. Иногда, как сегодня, например, я ловлю себя на тайном желании видеть песок арены обгаренным человеческой кровью... Не правда ли, какая я жестокая, Георгий Константинович?” И, рассмеявшись, она слегка коснулась своей рукой моей, блеснув на меня расширенными в темноте нежными глазами.

Долго я не мог уснуть после. Среди лихорадочного сна передо мною маячили во мраке — сладостные, полные светлой лазури глаза улыбающейся Евгении Борисовны и яростные, налитые кровавым золотом глаза оскалившегося тигра. И, ворочаясь на жаркой постели, я чувствовал — казалось — как томил меня нестерпимо-едкий и терпкий животный запах звериной клетки и вместе с ним острый, нежный аромат тела и платья женщины...

Совсем иною открылась для меня Евгения Борисовна на концерте, в залитом электричеством, гремевшем торжеством “Поэмы экстаза” Скрябина, белоколонном зале. От любимой музыки, как и от мигрени, которыми она иногда страдала, глаза Евгении Борисовны странно изменялись, — выплывали и из синих становились бледно-голубыми. Лицо ее тоже бледнело, и на висках, около шелковой, золотистой пряди, чуть-чуть просвечивали, пульсируя, две тонкие жилки. Одета она была в черное, и я помню ее хрупкую руку, неподвижно лежавшую, как та мраморная, на траурных коленях. И вся Евгения Борисовна казалась мне хрупкой и скорбной, как ее неподвижная рука. Солнечные вихри звуков, как золотой прибой вечности у скал человеческих страданий, гремели дивным торжеством бесконечных разреженных световых эфирных пространств. И я чувствовал, как бестелесная близость с каждой волною их все крепче связывала наши души. Мне казалось, что Евгения Борисовна уже давно ожидала меня, знает мою любовь и нежно-бережно ценит мое безмолвное признание.

Однако, Елена Евгеньевна, я все время вдаюсь в лирические отступления. Может быть, вам скучно их слушать?”

“Нет,— ответила девушка, — говорите, Георгий Константинович”, но лицо ее было строго и задумчиво, а глаза пристально смотрели не на спутника, а на сверкающие отражением заката дворцы другого берега Невы.

“Я буду краток и перейду, как говорят романисты, к развязке... В апреле Евгения Борисовна должна была уехать на лето с мужем в свое имение в Харьковскую губернию. Перед отъездом она предложила мне провести лето у них. “Там вы сможете спокойно заниматься, и к осени ваш дипломный проект будет готов. Если же вам нужно какое-либо занятие, то возьмитесь готовить племянника мужа (кстати, ему нужен на лето репетитор) к конкурсным экзаменам. Заняты вы будете всего часа два-три, остальное же время будете совершенно свободны”. Разумеется, я не в силах был устоять и, поколебавшись немного, согласился. В середине мая я был уже в имении Евгении Борисовны. Собственно, это было скорее имение-дача, состоящее из большого барского дома, усадьбы с парком, прудом и фруктовым садом и несколькими десятинами коса — окрестная же пахотная земля была скуплена крестьянами.

Поселился я в двухэтажном флигеле в парке, где кроме меня жил еще старичок француз, бывший когда-то гувернером в доме Евгении Борисовны. Устроился я действительно хорошо, утром занимался с учеником, потом работал над дипломным проектом и читал, — у мужа Евгении Борисовны была прекрасная библиотека главным образом на иностранных языках по всем вопросам техники. Вечер же обычно проводил с Евгенией Борисовной, сопровождал ее на прогулки верхом, играл в крокет и лаун-теннис или слушал ее музыку. Муж Евгении Борисовны большую часть лета был в разъездах — то в Харькове,

то в Екатеринославе, то на заводах и рудниках. Главною заботою и гордостью Евгении Борисовны была ее конюшня — небольшая, но отборная из первоклассных скаковых и рысистых лошадей, а затем цветники, и оранжереи, и птичник, в котором разводились преимущественно декоративные породы — лебеди, павлины, фазаны. Евгения Борисовна все время была очень оживлена и дружески-проста в обращении со мною. Чувствовал я себя жизнерадостно и молодо — проект мой быстро подвигался к концу. Я с увлечением погружался мыслью в его циклопические сооружения, — из сухих математических выкладок передо мною вставал громадный океанский порт, с доками, подъемными кранами и стапелями, на которых зарождаются и растут чудовищные стальные корпуса “Титаников”. Но в инженерной работе музою моею, одушевляющей мертвые массы металла и материалов, была Евгения Борисовна, для нее грохотали в моем воображении электрические молоты и скрежетали, сгибаясь, краны... Так шло до одного вечера, который сразу изменил наши отношения. Весь этот день Евгения Борисовна, несмотря на свою веселость и оживленность, всегда несколько сдержанно-холодная, была в каком-то сумасшедшем, нервно-приподнятом настроении. Она несколько раз обыграла меня в крокет и лаун-теннис, с мальчишеским задором хохотала и острила над моей неудачей. Во время прогулки верхом она бешеной скачкой замылила свою лошадь так, что та стала спотыкаться. Потом в сумерках после чая играла бравурные вещи и имитировала цыганские романсы. Часов около двенадцати ночи, когда я обычно прощался, Евгении Борисовне вдруг пришла в голову дикая мысль — идти в сад рвать вишни с деревьев. “В такую ночь я, как лунатик, готова лазить по крышам\*”, — смеялась она. Действительно, ночь была ослепительная, почти белая. Лунным блеском лучилось и безоблачное небо, и черная, словно натертая фосфором, земля. “Смотрите, лебеди и те не могут уснуть”, — воскликнула Евгения Борисовна, когда мы проходили по липовой аллее мимо пруда. Зачарованные торжеством двойного лунного сияния, два огромных лебедя в дремотном бессонном оцепенении беззвучно скользили матово-серебряными, снежными тенями по зеркальной сверкающей водной поверхности. Из-за пруда со степи теплый ветер тянул кизячным дымком и прелым запахом сенокоса, смешивавшимся с ароматом цветущих дулистых лип. Перейдя по перекидному мостику во фруктовый сад, мы со смехом стали рвать вишни — в сумерках все они казались одинаково спелыми. Потом вернулись на веранду. Евгения Борисовна как-то сразу притихла и задумалась, облокотившись о перила. Ее белое платье сливалось с белизною колонн и стен. Медовый запах цветущих лип из парка смешивался теперь с одуряющим ароматом цветников, разбитых перед домом. Неожиданно я поймал глазами загадочный, потемневший, лунный взгляд Евгении Борисовны и услышал ее изменившийся, чуть-

---

\*Авторский вариант: “по кровлям”.

чуть дрогнувший голос — “Георгий Константинович, вы действительно любите меня или только делаете вид, что любите?” Обезумев, шепча бессвязные, лихорадочные признания, я стал целовать ее покорные руки и в беспамятстве дерзко обвинил ее, не сопротивляющуюся. На мгновение я почувствовал, как ее сильные, гибкие, как шея лебедя, руки, всплеснувшись, крепко-крепко охватили мою голову, и, почти теряя сознание от зазвеневшей в висках крови, я ощутил на своих губах нежное прикосновение ее полураскрытых влажных губ. “Довольно... не надо”, — прошептала вдруг Евгения Борисовна, слегка оттачивая меня и освобождаясь от моих объятий. “До завтра... прощайте”, — и она, скользя неслышно, скрылась за стеклянной дверью веранды.

Минут десять я простоял на месте, словно ожидая, что Евгения Борисовна вернется. Потом медленно сошел в сад. Спать я не мог от дикой восторженной радости. Я слышал, как зазвенели в степи жаворонки еще в лунном свете при первом слабом проблеске на востоке, как закаркали потом грачи и задребезжали мужицкие телеги. Видел, как напротив угасающей луны в золотисто-палевом сиянии зари взлетела серебряной точкой звезда Венеры и сторела в алом, мощном свете поднимающегося солнца. Только после его восхода я лег в постель и заснул, проспав почти до полудня.

За обедом я увидел Евгению Борисовну, — в ней не осталось и следа вчерашнего оживления, лицо ее было бледно, у ней начиналась мигрень. Холодные глаза ее смотрели на меня строго, почти враждебно. “Мне нужно сказать вам несколько слов, Георгий Константинович”, — проговорила она чужим, зазвеневшим в моих ушах — точно откуда-то издалека по телефону — голосом. “Надеюсь, вы понимаете сами, что все вчерашнее было с моей стороны лишь глупой шуткой, которая не должна иметь для нас никаких последствий”. Я молча поклонился и вышел. Июньский день пламенел, преломляясь в изумрудах земли и сапфирах неба. По голубой поверхности пруда плавали белые лебеди. Разноцветными яркими коврами расстилались роскошные цветники. За зеленью в провололочной сетчатой изгороди расхаживали, переливаясь радужными веерами хвостов и фиолетовым золотом оперений, павлины и фазаны. От серебряного наваждения ночи не осталось и следа — день выжег его своим солнцем. Выжег и мою неожиданную радость. На душе была пустота и тоска, близкая к самоубийству.

С этого дня Евгения Борисовна стала относиться ко мне совсем по-другому — сдержанно-сухо, даже враждебно. Так продолжалось дней десять. Я недоумевал и сильно страдал от такой внезапной перемены. Пытался несколько раз объясниться, но тщетно. Евгения Борисовна словно не понимала меня и резко обрывала мои попытки. Стояли нестерпимые жары. В раскаленной добела лазури с утра до вечера не пролетало ни одной снежной облачной тени. Пруд за неделю обмелел более чем на аршин. Роскошные, почти готовые к уборке

хлеба стали выгорать. Иссохшая земля подернулась заскорузлой, твердой, как железный колчедан, коркой и дымилась знойной мглой у горизонта, куда по вечерам опускалось кровавое огромное солнце. Даже ночи не освежали и были наполнены дымом сгоревшего дня. Потом вдруг запыльхали, сначала робко, затем все смелей и, огнистей зарницы, — но грозы все не было. И неожиданно вдруг изменилась Евгения Борисовна, опять стала со мной простой и милой. Точно зарницы, замелькали в ее глазах искорки какого-то бесовского веселия — она обратила в шутку свой недавний гнев и издевалась над моей смешной и беспомощной робостью перед нею. “Теперь я вижу действительно, Георгий Константинович, что вы меня немножко любите”, — смеялась она. — “Но я хочу, чтобы вы отдали мне свою душу, как раньше продавали ее грешники черту. Пишите расписку своею кровью”. И она, шутя, заставила меня порезать палец и написать обмакнутым в кровь пером расписку в том, что я отдаю ей свою душу и прошу в смерти моей никого не винить. Потом, смеясь, она сожгла записку на пламени свечи и раздула пепел с веранды в поблескивавшую зарницами темноту. “Кончено, Георгий Константинович, теперь вы в моей власти”. Я смотрел восторженно на ее прекрасное лицо, выступавшее изредка передо мною из мрака в золотом блеске зарниц, и невольно опять прижал ее руку к своим губам. Она осторожно отняла ее у меня и быстро вошла в залу, где, став снова задумчивой, начала играть серьезные вещи.

Следующий день был так же зноен, как и остальные, — мигавшие накануне бессильные зарницы казались миражом грозы, о которой только грезил в лихорадочном бреде ночью иссохшая земля. Перед заходом солнца Евгения Борисовна захотела совершить обычную прогулку верхом. “Смотрите, Егор Константиныч, под дождь не попадите... Вишь, сегодня как марило — должно гроза будет”, — говорил мне конюх, когда я садился на лошадь.

Излюбленным местом наших верховых прогулок была березовая роща верстах в пяти от дома. Там мы слезали с лошадей и сидели, иногда разговаривая подолгу, — оттуда открывался широкий вид на поемные луга и на реку, с пересекающей ее железнодорожной линией.

Когда мы приехали туда, солнце уже зашло и сумерки сгушались. Черные края горизонта, кроме востока, где огневел угрюмо закат, затянулись тучами. Зарницы вспыхивали вокруг всего неба и, точно наглевая, старались допрыгнуть до зенита. Мы стали торопиться домой. Вся степь кругом звенела треском кузнечиков и свистела пронзительным неистовым воплем сверчков. Было что-то жуткое и вакхическое в этом любовном томлении миллионов насекомых перед грозой, которая для многих из них окончится гибелью. Казалось, что это пели не они, а свистела и звенела каждою порою, каждым стеблем, выкликая грозу, сама земля. Мы молча скакали по узкой проселочной дороге между высоких хлебов. Евгения Борисовна впереди, я сзади. Лошади нервничали и беспокойно похрапывали. Было что-то зловещее в этой

скачке, точно мы убегали от каких-то облегших горизонты, извергающих ядовитое, фиолетовое пламя чудовищ. Когда мы подскакали к дому, деревья парка глухо загудели под порывами ночного вихря. Разразилась страшная гроза, длившаяся почти всю ночь. С небольшими промежутками, как волны, ударяли друг за другом тучи. Мы с Евгенией Борисовной сидели в зале без огня и наблюдали грозу. Рамы дребезжали, и звеня звенели от грома, и комнаты вспыхивали, как от магния, ослепительным, мгновенным блеском молний. Шум тяжело падающего ливня гудел в ушах, как водопад. Евгения Борисовна сидела в углу тихая и нежная, точно загнанная под стреху грозой птица. И я вдруг почувствовал без слов, что она моя, и потянулся к ней, и поймал в темноте губами ее тонкие губы... И от этого робкого прикосновения так долго накапливавшееся в наших душах томление любви разрешилось, как электричество в знойной лазури, солнечным, грозовым ливнем неожиданного счастья. Молния ударила в меня из мрака и пронзила все мое существо миллионами золотых нестерпимо-сладостных игл. Я был точно во сне вне времени и пространства... Помню только, как при фиолетово-золотых вспышках из темноты близко-близко возникало передо мною знакомое, преобразившееся дивно лицо с вьющимися в беспорядке прядями и громадные, обезумевшие от счастья глаза... И когда наконец перед рассветом, оторвавшись от последнего поцелуя, я возвращался в блаженном полузабытии по широким лужам дорожек в свой флигель, я, сняв фуражку, жадно впитывал в себя молодым сильным телом парной июньский дождь...

В это мгновение шум приблизившейся к Николаевскому мосту манифестации прервал рассказ. Тысячная толпа, впереди которой шли матросы и рабочие-красноармейцы с винтовками, а сзади много подростков и женщин, очевидно с табачной фабрики, с беспорядочными криками, выстрелами и пением “Интернационала” и других революционных песен, стремилась на другую сторону Невы к Невскому. На развернутых красных полотнищах были видны золотые и черные надписи — “Долой войну”, “Долой десять министров-капиталистов”, “Вся власть Советам”...

“Продолжайте, Георгий Константинович”, — сказала тихо девушка, когда конец шествия перевалил на середину моста и крики заглохли.

“Мне осталось рассказать немного, и самое тяжелое для меня. На другой день Евгения Борисовна сказалась больной, и я увидел ее только на третий. На лицо ее снова легла непроницаемая, точно гипсовая, мертвая маска, перед которой я чувствовал себя растерянным и бессильным. Тяжелый взгляд ее светлых голубых\* глаз давил меня, как свинцовый, слова ее звучали сухо, почти враждебно, как удары хлыста. Все происшедшее между нами накануне казалось мне сном... Вечером мы отправились на обычную прогулку верхом. Всю дорогу Евге-

---

\*Авторский вариант: “синих”.

ния Борисовна молчала, задумчивая и сумрачная. Я ехал сзади тоже молча, боясь заговорить. В роще мы остановились и слезли с лошадей. Евгения Борисовна стояла передо мной на краю песчаного обрыва, в черной амазонке, с бледным, даже в красноватом свете заката, лицом, нервно похлестывая стеклом по шароварам и лакированным сапожкам. “Георгий Константинович”, — вдруг резко, сипло зазвонел ее голос. — “Мы должны с вами объясниться и не прятать голову, как страус в песок, перед опасностью. Я не спала эти две ночи и много думала... То, что случилось между нами, непоправимо и может быть смыто лишь кровью. Да, да, кровью виновника... Моей или вашей. Сначала у меня мелькнула дикая мысль — убить вас. Потом я раздумала. Не потому, чтобы у меня не хватило решимости, а просто потому, что вы не виновны. Виновница всего — я. Я и должна понести кару. Я так решила, и решение мое твердо. Сил на это у меня хватит”, — и, играя, Евгения Борисовна вынула из кармана вороненый крошечный браунинг, который она всегда брала на прогулки. Упав на колени, я стал целовать ее руки, клясться в любви и умолять отказаться от безумного намерения. Но Евгения Борисовна холодно, как бы безразлично, отняла свои руки и отступила в сторону.

“Все равно, Георгий Константинович, это бесполезно”.

“В таком случае есть еще другой выход”. — “Какой?” — “Это покончить самоубийством мне”. — “А вы уверены, что у вас хватит сил на это?” — “Да, я уверен”. — “Смотрите, Георгий Константинович, — проговорила тихо, почти шепотом, Евгения Борисовна, — я не шучу”. — “Я знаю это”. — “И вы можете дать мне честное слово, слово мужчины в том, что исполните это, если я потребую”. — “Да, я даю вам слово, не колеблясь”. По лицу Евгении Борисовны пробежало темное облако, но глаза ее остались металлическими с красными угольками заката в черных зрачках. “Хорошо, я подумаю”, — медленно проговорила она. — “Тогда вы должны завтра же ехать назад в Петербург и там ждать моего решения... А теперь едемте домой”. В молчании доехали мы до дома, где Евгения Борисовна тотчас же простилась со мной.

На другой день — было это, кажется, 2-го или 3-го июля, — одетый по-дорожному, уже готовый сесть в поданный мне автомобиль, я зашел проститься с Евгенией Борисовной. Она приняла меня в своей комнате. Она сидела за письменным столиком и не обернулась, когда я вошел. “Я пришел проститься с вами, Евгения Борисовна”, — тихо сказал я. Евгения Борисовна встала. Лицо ее было так же каменно и бледно, как накануне. “Слушайте, Георгий Константинович, я хочу сказать вам, что сейчас еще не поздно и я могу вернуть вам ваше слово назад. Вспомните, что вы так молоды, что у вас есть мать...” И она глянула в мои глаза мглистым, сомнамбулическим влажным взглядом. От ее будуара и от нее самой исходил сладостный знакомый запах, запах той недавней грозовой ночи.

“Нет, Евгения Борисовна, мне слово мое не нужно. Жизнь без вас все равно не имеет для меня никакой ценности”. — “Хорошо, тогда

ждите в Петербурге моей телеграммы. Если я телеграфирую, что выезжаю, вы должны исполнить свое намерение до моего приезда. Если же... — тут она запнулась.— Если же нет, или если телеграмма будет другая, то тогда вы свободны...”

Я нагнулся слегка, чтобы поцеловать ей руку, но не успел ее коснуться губами, как вдруг почувствовал свою голову сжатой в страстном, смятенном объятии на плече у Евгении Борисовны под ее поцелуями... “Прощай, прощайте”, — услышал я ее шепот. — “Довольно... Довольно. Уходите”. — И она открыла дверь в гостиную.

Как во сне вышел я на крыльцо, меня остановил старик камердинер Василий Захарыч. “Георгий Константиныч, вам письмо, должно, от матушки”. Я рассеянно сунул письмо в боковой карман, влезая в автомобиль. Всю дорогу до Петербурга я был в каком-то полубытьи. Мысль о смерти мало тревожила меня, ее тьма загоралась для меня ослепительным светом при одной только мысли: “А все-таки она меня любит, любит...”

Только когда я вышел с перрона Николаевского вокзала и сел на извозчика, меня охватило чувство смутной тоски и беспокойства. Остановился я на петербургской стороне на квартире одного моего хорошего знакомого, редактора одной желтой уличной газетки, которого, несмотря на его солидный возраст, мы все звали Кузьмичом. Когда-то в молодости он был народовольцем, провел несколько лет в ссылке, теперь же ловко обдeldывал свои делишки и зашибал порядочные деньги. Сам он считал себя “падшим”, под пьяную руку пел революционные песни и вспоминал про тюрьму и ссылку. Он любил молодежь, и мы его тоже любили за веселый нрав и добродушие. Ко мне он особенно благоволил и оказывал мне во времена студенчества много услуг. Семья его жила в Луге, самого его с утра до поздней ночи не было дома, так что я был предоставлен самому себе. Чувство тоски и беспокойства, охватившее меня с самого приезда, усиливалось все более и более. Я не мог ни читать, ни заниматься, бродил целые дни на островах и все ожидал телеграммы от Евгении Борисовны, которая должна была решить мою участь. Не страх смерти беспокоил меня, о ней я как-то не думал, но мысль о том — любит ли меня Евгения Борисовна или нет, решится ли в самом деле прислать мне нечто вроде смертного приговора или позовет меня обратно... Так прошло несколько дней. Наконец однажды, вернувшись часов в двенадцать ночи с островов, я нашел на столе телеграмму. Я вскрыл ее в волнении. Содержание ее было кратко — “Буду четверг утром Петербурге. Жду исполнения вашего обещания”.

Часа два шагал я по комнате взад и вперед с одной мыслью во всем существе — “Не любит, все кончено”... Потом опять перечел телеграмму и вспомнил — какой день сегодня? Вторник, значит, у меня остается еще один день. Я ни на минуту не сомневался в необходимости выполнить свое обещание. Да и сама смерть казалась мне един-

ственным, самым легким для меня выходом. “Не все ли равно. Зачем жить?.. Нужно, однако, написать письмо маме. Как же так, без письма...” Я начинал несколько раз письмо и рвал — слова выходили глупыми и ненужными. Потом я вдруг вспомнил, что у меня где-то в кармане письмо от матери. Я разыскал измятое письмо и начал читать. Мать писала, что она очень счастлива, что я хорошо устроился, работаю и буду осенью инженером. “Тогда наконец я могу быть спокойной, зная, что ты не оставишь Сережу и Надю (мой брат гимназист и сестра гимназистка) и поможешь им стать на ноги и получить образование. А то жить на мою маленькую пенсию и уроки музыки становится все труднее и труднее с каждым годом. Жизнь так страшно дорожает. Подумай, уже мясо стало у нас 14 коп. фунт...” Не знаю почему, но на этот раз письмо матери, которое я обычно читал рассеянно пробегая глазами, наперед зная, что там будет, произвело на меня потрясающее впечатление. Мне стала ясна вся бессмысленная жестокость моего намерения. “Мама тянула столько лет лямку с одной надеждой видеть меня наконец кончившим образование, и вдруг я теперь лишь ее поддержки и причину такое страшное горе. И ради чего...” Я ни на минуту не задумался бы пожертвовать своей жизнью, несмотря на всю любовь к матери, если бы от этого зависела жизнь и счастье Евгении Борисовны. Но что даст ей моя смерть? Простое исполнение ее жестокой прихоти, в которой она сама потом раскается, когда уже будет поздно...

В это время в мою комнату вошел Кузьмич. Он вернулся навеселе откуда-то с картежной игры, очевидно, с выигрышем. “А, ты еще не спишь?” — весело окликнул он меня. Потом, окинув взглядом меня, телеграмму и письмо на столе, он сообразил, что дело неладно, и изменился в лице. “Это что такое, Жорж? Да ты уж не стреляться ли вздумал?” Он открыл ящик стола и вынул оттуда мой браунинг. “Что ты, с ума сошел, что ли? Говори же, что с тобой”. Я не стал запираться и рассказал ему вкратце все... “И ты действительно хочешь исполнить свое намерение”. — “Да, я хотел”. — “Дурак, идиот, нюня, молокосос ты, а не инженер”, — разозлился он вдруг и побагровел. — “Но как же, я дал ей честное слово”. — “Честное слово? Эка, подумаешь, штука... Слово. Да жизнь разве не дороже слова?” — “Но как же быть, если Евгения Борисовна придет и узнает, что я обманул ее. Разве она не станет презирать меня?” — “Ну и черт с ней! Пусть ее презирает, коли хочет. Подумаешь, какая важность — бабье презрение. Знаешь анекдот про еврея-дезертира? Пусть лучше раз будет стыдно, чем потом всю жизнь лежать в могиле”. — “Но пойми же, что я ее люблю и не могу так сделать”. Кузьмич задумался на секунду. “Ну, хорошо, тогда мы так сделаем. Ты уедешь к нам на дачу, а я тут встречу Евгению Борисовну и скажу ей, что ты застрелился”. — “Но как же она поверит? Вдруг она захочет посмотреть на меня мертвого?” — “Ничего, коли ей это так захочется, я разыщу и покажу ей кого-нибудь другого. Я уверен,

она сама потом раскается, и будет реветь, и будет рада, что ты остался жив. Ей-богу, ты не знаешь баб. Ну не буду, не буду... Итак, решено, ты едешь завтра в Лугу". Подумав немного, я согласился. "А теперь ступай спать в мою комнату, а я лягу здесь. По крайней мере, я буду спокоен, что там нет револьвера и ты не застрелишься".

Было уже часа четыре утра, когда я заснул. На другой день я уехал в Лугу и стал с нетерпением ждать известий.

Кузьмич приехал в субботу вечером и рассказал мне про свою встречу с Евгенией Борисовной. Он отправился к ней на дом, куда она только что приехала с вокзала. Встретила Евгения Борисовна его официально, одетая в черное дорожное платье и темную вуаль. "Точно в трауре". Лицо ее было бледно, может быть, с дороги. Она нисколько не удивилась, услышав от Кузьмича о моем самоубийстве, и не стала расспрашивать подробности. Только сказала, что желала бы проститься с телом и возложить на гроб венок. "Ведь мы были с Георгием Константиновичем друзьями до последнего времени". "Признаться, — рассказывал Кузьмич, — тут я чуть было не срейфил. Этого я всего более боялся. Однако сказал, что ты, то есть твое тело уже отправлено на вокзал в закрытом цинковом гробу для отправки на родину. "Тогда я поеду с вами сейчас на вокзал в автомобиле, — ответила Евгения Борисовна. — Только я сначала хотела бы заказать венок из живых цветов". Мы условились, что через час-полтора я буду у нее. "Черт возьми. Дело скверно. Как бы выпутаться?" — думал я и решил покатить в редакцию и поставить на ноги всех репортеров. Так, мол, и так, нужно мне одну даму провести на вокзал и показать ей закрытый цинковый гроб... Зачем, не ваше дело. На мое счастье в редакции мне попался один самый что ни есть дошлый репортеришка. Ему и морду сколько раз били и с лестницы спускали, всегда из воды сух выходил. К самому Распутину в гости ходил. "Вот деньги, катайте на вокзал и, если устроите, звоните по телефону". Через пятьдесят минут звонок. "Есть, мол, такой гроб, можете ехать". — "Кто такой?" — "Студент какой-то застрелился". Условился я с репортером, чтобы он встретил меня на вокзале и провел к гробу, чтобы никто не помешал и чтобы убрал ленты разные с надписями, если есть. Через полчаса были мы с Евгенией Борисовной уже на вокзале и прошли к товарному вагону, где стояло два гроба. Один из них в углу был твой, то есть я сказал, что твой. Евгения Борисовна вошла в темный вагон, перекрестилась, стала на колени, положила венок из белых и красных роз и поцеловала край цинкового гроба в ногах. Затем спустила вуаль и вышла. "Теперь проводите меня до дома, мне нужно кое-что вам сказать".

Дорогой Евгения Борисовна сказала Кузьмичу, что желала бы помочь моей матери, но не знает, как это лучше сделать, и просит Кузьмича помочь ей... "Вот это так баба! Я хотя и ругал тебя дураком, а скажу, что действительно есть из чего стреляться. Ну да слава Богу, теперь ты цел и все благополучно"...

Признаться, рассказ Кузьмича меня покори́л. Я даже почувствовал ревность и зависть к неизвестному мертвецу, чей цинковый гроб поцеловала Евгения Борисовна. Голос совести где-то в глубине души шептал, что я сделал что-то некрасивое, обманув Евгению Борисовну. “Но что же делать? Не стреляться же так глупо ни за что ни про что, бросив мать”. Настроение мое было скверно. Глушил я себя работой, но напрасно. Наконец через две недели Кузьмич привез письмо Евгении Борисовны, адресованное через него моей матери. Евгения Борисовна писала ей, что всей душой скорбит вместе с нею, что она единственная виновница всего, что она только теперь почувствовала, как сильно любит меня и как виновата передо мною... Когда я прочел письмо, я обезумел от радости и, не думая ни о чем больше, в тот же день выехал из Петербурга на юг. Уже подъезжая к станции, откуда нужно было ехать в имение Евгении Борисовны, я опомнился и задумался о своем глупом положении. Очевидно, что ехать туда, где все меня считали покойником, не предупредив, было невозможно. Я решил слезть незаметно на станции и остановиться где-нибудь поблизости на хуторах, оттуда же пройти пешком к месту обычных верховых прогулок Евгении Борисовны и попытаться встретить ее одну, чтобы объясниться. Случай мне благоприятствовал. На следующий день вечером я увидел Евгению Борисовну. Она ехала верхом шагом по роще, опустив поводья, о чем-то задумавшись. Когда я внезапно вышел из-за кустов к ней навстречу и окликнул ее, она оцепенела и изменилась в лице. Очевидно, она приняла меня за привидение. Я подошел к ней ближе и взял ее за руку, только тогда она немного пришла в себя.

“Как, разве вы, разве вы живы?” Торопливо я стал ей рассказывать, как все было. По мере моего рассказа лицо Евгении Борисовны изменялось, и вдруг судорога страшного гнева исказила ее прекрасное лицо. Над прикушенной до крови нижней дрожащей губой синие ее глаза с ненавистью и презрением глядели на меня. Все это длилось несколько секунд. Потом я увидел, как взлетела на золотом фоне неба эбеновая рука со стеклом, и на своем лице ощутил резкий удар ее стека наотмашь, потом еще один. Когда я открыл зажмурившиеся невольно от неожиданности глаза, Евгения Борисовна галопировала уже в нескольких саженьях от меня на вздыбившейся от удара шпоре Изольде. Я остался один среди сгушавшихся сумерек. Не буду вам описывать своих чувств. Этот жгучий удар хлыста до сих пор горит на моем лице, как несмываемое оскорбление. До полуночи я пробродил по полям, полный самых диких противоречивых чувств. То я хотел пойти в усадьбу Евгении Борисовны поджечь дом и убить ее, то вспоминал, что она женщина, и мстить ей я не могу...

На другой день я уехал... Потом чувство любви подавило чувство злобы и я послал Евгении Борисовне письмо с объяснением. Оно вернулось нераспечатанным...”

“И вы никогда больше не встречались с Евгенией Борисовной?” — спросила девушка.

“Нет. То есть один раз я видел ее издали. Это было перед войной, весною на Коломяжском аэродроме на полетах Пегу. С ним должна была лететь какая-то дама пассажиром. Когда я посмотрел в бинокль, то увидел рядом с усатым, улыбающимся лицом Пегу и страшно знакомое лицо Евгении Борисовны под авиаторским шлемом. Я узнал ее, но не успел рассмотреть — так как аппарат отделился от земли. Пока Пегу проделывал в воздухе, как гимнаст под куполом цирка, свои виртуозные мертвые петли, вызывая ропот восхищения в многотысячной толпе внизу, я чувствовал себя так, как раненый, у которого внезапно сорвали остановившую было кровотечение повязку. Я не мог оставаться на аэродроме и покинул трибуны. Только теперь, после встречи с вами, Елена Евгеньевна, я чувствую, как это наваждение, томившее меня четыре года, исчезло и растаяло и душа снова готова отдаться счастью...”

Закат уже угас, и Нева окуталась мглистым дымчатым сумраком. Несколько секунд девушка молчала, потом повернулась к своему спутнику.

“А не находите ли вы, Георгий Константинович, — не громко, но резко зазвенел ее металлический голос, в котором ему как будто слышалось презрение, — не находите ли вы, что вами вполне заслужены эти два удара хлыстом по лицу?”

Серые глаза ее глядели прямо и пристально. По их потемневшей поверхности уже не бегали лучезарными зайчиками золотые огоньки, лишь на дне, в черной глубине зрачков тлели две рубиновые искры, отраженные от пламеневшего кровью креста на церкви Благовещения.

Два гранитных гермафродита, сфинксы, насыщенные золотым жертвоприношением полярной пустыни, казалось, погрузились еще более в свою тысячелетнюю холоднокаменную дремоту. Со стороны Невского слышалась беспорядочная пулеметная и ружейная стрельба.

<Конец 1910-х гг.>

Печатается по карандашному автографу со значительным числом исправлений.  
Отдел рукописей РГБ, фонд 822 (М.А. ЗЕНКЕВИЧ), к. 2, ед.21.

Публикация Сергея Зенкевича

*Рубрику ведет  
Сергей Юрьенен*

*Шамай Голан*

# ВОЗВРАЩЕНИЕ

**Рассказ**

1

Охапки цветов. Розы, ирисы, гвоздики, дикие хризантемы — Эйтан маневрировал среди них, на инвалидной коляске, как на велосипеде. Множество гостей пришло поздравить его, словно жениха, — и взгляды их мерцали сквозь охапки цветов, которые они держали в руках, а он старался делать вид, что радуется цветам. Но чувствовал усталость. И боль. Потому обронил удивившую всех фразу, о которой тут же пожалел. Он сказал: хорошо, что цветы не собраны в букеты и не обернуты в целлофан — такие обычно кладут на могилу, а я абсолютно здоров. Опухшими глазами поглядывал он на входящих: по двое, по трое, группами — словно бы делегациями. Вот Алекс и Симон Калмановичи, представители внутриторгового банка. В полном своем составе домовый комитет явился, как на собрание жильцов, с кремо-

---

Известный израильский писатель Шамай Голан родился в 1933 году в Польше. С 1947 года живет в Израиле. Закончил отделение истории и литературы Еврейского университета в Иерусалиме, преподавал литературу. Основал в том же городе “Дом писателя”, которым руководил около десяти лет. Известны его романы “Брачный покров” (переведен на русский язык), “Последняя стража”, “Жертвы”, “Смерть Ури Пеледа”. Но особенно популярны в Израиле рассказы Шама Голана, один из которых мы предлагаем вниманию читателей.

вым тортом впереди, несомым госпожой Тирош. Связной офицер из Эйтанова батальона и его секретарша, словно оправдываясь, объясняли, почему командир не смог сам прийти: батальон ведь уже демобилизовался, только раненые, такие, как Эйтан, еще остались на активной службе. Представители пришли также из отделения реабилитации, из теннисного клуба, действующего по пятницам, из средней школы, в которой он учился в юности, посланцы “молодого поколения” из филиала партии. Все выражали свое огорчение в связи с тяжелым ранением Эйтана так, словно были в этом виноваты. Его похлопывали по плечу, вот, дескать, ты уже здоров и домой вернулся. Но он не отвечал ни улыбкой, ни словом вежливости. Продолжал сидеть, опустив ресницы, прислушиваясь как бы издалека к шуму болтовни, к веселью.

— Ты себя плохо чувствуешь? — спросила Нили и, не дожидаясь ответа, громко заявила: — Мой Эйтан в полном порядке! — И затем наклонилась и прошептала: — Оставь коляску, Эйтан! — Так она, наверно, выговаривает своим провинившимся ученикам.

Гости внезапно и потихоньку стали уходить. Пожимали руку, ждали успеха и исчезали за тяжелой дверью. Отец и мать с улыбкой намекнули, что не хотят мешать молодой паре в первый день встречи, и тоже удалились.

Тишина тяготила более, чем шум. Затем из кухни послышался стук посуды в раковине. Вход в кухню был узок для инвалидной коляски. С помощью костылей поднялся. Ноги его, как чужие, волокли сами себя.

Хотелось обхватить ее сзади, как в ту ночь, когда внезапно вошел в дом, с оружием, в пыльной одежде. Потрескавшиеся губы его болели от улыбки, когда он глядел в ее смеющиеся глаза. Податливо шла она в его нетерпеливые руки, в его объятия. Посмеивалась: ты мне делаешь больно. В долгие летние ночи в засаде он представлял себе это мгновение. Она схватила тогда его за руки, как бы защищаясь. Сказала — может, поешь чего-нибудь, может, разбудить детей, поздороваешься с ними. Поправила растрепанные волосы и сбежала в кухню. Он прижался к ней. Может, примешь душ, попросила, я ведь тоже не готовилась, так сказать... Он обхватил ладонями ее груди. Только сегодня я поменяла простыни, Эйтан... Но дыхание его уже было тяжелым, тело его вонзилось в ее тело. Он сам себе был чужим. Пугающим. Потом извинялся. В пекле этой долины человек теряет свой облик, превращается в животное в этом мужском стаде.

Долгие ночи, Нили, даже летом. И жаркие. Мы почти не разговариваем при такой жаре. Инстинкты, Нили, ощущения — как у зверя в лесу. Человек — зверь. Изголодавшийся по женщине. Когда ты лежишь в засаде, прилепившись к горячей земле, лежишь без движения, ибо если они обнаружат тебя первыми...

Он говорил горячо, пытался ее рассмешить, прервать ее сердитое молчание. Однажды мы наткнулись на них, продолжал он, и одному

из них удалось оказаться среди нас с гранатой. Он бегал внутри круга, как пойманный зверь. С гранатой в руке. Мы не стреляли по нему с близкой дистанции. Граната, понимаешь, опасно. Пусть убивает себя, но не нас. Звери, да? Привыкаешь. Даже дремлешь в засаде. Рядом со смертью, подстерегающей тебя во сне. На заре, садясь в бронетранспортеры, возвращаясь, — продолжаем молчать. Дремлем. И лишь к обеду приходит речь. Взрывается в одно мгновение. Вместе с тарелкой супа, мухами, гнусом и липким потом. Что ты знаешь об этом? Обнял за плечи, пытаюсь приблизить ее лицо к своему. Начинаем играть в “если”. Если бы я был дома. Если бы тут был холодильник и пиво. Если бы сюда сейчас женщину... Женщина, женщина, женщина! Любая женщина. Фантазии, возникающие в палатке. Их можно ощутить в вожделении, текущем через слова. Рукоблудные слова. Нили, слышала ли ты когда-нибудь о рукоблудных словах? Нили только сказала: ох, эти военные сборы, Эйтан. Имя произнесла с ударением на последнем слоге и ничего не добавила. Так произнесла, будто отчитала детей — Рони и Тали.

Долго стоял он у входа в кухню — голова опущена, руки до боли в пальцах сжимают костыли.

Ночью, в новой широкой кровати, она была ему чужой. Руки Нили пахли хозяйственным мылом. А его руки скользили по ее телу, как костыли. Этот омерзительный запах синтабона! И глаза ее, упершиеся в потолок. Даже не побрызгала себя духами. Теми, что он приносил ей из Шекема. Пальцы ее не касались его тела.

— Даже не смотришь... — сказал он потерянно.

— Я думала, ты не захочешь... как говорится... — взгляд по-прежнему в потолок, — что увижу... ты знаешь, раны...

— Знаю, — прикусил он губу.

— Ничего ты не знаешь! — с вызовом бросила она.

Он накрылся с головой одеялом. Как в детстве — только мама выходила из комнаты, затыкал уши войлоком одеяла и закрывал глаза: не слышать таинственных шорохов, не видеть колеблющихся теней.

...Ему надо бежать с важным поручением. Мама приказала сходить на улицу Пророков. Ему следует поторопиться, но он не может. Костыли причиняют боль. Проснулся в испуге. Коснулся рукой лба. Рука стала влажной. Тайком взглянул на жену. Лицо ее было желтым в свете ночника.

— В банке спрашивали, когда ты вернешься, — сказала она. Голос ее был тих, словно Нили беседовала сама с собой. — Когда тебе еще оставалось шесть дней до окончания сборов... — продолжала жена, не глядя на него. — Я сказала им: мой Эйтан возвращается на следующей неделе. А они сказали — не держи Эйтана только при себе. Я сказала им, что нет у меня права держать тебя только при себе.

Она повернула к нему голову. Карие глаза были печальны. Как в миг примирения после ссоры. Врач, который наказывал ему молчать,

был умницей. Всегда он чувствовал себя виноватым перед ней. Печальные ее глаза как бы доказывали его вину. Сейчас он заметил в них искорку жалости и опустил веки: пусть думает, что он спит. Он не нуждается в жалости. Если она коснется его ресниц, он поцелует веками ее пальцы.

— Ты еще не рассказал мне, как это случилось, Эйтан. Болело? Еще болит? — Спряжения глагола “болеть”. Учительница остается учительницей и в постели. — Дети такие шалуны. С тех пор, как ты ушел, совсем одичали. Когда ты не вернулся... — Она замолкла на миг, затем продолжала: — Они сочинили песенку. — Забыв, что уже рассказывала ему в госпитале об этой песенке, она тихо напела вновь: — “Аба-ба-б-аэ-ли” (игра слов: “аба” — отец, “ба” — пришел). — Вдруг приподнявшись на локте, она повернулась к нему: — Когда Рони надевает джинсы, которые ты ему купил до ухода на сборы, он выглядит, как маленький мужчина.

Эйтан заметил ее грудь в вырезе рубашки и снова ощутил бессилие.

— Рони сказал: ты так одинока, мама, я никогда тебя не оставлю, как папа.

Хоть бы кончила болтать! Пусть вернется тишина — он так устал! С ужасом он почувствовал, как рука ее скользит по его телу. Только бы не добралась до обрубков, до лодыжек, которых нет!

— Я знаю, что ты меня слышишь, Эйтан, — прошептала она.

— Нили, — сказал он еле слышно, — со мной все будет в порядке.

— Я знаю, Эйтан.

Поцеловала его в лоб. Ах, этот запах синтабона, знакомый до тошноты! Дрожащей рукой он погасил ночник.

## 2

Утром он увидел, как она на цыпочках прошла в кухню, затем вернулась, поставила чашку кофе у постели. Под его пристальным взглядом быстрыми шажками отступила.

— Я тебя пугаю? — спросил он шепотом.

— С чего ты взял? — вернулась к нему неуверенным шагом.

— Ты сбежала...

— Твои глаза... — начала она все так же неуверенно.

— Я тебя пугаю? — Он сел. — Я не просил кофе в постель, я не болен, черт возьми!

У него было такое чувство, словно раны его снова открылись.

Она протянула руку к чашке, он схватил ее за руку.

— Сядь здесь, — полупросьба, полуприказ. Потянул ее руку к шрамам на своем бедре.

— Знаешь, — говорил он ее руке, не поднимая глаз, — когда мина взорвалась, я был в полном сознании и думал: все-таки это случилось

со мной. Думал о том, как буду жить без ног. В тот миг было даже любопытно. Затем захотелось умереть. А ты? — спросил неожиданно.

— Что я? — она попыталась встать.

— Ты не напоролась на мину? — не отпуская ее руку. Пальцы были жесткие и причиняли Нили боль. — Я бы хотел, чтобы ты это знала, как знаю это я, — сказал он мягко.

— Конечно же, Эйтан, я буду знать.

— Как, Нили, как ты узнаешь?

— Так, как ты меня научишь.

— Иди ко мне, — внезапно притянул он ее к себе.

— Уже утро, Эйтан, — она придала голосу строгость. — Мне пора на работу...

— Иди же... — не отставал он.

Звякнул дверной звонок. Она выскользнула из его ладоней и пошла в прихожую открывать. Он услышал приглушенные голоса.

— О чем вы там шепчетесь?! — крикнул он. Чужим показался ему его голос.

Нили вернулась.

— Это молочник, Эйтан, ты же не хочешь, чтобы мы остались без молока.

Он сидел прямо, безуспешно пытаясь унять свой гнев.

— Врач сказал, что тебе нельзя... — начала она.

— Я сам знаю, что мне можно, а чего нельзя!

— Интересно, — улыбнулась она, — с каких это пор мой Эйтан подчиняется указаниям врачей? — Она наклонилась, провела ладонью по его подбородку, посмотрела в глаза. — “Законы создавались слабыми для слабых”. Помнишь?

— Но нам-то наплевать на них и на их законы, — рассмеялся он не очень искренне.

— Именно так ты и сказал тогда, Эйтан: их законы. И всю эту роскошную фразу ты произнес в кафе лишь для того, чтобы меня поцеловать. Без стыда. Начальник отдела банка внутренней торговли и учительница государственной школы, — она рассмеялась, — а также папа и мама двух воспитанных детей. Образец для подражания. — Она вновь погладила его по подбородку. — Может, вечером пойдем в кино? — сказала она внезапно.

— В кино?!

— Почему бы нет?

— Чтобы меня жалели?

— Боишься? — поддразнивала она его.

— Никого я не боюсь. — Он цепко ухватился за ее руку. Вся сила его гнева сконцентрировалась в пальцах.

— Так ты ничего не докажешь, Эйтан, — сказала она тихо.

Он прижался спиной к стене и закрыл глаза.

— Что делать, — шептали его губы, — что же делать?

— Начать все сначала, — услышал он ее голос, и ответил с усмешкой:

— Как в те дни.  
— Как в те дни, — подтвердила она кивком головы.  
— Советуешь приударить за тобой?  
— Именно так.  
— Без ног, — усмехнулся он горько.  
— Для этого ноги не нужны, Эйтан, — лицо ее оставалось строгим.  
— У тебя что, нет ко мне жалости? — спросил он неожиданно.  
— Жалеть можно неделю-две, — сказала она, как бы размышляя вслух, — потом начну тебя ненавидеть.  
— Может, все же начнешь с жалости, а там поглядим. — Он провел рукой по ее волосам и неожиданно поцеловал ее в губы.  
— Эйтан, — произнесла она тяжким шепотом.  
— Ты жена мне...  
— Ну и что, муж мой? — злые искорки вспыхнули на миг в ее глазах и погасли.  
— Н-и-л-и, — протянул он по слогам, растягивая насмешливо ее имя. — Нецах Израэль ло ишакер\*. — Но тут же сменил тон и примирительно продолжал: — Знаешь ли ты, как я хотел вернуться домой? Врачи сказали: вот это сильное желание (так и сказали — сильное) и вылечит тебя. Ты ведь знаешь это желание, Нили. Холостому намного тяжелее поправиться, так мне объяснили врачи, ибо нет у него дома, жены, которая беспокоится о нем, детей, которые будут его развлекать. Мать — это только мать, а не женщина, в которой нуждается мужчина...  
— Они были правы, твои врачи, — встала она. — Дом готов, видишь? Даже детей я послала к родителям, чтобы мы остались вдвоем...  
— Я знаю, Нили, знаю. — Он замолк и закутался в одеяло до подбородка. Затем сказал с горечью: — Видимо, только маме родной не надо ничего доказывать. И опять мама будет рассказывать, каким я был хорошим учеником в школе и как директор сказал, что я силен в математике, поведает даже о том, как я, бывало, мочился в постель, когда еще ползал на четвереньках...

— В твоей выписке, — прервала она его, — значит, что ты здоров “на все сто”.

В больнице он мечтал о возвращении домой. О доме мечтал и в отделении реабилитации. Как только останется с Нили вдвоем, он докажет... Важно тут же доказать, кто в доме мужчина. Даже если придет на костылях. Врачи заверили, что он здоров и может делать все, что заблагорассудится; вообще, не был бы он здоровым, не отпустили бы домой. Его посадили в коляску, положили сбоку костыли, вкатили в машину “Скорой помощи”. Руки медсестры, когда она помогла ему подняться в машину, оголились. “Вперед, Эйтан, —

---

\*НИЛИ (аббревиатура) — Вечный Израиль не обманет.

выкрикивала она бодро. Как будто он должен был прорваться к воротам противника. — Вперед, Эйтан”.

— Я здоров на все сто, — повторил он слова Нили. Захотелось, чтобы Нили прижалась щекой к его груди, чтобы нежно шептала не важно какие слова, чтобы приблизилась к нему бесшумными шагами, как в больнице при первом посещении. Сквозь бинты, которые оставляли лишь малые щели для глаз, увидел ее тогда входящей. В руках — охапка цветов. Часть поставила в вазу, остальные разбросала в изголовье, чтобы он ощущал их аромат. Друзья не хотели его беспокоить, послали с нею цветы — рассказывала она, сидя на его постели в ногах, а он без ступней ощущал себя маленьким. Младенец в пеленках. Врач запретил ему говорить, чтобы раны на животе затянулись, и он радовался этому молчанию и лишь мысленно повторял глупые слова: “Она моя, моя”. Повторял, как молитву.

Врач и его советы. Надо начинать ходить, надо развлекаться, надо делать все, чего душа пожелает. Хороший врач, с англосаксонским произношением: “О’кей, парень, ты в полном порядке, на все сто процентов”.

А Нили рассказывает о вертолете. Вертолете, летящем в больницу “Хадасса”. “Тяжело это пережить, Эйтан. Из долины вертолеты летят прямо над нашим домом. Красные огни в их брюхе, как раны. Потом слышишь по радио — сообщение пресс-атташе Армии обороны Израиля: трое солдат ранено, пятеро ранено... И однажды я узнаю, что ты между ними. И не сказали, какое ранение — легкое, среднее, тяжелое”.

Он любил слушать ее голос. Знать, что она принадлежит ему. Любить ее даже тогда, когда его мучают боли. Голос у нее негромкий, чуть охрипший. Каждый раз, рассказывала Нили, когда вертолет пролетал над их домом, она выбегала на балкон. Даже ночью. Открыв сумку, Нили привычным движением вытащила маленькое зеркальце. “Но я знала, что ночной вертолет везет мертвых. И я решила, что тебя будут везти днем”. Даже не взглянув в зеркальце, вернула его в сумку. Этот ее чисто женский жест неожиданно отразился острой болью в его ногах. В том месте, где не было ступней. Напряженно следил за ее глазами, за взглядом, скользящим по белой шторе. Медсестра соорудила им эту штору, чтобы они укрылись от чужих глаз, чтобы могли уединиться после долгой разлуки. Может быть, медсестра боялась слепых глаз Нахшона.

Нили продолжала рассказывать: когда вертолет пролетал над их домом, дети принимались петь: “Гели-коп-тер”. Надо говорить — вертолет, поправляла она их. Но дети продолжают петь: “Брюхо, как у лягушки”. Как только вертолет пролетал, она начинала ждать телефонного звонка. Она всегда была наготове. Дети знали об этом, прибегали и сообщали: “Мама, вертолет в небе”. — “Тихо, дети, — выговаривала она им, пытаясь выиграть время, успокоить нервы, — надо

говорить — вертолет”. — “Но вертолет — это красивее, мама, это вроде — гели-нели-пели”. И они тут же принимались петь и пританцовывать.

— Ты знаешь, — сказал он неожиданно, — медсестра танцевала у кровати Нахшона. Нахшон слеп, и она танцевала до тех пор, пока Нахшон не начал хлопать в ладоши в такт ее танцу, в такт песне, которую ей пел. — Он смолк, напрасно ища глазами глаза жены.

— О раненых ничего не сообщают, ни возраста, ни имени. Сообщают лишь, что машина подорвалась на mine южнее... или восточнее... или западнее... Важно направление. Но сейчас, Эйтан, кончились кошмары. — Она постаралась сделать голос радостным: — Погляди на меня, видишь? В твою честь я надела серьги. — Она pokrутила шеей, и серьги зазвенели.

Когда она собиралась в больницу, дочка спросила, зачем нужно надевать серьги, когда идешь проводить больного папу. Нили сказала ему об этом, затем наклонилась над ним, чтобы он мог ощутить запах духов: и это тоже для него. Но он отвернул голову, и Нили вытерла глаза тыльной стороной ладони. “Если ты улыбнешься мне. Эйтан, — сказала сквозь слезы и вдруг осеклась: — О, извини, Эйтан, ты же не можешь... Ничего, Эйтан... В следующий раз приведу и детей”.

...А сейчас, когда он вспомнил все это, воскликнул, радуясь, что нашел выход:

— Детей, верни домой детей!

— Они придут завтра, — ответила Нили с такой готовностью, словно ждала этой его просьбы. — Просто я думала, что ты... что мы захотим день-два побыть наедине.

— Детей, — упрямо повторил он. — Приведи детей.

— Что, прямо сегодня?

— Сейчас, — сказал он горячо. — Немедленно, чтобы пришли немедленно.

### 3

Он сидел в коляске, когда вошли дети. Казалось бы, начищенные туфли скрывают отсутствие ног, но, несмотря на это, дети боялись к нему приблизиться. Наконец Рони решился, подошел и поцеловал его в щеку, вытер губы, поинтересовался, принес ли папа сладости из Шекема. Спросил так, будто продекламировал заранее выученную фразу. Тали не поцеловала, она ухватила руками за инвалидную коляску и молча смотрела на него. Эйтан хотел было взять ее на руки, но Тали запротивилась. И тогда он стал объяснять ей, как освободить ручной тормоз, как раскатывать колеса. Нили подбадривала ее:

— Ну, Толи, дочура, вези папу. Помнишь? — Нили запела: — Аба-баэли... — и слегка подтолкнула коляску.

Тали упала. Из носа пошла кровь. И пока он пришел на помощь, Нили уже умыла дочь и успокоила.

В следующие дни он погрузился в молчание. Утром, когда он еще лежал на раскладушке (он решил спать отдельно, пока не пройдут боли), Нили готовила детей в школу и садик. Наконец они выходят. Мать держит детей за руки, и Рони, и Тали как два ее телохранителя или ангела-хранителя. В доме воцаряется тишина. Он перебирается на большую кровать, еще хранящую тепло Нили, делает глубокий вдох и ныряет глубоко под одеяло. Как Рони и Тали, которые превратили кровать в бассейн. Эта новая кровать сделана на заказ еще до того, как Эйтан ушел на сборы. Кровать стояла огромная и пустая, как водный бассейн без воды, рассказывала ему в больнице Нили историю их кровати. Тогда-то ею и заинтересовались Рони и Тали и “плавали”. “И все потому, что ты, Эйтан, вредный ребенок, не брал их в бассейн настоящий”. Нили говорила тогда нежным голосом, как бы лаская его.

Если б голос ее был таким и сейчас; быть может, и превратилась бы кровать в свежий бассейн для него.

Он ощутил удушье в постели, сполз на пол и начал свое “учебное” странствие по комнатам. Шаги его неуклюжи и тяжелы, и он пытается быть осторожным среди статуэток и ваз, которые жена расставила по квартире после их путешествия в Италию два года назад. В детской он обычно предпочитает присесть и отдохнуть. Здесь, лежа на полосатом ковре, расстеленном на полу, он, бывало, качал Рони на ногах. Его ступни служили сыну “подставкой”. “Йо-хо!” — кричал Рони подобно индейцу и взмахивал руками.

В обед мать и дети возвращаются. За столом он попытался развлечь их. Из хлебного мякиша принялся лепить птиц, человечков. Но Нили рассердилась и сказала, что нельзя портить хлеб. Сказала голосом учительницы. И он послушался. После обеда жена объявила сесту — послеобеденный отдых; этот обычай она переняла у заместителя директора. Тот недавно вернулся из Южной Америки, куда был послан по делам, и теперь хорошо знает, что полезно для учителей его школы.

Эйтан должен понять, сказала Нили, что она человек занятой. Проверка тетрадей, подготовка к урокам, да и Рони с Тали доставляют слишком много хлопот. Одичали совсем. От рук отбились. Заместитель директора время от времени вызывает Рони в кабинет и отчитывает при матери-учительнице. Нужна сильная мужская рука в доме. “Итак, дети, отдыхать после обеда!”

И снова он остается один в коляске. Глаза его скользят по строчкам свежей газеты, пока не находят имен в траурной рамке. Вначале он пытается расшифровать, кто пал смертью героев, а кто — при исполнении служебных обязанностей. Но какая разница — ведь мертвые в любом случае мертвы. А вот раненым не положены черные

рамочки. И Эйтан никогда не прочтет в газете что-нибудь вроде: "Горько оплакиваем ранение сержанта Эйтана Керена, чьи ступни были отсечены во цвете лет, и соболезуем горю семьи".

Он погружается в напряженную дремоту, как в бронетранспортере, когда возвращался из ночной засады. Будильник переносит его в реальность. Растрепанная голова Нили возникает на миг в проеме двери, глаза изучающе глядят на него. Но нет времени. И уже слышен шум воды в ванной, как будто сейчас утро и жена готовится к рабочему дню. Он складывает газету. С надеждой ждет, что она подойдет. Но она не подходит. Торопится одеть детей, чтобы они успели поиграть во дворе — ведь ровно в шесть по телевидению показывают "Робин Гуда".

"Надо быть сильным,— повторяет Нили время от времени слова своего отца. — Надо вести себя так, будто ничего не произошло". Нили единственная дочь, потому и посещает часто ювелирный магазин отца. И быть может, сердится, что Эйтан не желал ходить с ее отцом в синагогу по субботам.

После Шестидневной войны отец снова может посещать Стену Плача, простирается ниц перед гробницами праотцов в пещере Махпела, у могил Рахели и Иосифа-праведника у гор Благословения и Проклятия. "Дни наши обновятся, как в древности, — повторяет отец Нили, — вы, молодые, не улавливаете, что мы приближаемся к концу света, последнему Суду. И война эта, которую вы называете войной на истощение, на берегах Суэцкого канала и в Иорданской долине, она и возвещает конец света. Потому долг наш молиться и благодарить Господа за чудеса, совершенные им во имя нас".

В ту субботу упрашивала его Нили: "Сходи с отцом в синагогу, сделай старику приятное. Если и не поможет, то и не помешает. Не все ли тебе равно?" Но Эйтан ответил, что прошел три войны без единой царапинки и без помощи церкви. Пусть туда, заявил он, идет твой старик, который ждет конца света. Как весело он тогда рассмеялся, скинул пижаму, напряг мышцы, как бы желая продемонстрировать перед ней неуязвимость своего тела! "Дети, — закричала Нили, — они могут неожиданно войти". Но он притянул ее к себе, зашептал на ухо, что, мол, нельзя стесняться наготы. "Отец тебя ждет", — пыталась она увернуться от его объятий. Когда же он повалил ее, то услышал насмешливое замечание: не всего можно добиться силой. Нет? Он вскочил, встал перед ней во всей мужественности, играя мускулами. Сказал: "Вчера я стал чемпионом теннисного клуба, через год получу должность начальника отделения банка".

Мягко провел ладонью вдоль ее позвоночника и торжественно пообещал, что в возрасте ее отца непременно каждую субботу будет ходить в синагогу. Тело ее отвечало движению его пальцев, и так лежала она перед ним, млея от ласки, пока не сказала: ты невыносим. Всегда, когда чувствует себя побежденной им, произносит эту фразу.

Сейчас она готовит ему на ужин салат. Беспокоится о его диете. Весь день он сидит, читает газеты. Так недолго и располнеть. Ему нель-

зя есть жирное. Или надо перестать сидеть сиднем и читать. “Ты глотаешь газеты, как наркотик. Что ты находишь там нового, чего не читал вчера? Кого ограбили, кто изнасилован, кто что говорит и где? Только набивают трухой человеческий мозг. Ну читал бы что-нибудь серьезное. Какой-нибудь ежемесячный журнал, ежеквартальный”. Она готова принести из учительской, заместитель директора будет рад дать какой-нибудь журнал. Или серьезную книгу, поднимающую настоящие человеческие проблемы.

Утром, упражняясь в ходьбе, он отыскал книгу, которую получил в поощрение на курсах. На титульном листе было написано размашистым почерком: “Отличнику Эйтану Керену от командира снайперских курсов”. Он уселся в коляску и поспешил сообщить жене: “Нашел серьезную книгу!” Нили была на кухне, и ему пришлось кричать. Он тут же почувствовал боли в животе — нельзя было кричать, внутри словно бы что-то оборвалось. Несмотря на это, предложил ей: “Хочешь услышать, что здесь написано?” Не дожидаясь ответа, начал читать. “Еще недавно — до начала 60-х годов — было принято считать убойным осколок, который во время попадания обладает энергией в 8 кг/см. Оказалось, что этот критерий не соответствует действительности, ибо существуют дополнительные, факторы...”

Подняв глаза, он увидел Нили: она стояла, опершись о косяк двери, в одной руке тарелка с салатом, другая рука — в кармане передника.

— Дочитал? — спросила Нили с волнением.

— Ты же просила читать серьезную книгу, Нили.

— Я лишь спросила, дочитал ли ты? — Щеки ее побелели от напряжения. Она была красива в этой бледности.

— Еще нет. — Он перевернул страницу. — “Сейчас принято считать, что осколок, обладающий в момент вторжения в тело энергией в 17 кг на 1 квадратный сантиметр площади, убивает наповал. Но и это определение не абсолютное. — Попадание осколка может быть смертельным в зависимости от той части тела, в которую он попал. В сердце, например”.

И, не изменяя тона, продолжал:

— А твое мнение каково, Нили, мое ранение — смертельно или нет?

Он вновь поднял глаза и наткнулся на неподвижные взгляды. Все трое молча уставились на него. Он мог даже слышать это громкое молчание.

— “Робин Гуд”! — вдруг воскликнул Рони.

Эйтан захлопнул книгу, подмигнул сыну:

— Ровно в шесть, а?

— Робин Гуд, папа, — закричал Рони, — все стрелы его попадают в цель.

— И бьют наповал, а?

— Наповал, папа.

Остаток дня проходит как обычно. Сначала Нили приводит в порядок дом. Уборка длится час-другой. Эйтану приходится сидеть у окна

до тех пор, пока она не кончит. Чего бы ему не выйти и не подышать свежим воздухом? Никто не обратит внимания на его походку. Нечего стесняться. Вечером Нили идет на учительское собрание. Обещала не задерживаться. Собрания ведутся строго по графику — заместитель директора любит порядок. О детях нечего беспокоиться, они знают, что нельзя надоедать папе. Тали уже в постели, а Рони скоро пойдет спать.

И Эйтан скоро ляжет, только сон никак не идет. Ночи длятся бесконечно, как часы в засаде в долине Иордана, как пыльные дороги, где в любом месте могут оказаться мины.

#### 4

Остаток дня пройдет, как обычно. А пока, до ухода Нили, следует помыться — ее мягкие пальцы приносят облегчение ранам, которые еще не совсем зажили. Открыл краны, разделся, забрался в ванну. Огляделся: стены белые, как в больнице. Затем посмотрел на обрубки и выше — черные волосы между ног колыхались на поверхности воды, как щупальца медузы. Медуза — окрестил он себя, глядя на мыльную пену. Медуза, повторил, всматриваясь в рубцы на животе. Осколки-то были смертельными или только ранящими, Эйтан? Ты сам должен решить. Не жить больше, как медуза, зеленая и раздоревшаяся, присосавшаяся к тошнотворному своему существованию

— Мог бы сказать, что пошел мыться.

Это вошла Нили, принялась ему помогать — на кончиках пальцев он ощутил гнев. Замкнулся. Подумал — с этим жить можно. Надо лишь уйти в себя, сжаться и продолжать дышать, ощущая пальцы жены, которые массируют измученное тело, как пальцы врача.

Вдруг направил струю воды на нее.

— Как ты неловок, Эйтан!

Нили отскочила в сторону, стряхивая воду с передника. Вечно она надевает этот передник из пластика, когда собирается его мыть. Вытерла лицо, поправила прическу, которую старательно приготовила к собранию. Как она пойдет в таком виде? Подумал и вдруг рассмеялся.

— Чего ты смеешься, Эйтан? — рассердилась жена. — Мог бы хоть предупредить...

— Медуза не разговаривает. — Он закрыл краны и опустил голову, как провинившийся школьник.

— Ты вредный ребенок, — сказала Нили нетерпеливо, посмотрела на ручные часы, которые не успела снять.

Он знал, что жена опаздывает, но не торопил ее, поглядывая на ее загорелые ноги.

— Моя коляска, — прошептал Эйтан, — надо следить, чтобы Тали снова не упала...

Нили стала вытирать ему плечи полотенцем.

— Она больше не упадет, — голос ее был лишен уверенности.

— Можно обернуть коляску медузой, — сказал он тихо.

Полотенце на миг замерло.

— Конечно же можно, Эйтан, — какое-то смятение слышалось в ее голосе, какой-то скрытый стрых.

— Зеленой, — добавил он.

— Зеленой, — повторила она, как эхо. Взяла его за руку, чтобы помочь выбраться из ванны.

— Я сам! — неожиданно оттолкнул он ее.

— Эйтан! — воскликнула она обиженно.

Он с удовольствием ощутил напрягшиеся мышцы рук. Тело его на миг повисло в воздухе. Нили подошла к двери, обернулась:

— Если понадобится моя помощь...

Он рванулся к двери. Упал, пополз на четвереньках. Обхватил и начал гладить ее ускользящие лодыжки. Она споткнулась и свалилась рядом с ним. Он обнял ее и ощутил под своими пальцами смятение. Затем она начала беззвучно бороться, пытаясь освободиться. Но чем больше она извивалась в его руках, тем сильнее разгоралось в нем желание. Рукой скользнул от груди к мягкому животу, пока не добрался до ляжек.

— Я же опаздываю на собрание, — шептала она, тяжело дыша.

— Дети нас услышат, Эйтан!

— Не здесь, Эйтани. — Она повернула к нему лицо, и он поцеловал ее в губы.

— Тут очень яркий свет, Эйтани! — Она прижала его руку к своей груди. Он лихорадочно помогал ей снять одежду.

— Ты тяжелый, — провела ладонью по его телу, дошла до обрубков.

— Зеленая моя медуза, — шептала ему на ухо, ощущая его вторжение всем своим нутром.

Он лежал рядом. Победная улыбка светилась на его губах, взгляд — на обнаженном теле.

— Накрой меня, — попросила.

— Зачем? — удивился он.

— Я, наверно, уродлива при свете? — Руки ее гладили его лицо.

— Нельзя стесняться голой правды, — радостно улыбался он.

— После двух родов особо не покрасуешься, — бормотала как бы про себя, — шрамы на животе... Это от Тали, помнишь? Большой был шрам. — Взяла его руку, положила себе на живот.

— У каждого человека свои шрамы, — сказал он шутливым тоном.

И они рассмеялись. Негромко. Чтобы дети не услышали.

*Перевод с иврита Ефрайма Бауха*

*Марк Липовецкий*

## **“ТЕАТР ЖЕСТОКОСТИ” ВЛАДИМИРА СОРОКИНА**

Соц-арт — настолько характерное для русского постмодернизма явление, что нередко им подменяют весь русский постмодернизм (этим грешат не только критики традиционалистской ориентации, как, например, Ст. Рассадин, но и такие постмодернистские «гуру», как Б. Гройс, М. Эпштейн, А. Генис). Показательно, что сами соц-артисты предпочитают называть себя концептуалистами, акцентируя тем самым, что они работают с языками не только советской — социалистической, но и всякой идеологии вообще. Возникая в живописи (Виталий Комар и Александр Меламид, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Гриша Брускин) и в поэзии (Дмитрий Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров и др.), в прозе соц-арт не стал таким широким явлением. Собственно говоря, единственный в полном смысле соц-артовский прозаик — это Владимир Сорокин, хотя элементы поэтики соц-арта достаточно важны и у Евгения Попова, Зуфара Гареева («Парк»), Анатолия Гаврилова, Аркадия Бартова, Виктора Пелевина («Жизнь насекомых»), а также в «Палисандрии» Саши Соколова.

Безусловно, соц-арт не исключение и не замещение всей постмодернистской словесности. Выше мы предложили своего рода «классификацию» русского постмодернизма в соответствии с тем, на какой мифологизированный контекст направлена литературная игра. Создатели соц-арта вполне сознательно ориентированы на работу с опре-

деленным культурным контекстом — однако этот контекст сам по себе отличается от контекстов мифологий творчества или истории, с которыми работают другие русские постмодернисты, от Т. Толстой до В. Шарова. Совершенно очевидно, что главным контекстом для этой эстетики является соцреализм — именно вживаясь в соцреализм, концептуалисты уже гораздо позднее приходят к игре с любой политизированной мифологией, любой авторитарной идеей (хотя, как правило, даже самая отвлеченная идея отмечена у этих авторов четкой печатью «совковости» — см., например, цикл «Москва и москвичи» Д.А. Пригова).

Существует несколько подходов к пониманию семантики соц-артистской игры с соцреалистическими мифами и языками, структурами и мотивами. М. Эпштейн, раньше других заговоривший о соц-арте (концептуализме), предлагал в общем-то глубоко авангардистскую интерпретацию. По его мнению, концептуализм, используя прием, противоположный «остранению» — автоматизацию восприятия; сознательно клишируя целые мировоззрения, он нацелен на эффект, сходный с «апофатической теодицеей»: “Унижение, опошление смысла — способ указать на иную, молчащую реальность, для которой нет и не может быть слов <...> Концептуализм облакает отрицание в такие ветхие лохмотья пошлости и бессмыслицы, что оно само отрицает себя. Нигилизм утверждает отрицание. Концептуализм отрицает утверждение” (разрядка автора)\*. Соц-арт в этой интерпретации предстает всего лишь одним из вариантов концептуализма как последнего авангардного течения — отличающимся лишь тем, что из всех идеологий соц-арт выбирает игру с соцреалистической идеологией.

Борис Гройс, рассматривающий соцреализм как крайнее выражение авангардистского утопизма, напротив, видит в соц-арте не продолжение авангардистского импульса, а скорее, его «снятие». Так, например, разбирая поэтику Комара и Меламида, критик доказывает, что они не только не «разоблачают» сталинский миф, а «ремифологизируют» его, проникая через соцреалистические структуры в «советское бессознательное», где советские мифы попадают в ассоциативную сеть, соединяющую их с другими мифологиями. «Комар и Меламид, таким образом, понимают свой соц-арт не просто как пародию на соцреализм, а скорее как открытие внутри самих себя универсального элемента, коллективного компонента, объединяющего их с другими; амальгаму индивидуальной и мировой истории <...> Используя приемы сталинской идеологической обработки, они пытаются продемонстрировать сходство соцреалистического мифа с мифами прошлого и настоящего с тем, чтобы реконструировать единую мифологическую цепь, в которой функционирует современное сознание».\*\* Авангарди-

---

\*Эпштейн М. Искусство авангарда и религиозное сознание. — Новый мир, 1989, № 12 — С. 230.

\*\*Groys B. The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond. Princeton: Princeton UP, 1992, P. 93, 95.

стская претензия на выражение невыразимого, на осуществление утопического проекта, преодоление власти традиции оборачивается возвращением самого авангардистского проекта в контекст мировых мифологий и вечных архетипов, то есть максимально традиционных традиций. Результатом этого поворота становится, по Гройсу, «достижение состояния индифферентности в отношении того, является ли мышление индивидуума стопроцентно манипулируемым <...> или нет, является ли оно аутентичным или нет, существует ли отличие симулякра от реальности или нет, и так далее» (110) — это состояние он и определяет как «постутопическое».

Иную концепцию высказывает Евгений Добренко, предлагающий понять соц-арт как искусственную мифологизацию соцреалистического мифа — некое обнажение приема, освобождающее сознание от власти первичного мифа, позволяющее увидеть в нем всего лишь язык, не универсальное и монопольное воплощение истины, а одну из многих знаковых систем: «снятие второго — мифо-смысла — возможно лишь путем мифологизации самого мифа <...> другая культура покусилась не только и, может быть, не столько на мифы и миражи, сколько на саму мифопорождающую систему»\*. Вячеслав Курицын, споря с Добренко, доказывает, что «соц-арт не производит новый миф <...> а обнаруживает, что стояло за знаком, до знака: конкретно — он обнаруживает схемы мышления, модели мироздания, матрицы бытия, о которых мы не могли здраво судить «изнутри» соцреализма; соц-арт, оставаясь в процессе, сам являясь процессом осуществления этих схем и моделей, одновременно смотрит на них со стороны, обнажает их механизм»\*\*. По мысли критика, соц-арт определяется двойной модальностью — «есть тот, кто говорит текст “из текста”, и тот, кто наблюдает за этим со стороны, пишет текст “снаружи”» — что определяет важнейший эстетический эффект соц-арта: «кайф о-своения чужого, иного <...> преодоление, снятие самой категории инакости» (83—84).

Сам этот разброс мнений весьма показателен: при расхождении в интерпретации семантики соц-арта (апофатическое утверждение невыразимого абсолюта или достижение состояния постутопической индифферентности, освобождение от власти идеологии или кайф от о-своения чужого, иного сознания) все критики сходятся в том, что, определяя соц-арт, оперируя *одновременно* категориями мифологической теории и формалистической концепции искусства как приема. Оба эти дискурса прочно связаны с авангардистской и, шире, модернистической эстетикой. Но — по отдельности. Их сочетание и взаимное освещение, по-видимому, специфичны для собственно постмодернистской игровой стратегии.

\*Добренко Е. Преодоление идеологии. Волга. 1990. № 11. С. 181, 183.

\*\*Курицын В. Очарование нейтрализации. // Курицын В. Книга о постмодернизме. Екатеринбург, 1992. с. 80.

Причем использование именно этих категорий по отношению к соц-арту кажется вполне правомерным. Ведь соц-арт действительно работает именно с приемами соцреализма, разыгрывая их скрытую семантику, которая носит явственно мифологичный характер. Однако на фоне других типов игры с культурными мифологиями, о которых у нас шла речь выше, соц-арт прежде всего выделяется тем, что он работает с мифологией, изначально обладающей *двойной* семантикой. И Комар с Меламидом, и Кабаков, и Пригов, и Рубинштейн, и Сорокин, и Попов, и многие другие авторы, близкие к этому течению, — принадлежат к поколению(ям), психологически и культурно сформировавшимся после поражения оттепели — в атмосфере тотальной делигитимации соцреалистического дискурса. Поэтому для них соцреализм не является объектом опровержения, как у шестидесятников: они с самого начала, еще до момента творчества, воспринимают соцреализм не только в его прямом, легитимном, значении как эстетический код «идеологии у власти», но и в его делигитимизированном обличье — как особого рода *мир абсурда*. «Соц-арт не крушит абстракции. Он получает их уже в виде руин», — замечает Е.Добренко\*. И потому попытка говорить на языке соцреализма — здесь означает принципиальную установку на диалог с абсурдом, диалог с хаосом.

Показательно, как концептуалист Пригов именно через соотношение хаоса и культуры описывает поэтику концептуалистской прозы Владимира Сорокина (учитывая программный характер всех без исключения нестихотворных заявлений Пригова, и это его послесловие к книге Сорокина может быть также понято как один из манифестов концептуализма):

*«Говоря о Сорокине, я не могу не коснуться Чехова Антона Павловича.*

*Именно в его творчестве вся эта пленка милых, деликатных и трогательных отношений пытается накрыть, затянуть жуткий подкожный хаос (с точки зрения Чехова — жуткий и разрушительный), стремящийся вылезть наружу и дыхнуть, смыть своим дыханием тонкую, смиренную пленку культуры <...> Не задаваясь культурно-историческими и художественно-ценностными параметрами подобных культурных пленок, но лишь фактом явления их перед взором художника, заметим, что пленка, с которой имеет дело Сорокин, весьма отличается от Чеховской не только конкретно-историческими реалиями, но принципиально — своей интенцией. То есть она уже не пытается покрыть собой хаос, но приблизиться к человеку и пытается обволочь его, даже больше — пытается стать им самим, его образом мышления и чувствования. Приблизившись к человеку, она тем самым приблизила к нему вплотную и хаос <...> Сорокин избирает <...> позицию осознания и созерцания пленки и хаоса как совместно живущих...»\*\**

\*Добренко Е. Указ. соч. — С. 183.

\*\*Пригов Д. А им казалось: в Москву! в Москву! // Сорокин В. Рассказы. М. Русслит, 1992. — С. 117. (Далее ссылки на это издание — в скобках в основном тексте.)

Конечно, ссылки на Чехова звучат достаточно сомнительно — в равной степени здесь может быть подставлено имя любого писателя традиционной культурной парадигмы — но очевидно, что именно в контексте соцреализма эстетическое отождествление культуры («пленки») и хаоса, — приобретает эксплицитное выражение: то, что было философской гипотезой в метапрозе 20—30-х годов (Вагинов, Мандельштам, Кржижановский, Хармс), то сознание, что спонтанно рождалось в процессе художественной игры в «Пушкинском доме» Битова, «Москве-Петушках» Вен. Ерофеева, «Школе для дураков» Соколова — теперь приобретает значение миропонимания, предопределяющего *замысел, первоначальную интенцию* творческого акта.

Проза Сорокина с этой точки зрения эксплицитна вдвойне: ведь он не только нисколько не скрывает, но, наоборот, выпячивает, обнажает, повторяя в каждом новом тексте, саму систему приемов этого диалога с хаосом.

## 1

И сразу же бросается в глаза четкая двойственность, двуплановость самой конструкции текстов Сорокина. Редко кто, писавший о Сорокине, не отмечал его резких переходов из соцреалистической гладкописи в сугубый гиньоль, кровавый и тошнотворный, или, другой вариант, в поток бессмыслицы, просто набор букв. Связаны ли между собой, и если да, то каким образом, двуплановость конструкции соц-артистического повествования и двойная семантика мифа, с которым это повествование работает?

Рассмотрим этот эффект на примере рассказов Сорокина. Интересно, что далеко не все из них используют собственно соцреалистические формы — но зато вполне универсальным является принцип сочетания абсолютно несовместимых стилевых пластов — скажем, блатной «фени» и книжной цветистости («Памятник»), бреда в стилистике квазинародного языка «деревенской прозы» и стихотворных упражнений в символистическом духе («Соревнование»), заведомо эпигонского подражания стилю Бунина, перебиваемого почему-то интонациями аксеновского «Острова Крыма» (отмечено М. Каневской), в сочетании со «школьной повестью», внезапно переходящей в кафкианский эпизод, отчетливо напоминающий о новелле «В исправительной колонии», который в свою очередь сменяется исповедью и фрейдистским самоанализом детских переживаний повествователя («Дорожное происшествие»)...

Рассказы, лишенные внятного соцреалистического элемента, между тем самые слабые в сборнике Сорокина. Чаще всего, они выглядят как подражание сюрреалистическому «автоматическому письму» — переходы от одного стиля к другому максимально произвольны, автор, кажется, демонстрирует полную свободу повество-

вательного потока, его непринадлежность ни к одному из возможных дискурсов в сочетании с умелым манипулированием каждым из них. Но свобода достается слишком легко, поскольку не оплачивается никаким «сопротивлением материала». Как признается сам Сорокин, для него важна мысль Фуко о тоталитарности любого дискурса, так как любой дискурс «претендует на власть над человеком <...> Он гипнотизирует, а иногда — просто парализует» (121). Обращение к соцреалистическому дискурсу таким образом продиктовано предельным усложнением задачи высвобождения от власти дискурса: во-первых, властная — в буквальном, политико-идеологическом смысле, — семантика соцреалистического стиля еще абсолютно свежа и актуальна, еще не ушла в область культурного предания, еще легко оживает в сознании; во-вторых же, в русской культуре нет другого такого стиля, который по самой своей природе в таком чистом, рафинированном, виде представлял бы собой совокупность концептов тоталитарной власти\*.

Это предположение подтверждается, в частности, тем, что в соцартистских рассказах Сорокина наиболее часто повторяется коллизия, так или иначе разворачивающая отношения учителя (наставника, старшего товарища, руководителя) и ученика (новичка, младшего продолжателя дела). Эта коллизия, реализующая мотив собственно *дискурсивной*, а не политической, не физической, сексуальной, или какой-либо другой власти — лежит в основе таких ярких рассказов, как «Сергей Андреевич», «Свободный урок», «Поминальное слово», «Первый субботник», а также, хоть и не так очевидно, но достаточно внятно звучит в таких, как «Проездом», «Открытие сезона», «Геологи», «Желудевая ладь» (это половина всего сборника Сорокина). Примечательно, что именно эта коллизия непосредственно связана с одним из центральных мифов соцреалистической культуры.

Катерина Кларк показала, что в основе «прототипического сюжета» соцреализма лежат трансформированные структуры переходных, посвятительных мифов и прежде всего мифов (и соответствующих ритуалов) инициации:

*«Сталинский роман обычно изображает современные институты и иерархии, но мотивировки, приводящие все конфликты к их разрешению, восходят к традиционному миру. В этом свете можно понять основные сюжетные элементы типичного соцреалистического романа. Герой сознательно стремится к цели, которая включает в себя социальную интеграцию и коллективность в гораздо большей степени, нежели индивидуальное самоосуществление самого героя <...> Герою в его поиске помогает более старый и более «сознательный» персонаж, который ранее уже успешно проделал такой же поиск <...> Кульминацией романа становится сцена, знаменующая момент перехода как*

---

\*Интерпретация соцреализма как дискурсивной «метафоры власти» подробно обосновывается в исследовании Е. Добренко о литературе сталинской эпохи. См.: Добренко Е.А. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении, Munchen, Verlag Otto Sagner, 1993.

таковой, обряд инкорпорации. Старший осуществляет и представляет свой собственный статус племенного старшинства по отношению к посвящаемому. Как правило, старший будет давать посвящаемому некоторые советы и «инструкции». С этого момента, собственно, начинается ритуал посвящения (incorporation), старший часто вручает неофиту какие-то предметы или символы принадлежности к «племеню» — например, знамя, значок, или партбилет. В других случаях эти двое могут быть связаны во времени через прикосновение к одному и тому же объекту (как когда Петр дотрагивается до гроба Лефорты в «Петре Первом» А. Толстого)\*.

Как Сорокин трансформирует эту мифологию? К примеру, рассказ «Сергей Андреевич» достаточно четко ориентирован на эту ритуально-мифологическую модель в ее соцреалистическом опосредовании. Выпускники школы в последний раз идут в поход вместе со своим учителем. Ситуация похода в сочетании с окончанием школы соответствует первой фазе инициации — отделению неофита от прежнего, знакомого ему окружения. В центре — собственно «переход», материализованный в системе наставлений Учителя ученикам. Наставления эти обозначают стандартную для соцреализма иерархию ценностей. Стандартность подчеркивается и стертым, абсолютно лишенным какой-либо индивидуальности повествовательным стилем (Сорокин, кстати, говорит о своей ориентации на соцреализм «среднего уровня», из «какого-нибудь калужского издательства»):

— «Да ребята, лес — это удивительное явление природы. Восьмое чудо света, как Мамин-Сибиряк сказал. Лес никогда не может надоесть, никогда не наскучит. А сколько богатств в лесу! Кислород, древесина, целлюлоза» (50).

— «Ну, что ж, Витя, техника безусловно дала человеку очень многое. Но, мне кажется, главное, чтобы она не заслонила самого человека, не вытеснила его на задний план» (51).

— Девочка-отличница сообщает, что вместо института пойдет на «фабрику простой ткачихой. Чтобы по-настоящему почувствовать производство <...> Тогда мне и учиться будет легче будет и жизнь побольше узнаю. У нас в семье все женщины — потомственные ткачихи» (54). Учитель «понимающе посмотрел Лебедевой в глаза: — Молодец. В институте ты будешь учиться еще лучше. А год на фабрике — это очень полезно. Я тоже в свое время, прежде чем в МГУ поступить, год проработал простым лаборантом в обсерватории. Зато потом на практических занятиях ориентировался лучше других» (54).

— На восторженное признание любимого ученика, называющего учителя «великим человеком», Сергей Андреевич в соответствии с этикетом скромно отвечает: «Великих людей, Миша, очень мало. Я же не великий человек, а простой учитель средней школы. Если я тебе действительно в чем-то помог — я очень доволен. Спасибо тебе за теплые слова» (56).

---

\*Clark, K. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago and London: The U of Chicago P, 1981. — P. 167, 172—173.

Здесь четко заданы онтологические (природа — техника — человек), социальные (школа — институт — фабрика) и индивидуальные (величие простого человека) ориентиры соцреалистического дискурса. Одновременно проводится «испытание магического знания», также неотъемлемое от ритуала инициации. Испытание выглядит как простая проверка знаний о звездном небе — но в знаковой системе соцреализма звезды четко соответствуют высоте романтических устремлений. Показательно, что только один ученик, Миша, выдерживает это испытание. Как отмечает К. Кларк, в целях концентрации соцреалистического «поиска» «число персонажей, принимающих на себя каждую из функций <героя, ведущего поиск, и старшего помощника> сводится к минимальному. Обычно лишь двое выбираются среди всех положительных персонажей»\*. Кульминацией рассказа вполне логично становится завершающее «поиск» ритуальное приобщение:

*«Небольшая кучка мала <Учителя> лежала в траве, маслянисто поблескивая. Соколов <ученик> приблизил к ней свое лицо. От мала сильно пахло. Он взял одну из слипшихся колбасок. Она была теплой и мягкой. Он поцеловал ее и стал быстро есть, жадно откусывая, мажа губы и пальцы»(59).*

Структура протосюжета соцреалистического поиска осталась неизменной. Только знамя или партбилет заменены калом, который экстатически поедается прошедшим посвящение героем. Семантически эта замена не противоречит цели поиска: отказ от индивидуального ради коллективного — более того, именно самоуничтожение здесь максимально усилено. Сохранен и механизм «приобщения» — через тактильный контакт, передачу материального объекта из рук в руки. Главное же отличие состоит в смене кода: символический код вытесняется кодом натуралистическим, условные сигналы замещаются безусловными, «культура» — «природой» (или тем, что воспринимается как внекультура, дикость, арханка).

Симптоматично, что аналогичный ритуальный жест встречается в кульминациях других рассказов Сорокина. В рассказе «Проездом» обкомовский начальник (Учитель) испражняется на руки начальника райкомовского (ученик) в знак верховного одобрения макета альбома в честь 50-летия комбината, причем этот жест включен в контекст знаков дискурсивной власти (выступление перед подчиненными, резолюция — «по-партийному честный документ»). В рассказе «Геологи» решается проблема, как связаться с потерявшейся группой («инкорпорация») — в финале старый геолог («двадцать лет в партиях») предлагает «просто помучмарить фонку»(95): под ритуальные заклипания («Мысль, мысль, мысль, учкарное сопление») все геологи вытягивают ладони, «образуя из них подобие корыгца», а Иван Тимофеевич «сунул себе два пальца в рот, икнул, содрогаясь. Его быстро вырвало в корытце из ладоней» (96). В рассказе же, который так и называется

---

\*Ibidem, p. 168.

«Свободный урок», эротический контакт (на юридическом языке в США обозначаемый как *child molesting*) — в сущности, и составляет содержание урока, который Учительница дает ученику:

*«Чернышев потрогал ее набухшие половые губы.*

*— Потрогай еще... еще... что ты боишься... ты же не девочка... пионер все-таки» (90).*

Этот урок также окружен многочисленными знаками дискурсивной власти, типа «Ты, пионер, задрал юбку?! <...> Что, нет смелости сознаться? Будущий комсомолец! (85), «Стыдно, что ты не можешь сказать мне правду!» (86), «никогда не старайся узнать что-то нечестным путем. Это знание тебя только испортит» (87), «Не вр! Мы же на чистоту говорим! Хотел бы <посмотреть на женские гениталии>? По-пионерски! Честно! Хотел бы?!» (89), «честное партийное, никому не скажу! Честное партийное! Ты знаешь что это такое — честное партийное!» (89)

Целый каскад ритуальных жестов такого типа находим в одном из лучших текстов Сорокина — рассказе «Номинальное слово». Причем каждый из этих жестов обязательно нарушает первоначально созданные дискурсивные ожидания. Похороны, на которые приезжают герои («первые такты похоронного марша Шопена разнеслись по омытому дождем клалбишу» — 107), оборачиваются деловитым расстрелом на глазах у всех родственников и знакомых того, кого, собственно, и хоронят. При этом «прощаются» еще с живым человеком, а могильщиками называют команду расстрельщиков. В сущности, здесь происходит замена, по своему вектору противоположная той, что мы видели в «Сергее Андреевиче» и других рассказах Сорокина: естественная смерть подменяется смертью насильственной, недвусмысленно идентифицируемой как знак власти, принадлежащий к культурному миру соцреализма. Однако рама похоронного обряда — тоже, кстати, одного из «переходных» — оказывается достаточно эластичной, чтобы вместить в себя эту подмену, не претерпев никаких существенных изменений. Именно неизменность стиля, декорации, поведения, слов, реакций персонажей и оказывается в этом эпизоде наиболее эстетически выразительным элементом. Как известно, всякий обряд, ритуал есть форма воплощения мифологического порядка, включающего человека в некий универсальный масштаб. Здесь же вопиющее нарушение порядка — расстрел живого вместо захоронения покойника — вписано в ритуал, и следовательно, в предполагаемый мифологический порядок. Столкновение двух типов ритуалов: достаточно универсального и архаического (похороны), и отчетливо тоталитарного, и современного (расстрел) не вызывает противоречия на уровне дискурса. Его фиксирует только читатель.

Следующий этап — поминки, традиционно символизирующие возвращение к жизни (метафоры еды и питья) и воскресение покойника (помянуть). Первые два «поминальных слова», брата и сослуживца-

геофизика, задают инерцию традиционно соцреалистической интерпретации этих архетипов: покойник воскресает «настоящим бойцом, настоящим человеком» с «характером настоящего друга», который «жил всегда для других, заботился о других, а не о себе» (111—112). Третье же «слово», Сережи, нарушает эту инерцию уже тем, что представляет собой описание другого ритуала — инициации, причем покойник выступает в роли «старшего» («Он был великим человеком» — 112), проводящего ритуальные испытания, без которых не может состояться «взрослая» — женатая — жизнь неофита. Инициации здесь возвращен архаический смысл — как добывания право на супружество и половую активность. «Недостача», которую должен преодолеть неофит, носит подчеркнуто натуральный, природный характер: «недоразвитый половой член», из-за которого молодой герой «даже не мог как следует дефлорировать супругу» (113). Однако испытания, через которые под руководством наставника должен пройти Сережа, формулируются на языке акцентировано социальном — на уголовной фене — опять-таки непосредственно связанном с кодом власти, осуществляемой путем насилия: Сережа должен ПРИШМОТАТЬ ЧУВАКА и ПРОСИФОНИТЬ ЁРЗОХУ, то есть повесить ровесника и претерпеть изнасилование от наставника. Непонятность тайного языка и непроявленность внутренней логики этих испытаний очень существенно: оно как бы уравнивает читателя с неофитом.

Между тем эта логика проступает в контексте предыдущего эпизода: здесь точно так же архаический ритуал, структурирующий переход в следующую фазу природного порядка, непротиворечиво совмещается с социально-культурным кодом насилия. Посвящение в мужчину (ритуальные фразы наставника подчеркивают эту семантику испытаний: «молодчина, почти мужчина», «молодчина, теперь — мужчина!», 115) таким образом состоит в том, что неофит должен выступить в роли как палача, так и жертвы, тем самым восприняв обе стороны власти насилия. Палачи и жертва присутствовали уже в эпизоде «похорон» — но это соответствие тоже вписывается в мифологическую логику, поскольку инициация нередко представляет собой «временную смерть», после которой неофит как бы рождается заново. «Предметом» же, который посвящаемый принимает от наставника, — становится половой орган. Телесный контакт здесь опять-таки выступает как кульминация «посвящения».

Третьим и последним нарушением ожиданий, вместе с тем проявляющим глубинную логику дискурса, становится финал рассказа, одновременно венчающий два «перехода», инициацию и похоронный обряд:

*“...у нас с Олей действительно с тех пор все стало хорошо, все наладилось. То есть не в смысле секса и всего там, а просто... ну, все по-настоящему.. Вот. И вот, товарищи, прошло уже восемь лет, а мы вместе. Но главное — мой член после этого остался таким же, так что все дело не в этом, вот посмотрите...”*

*Сережа положил на стол бумажку, которую во время рассказа все время держал в руках, быстро расстегнул брюки, приспустил трусы и, приподняв рубашку, помаялся всем обнаженный пах, поросший редкими белыми волосами. Над крохотными яичками торчал его напрягшийся белый девятисантиметровый член толщиной с палец. На овальной розовой головке была вытатуирована буква Е.*

*Среди всеобщего молчания Сережа дрожащей рукой поднял свою рюмку с водкой и проговорил:*

*— Светлая память Вам, Николай Федорович Ермилов...*» (115)

Нарушается ожидание магического превращения в результате инициации. Натуральная «недостача» неустранена, но тем не менее «все наладилось» — гармония восстановлена. В то же время «напрягшийся девятисантиметровый член» — явная манифестация мифологической метафоры плодородия — с татуировкой инициала «наставника» на нем выступает как символическое возвращение к жизни, воскрешение покойника. Все эти мифологические символы вместе с тем откровенно травестируются медицинским натурализмом описания. Символическая «преемственность», «жизнь в памяти», «эстафета поколений» предстают в обескураживающей буквальности. То, что К. Кларк обозначает как «модальную шизофрению соцреализма», проявляющуюся в постоянных «неожиданных и немотивированных переходах от реалистического (миметического) дискурса к мифическому или утопическому»\* — у Сорокина превращается в абсолютную неразличимость кода мифологического и утрированно миметического, символического и буквального. В масштабе всего рассказа эта же неразличимость реализуется в категориях — порядка и его нарушений, «природного» и «культурного», вечного и социально-детерминированного, и даже: жизни и смерти. Но в конечном счете, в финальной сцене неразличимы оказываются гармония («все наладилось») и абсурд: сцена произнесения тоста за светлую память в спущенных штанах, с торчащим членом и с рюмкой водки в руках — пластически завершает абсурдность всего рассказа.

Причем натурализм финального описания как бы «прорывает» повествовательную ткань, нарушая дистанцию между читателем и персонажами рассказа. Если в первом эпизоде читатель замечает нарушение, не замечаемое персонажами, то в финале читатель и персонажи-слушатели находятся в равной позиции (характерно отсутствие в тексте какой-либо реакции персонажей на Сережину исповедь). Значение этой трансформации становится понятным в общей композиции рассказа: его три эпизода соответствуют трем стадиям посвятельного обряда, смерти (временной), испытаниям и воскрешению для новой жизни — но подлинным объектом и участником ритуала оказывается сам читатель, и это ему в финале «вручается» символ воскрешения — Сережин напрягшийся член.

\*Ibidem, p. 36.

Если же попытаться определить стратегию трансформаций соцреалистического дискурса в поэтике Сорокина, то окажется, что она соединяет в себе несколько противоречивых элементов. Во-первых, Сорокин выявляет имплицитный мифологизм соцреалистического дискурса, делает его «сюжетно и наглядно зримым», переводя скрытые механизмы, формирующие текст, в непосредственное изображение ритуальных акций. И здесь можно согласиться с Гройсом: Сорокин действительно ре-мифологизирует соцреализм, а вернее: *ре-ритуализирует* его, но не путем контакта с другими, древними и новейшими мифологиями. Сорокин апеллирует не к внешнему, а к внутреннему контексту соцреализма: вся мифологичность извлекается из структуры соцреалистической традиции: соцреализм как бы возвращается к своему структурному ядру. Во-вторых, при такой трансформации все дискурсивные элементы как бы разгоняются до своего максимума, при этом «культурное» переходит в «природное», и наоборот. В соответствии с этой логикой дискурсивная власть переводится во власть насильственную, телесную, сексуальную, причем образы, выражающие эту власть, неизменно вызывают непосредственную эмоциональную реакцию — чаще всего, отвращение. В-третьих, — и это пожалуй, самое важное — происходящая «деконструкция» не только просвечивает соцреалистические клише архаикой ритуала, но и наоборот, освещает миф соцреалистической семантикой. С одной стороны, ценности соцреалистического мироздания резко травестируются: поиск, нацеленный на социальную интеграцию, в буквальном смысле приводит к экскрементам, унижению, садистическому насилию. Но, с другой стороны, именно эти моменты, нарушающие миметическую инерцию соцреалистического дискурса, и знаменуют окончательный переход в измерение мифа. Обнажение абсурдности дискурса совпадает с торжеством мифологического порядка. Вот источник амбивалентности соцарта: отвратительное и абсурдное манифестирует здесь мифологическую гармонию, достигнутая гармония вызывает рвоту.

К этому состоянию точно подходит категория «пастиша», в том смысле, как ее понимает известный теоретик постмодернизма Фредрик Джеймсон: «Исчезновение индивидуального субъекта, вместе с его формальным рядом, возрастающая недоступность самобытного стиля порождает едва ли не универсальную для сегодняшнего дня практику, которая может быть названа пастишем <...> Пастиш, подобно пародии, является подражанием особенному или уникальному идиосинкратическому стилю, использованием лингвистической маски, говорением на мертвом языке. Но в отличие от пародии, пастиш делает такую мимирию нейтральной, лишая ее скрытых мотивов пародии, ампутируя сатирический импульс, избегая смеха и любого намека на то, что, помимо ненормального языка, который вы сейчас позаимствовали, какая бы то ни было лингвистическая нормальность все еще

существует. Пастиш таким образом — это опустошенная пародия, статуя со слепыми глазницами...»\*

## 2

«Модальная шизофрения» соцреализма — вот главный источник соц-арта: миметическое измерение переходит здесь в натуралистический пастиш, а утопический дискурс преобразуется в прямое моделирование ритуала. И если первый уровень связан с восприятием соцреализма как мира абсурда, то второй — как языка власти и порядка. Но главная специфика соц-арта и поэтики Сорокина, в частности состоит в том, что оба эти измерения, как и в соцреализме, существуют одновременно — и непрерывно немотивированно переходят одно в другое. Именно *момент перехода* и составляет главную художественную проблему соц-арта. Именно через этот переход и осуществляется взаимодействие моделей порядка и хаоса. Кроме того, этот элемент текста представляет собой микромодель ритуального «перехода», совершаемого в сюжете соцреализма, и, соответственно, соц-арта.

Сорокин знает множество вариантов такого перехода. Его книга «Норма» — своего рода «энциклопедия» приемов такого рода. Начинается она с цикла новелл, представляющих собой, как обычно у Сорокина, стилизацию — в данном случае, под средней руки городскую прозу (в диапазоне от Гранина до «сорокалетних»). Во всех этих новеллах, как правило, в качестве детали повествования присутствует некая «норма», которую персонажи, кто охотно, кто нехотя, съедают. Постепенно выясняется, что «норма» — это брикетированные детские экскременты, поедание которых является обязанностью советского человека. Единообразие повествования ни в одной из новелл не нарушается — слово «норма» не выпадает из дискурса городской прозы. Взрыв дискурса происходит в контексте всех новелл в целом — фиксируемый читателем, но не персонажами. В принципе, в основе этого приема лежит материализация не высказанной прямо речевой метафоры («говна нажраться»): у Сорокина она приобретает значение патологичного ритуала, на котором держится единство советского общества — принятый и соблюдаемый *социальный порядок*.

Материализация метафоры происходит и в замыкающем «Норму» цикле новелл: здесь сами персонажи в своих поступках буквализируют цитаты из соцреалистических текстов, чаще всего популярных песен и стихов. Причем в этих случаях непременно происходит смена стилистики, хотя и сохраняется единство дискурса. Так, скажем, стилистика детского соцреализма переходит в стилистику советского официоза (в его «газетном» и полицейском вариантах):

---

\*Jameson F. Postmodernism, or the Cultural Logic of the Late Capitalism. Durham: Duke UP, 1991. — P. 16, 17.

«— Золотые руки у парнишки, что живет в квартире номер пять, товарищ полковник, — докладывал, листая дело № 2541/128, загорелый лейтенант. — К мастеру приходят понаслышке сделать ключ, кофейник запаять.

— Золотые руки все в мозолях? — спросил полковник, закуривая.

— Так точно. В ссадинах и пятнах от чернил. Глобус он вчера подклеил в школе, радио соседке починил <...> Мать руками этими гордится, товарищ полковник, хоть всего парнишке десять лет...

Полковник усмехнулся:

— Как же ей, гниде бухаринской, не гордиться. Такого последыша себе выкормила...

Через четыре дня переплавленные руки парнишки из квартиры № 5, пошли на покупку поворотного устройства, изготовленного на филиале фордовского завода в Голландии и предназначенного для регулировки часовых положений ленинской головы у восьмидесятиметровой скульптуры Дворца Советов\*.

Конечно, это самые простые формы перехода. Они совершаются в пределах одного — соцреалистического — дискурса, демонстрируя его почти беспредельную «эластичность», делая зримыми его внутренние противоречия. Сорокин как бы сталкивает разные возможности дискурса, неизменно вызывая этим эффект абсурдности. А так как этот переход совершается в пределах одного и того же дискурса, то его центральная семантика может быть определена как преобразование *власти дискурса во власть абсурда*. Сорокин достаточно изобретателен, чтобы распространить этот прием и на другие, не только соцреалистические типы дискурса — абсурдность обнаруживается и в оппозиционном соцреализму «диссидентском» дискурсе («Тридцатая любовь Марины»), и в классических традициях (квазитургеневский роман «Роман»). В принципе несложно себе представить сорокинскую интерпретацию Библии или «Божественной комедии»: ведь для него любой авторитетный дискурс потенциально абсурден, ибо абсурдна сама установка на власть над сознанием.

Этот тип перехода может существовать у Сорокина отдельно, сам по себе, но может и служить первой ступенью другого, более сложного типа перехода: от одного дискурса к другому. При этом важно подчеркнуть, что этот случай, может быть, наиболее полно описывается понятием «деконструкция»: иной дискурс обнаруживается *внутри*, а не *вовне* соцреалистического контекста. Тут срабатывает некая «поэтика допроса» (термин Э. Неймана и Э. Несбит) — пойманный на абсурдных противоречиях, дискурс выбалтывает свою «тайное тайных» — признается в неравенстве самому себе.

Таким образом, например, в пятой части «Нормы» разыгрывается стилистика «деревенской прозы». Письма деревенского родственника в город поначалу представляют собой «пантеистическое» повествова-

---

\*Сорокин, Владимир. Норма. М.: Obscuri Viri и изд-во «Три кита», 1994, с. 224—225. Сноски на это издание даются в скобках после цитаты.

ние о ежегодных заботах о подгнившем сарайчике, грядках и т.п. Но постепенно те же, что и в начале, мотивы «перестраиваются» в поток брани по поводу городских родственников и владельца участка, которому эти письма, собственно, и адресованы. Матерная брань в свою очередь быстро переходит в заузное камлание, бессвязный набор букв: «Нет уж мы тоже орать чтобы не кулаки и я не гадить на вот и все. Я хуесор чтобы срал а я ебал тебя чтобы ты не паши а мы гады ебал вас. Я тебя ебал гад <...> Я тега егал сдаты мого. Я тога мого ега тега. Я тега могол тага мого. Я гега мого еда модо и т.д.» (181) Мат, исключенный из языкового диапазона соцреализма, у Сорокина приобретает значение абсурдного языка, более адекватного безграмотной «пантеистической идилии», чем традиционные формы стилистики «деревенской прозы». Не случайно мат возникает в самых идеологически насыщенных местах, оформляя образ врага — горожанина:

*«Я срать на себя не позволю я всех вас ебом переубу чтобы вы не оралли больше. Я общественность растревожу и дом вы не получите, потому что кулаков надо раскулачивать. Потому как вы сами не работаете а меня эксплуатируете вот как. А за это вас уничтожат как класс. Вы вредный элемент вы анекдотики хуетики загинаете а сами вон как бы ученый и все. А вы не ученый вы хуеный вот вы кто. И дом иметь вы права не имеете потому что вы не ученый а хуй дрянный. Таких ученых надо раскулачивать и показывать всем чтоб так больше не было! Вы не ученый а говно вот вы кто. Я такой же ученый и не вам учить меня как жить надо. Я почище вашего жизнь знаю» (179).*

Но главное, мат, осмысленный как воплощение скрытой абсурдности «деревенского» дискурса, становится здесь мостиком в область бессознательного: агрессии уже не выразимой средствами слова. Вместе с тем обобщенность «развинчиваемой» стилистики позволяет говорить не об индивидуальном, а о коллективном-бессознательном, впрочем, в отличие от юнговского коллективного-бессознательного, не описываемого в категориях архетипов, а представляющего собой материю хаотической бессмыслицы.

Примером перехода такого же рода становится третья часть «Нормы». Псевдобунинская новелла о возвращении аристократа в родные места перебивается матерной фразой повествователя («Ну это просто я случайно. Вырвалось <...> знаешь, разные там хлопоты, денег нет, жена, дети», — оправдывается сочинитель), а завершается новелла «поэтическим» описанием мастурбации героя, узнавшего о своем прямом родстве с Тютчевым и по-своему доказывающим, что «умом Россию не понять»: «...когда горячее семя Анто́на хлынуло в Русскую Землю, над ним ожил колокол заброшенной церкви. Вот» (121). Уже этот текст строится диалогически: «совковое» сознание пытается говорить на чуждом ему языке — отсюда срывы и абсурдные неувязки. Но Сорокин еще более усложняет конструкцию, предлагая другой вариант текста, в котором персонаж вместо письма Тютчева откапывает повесть «Падеж», помеченную 1948 годом. Мало того, что этот текст, ориентированный на соцреалистическую модель, вступает в такое противоре-

чие с квазибунинской ностальгией по прошлому, что в результате герой закапывает (вместе с сочинителем и слушателем-советчиком) рукопись обратно в землю. Кроме того, сам «Падёж» представляет собой достаточно сложную форму перехода от одного дискурса к другому.

Во-первых, центральный эпизод повести построен как переход внутри одного и того же дискурса: выясняется, что падеж скота, случившийся в колхозе, касается «вредителей», содержащихся в скотском состоянии. Натуралистическое описание трупов сочетается с бюрократической по стилистике «объективной» о каждом из них, по памяти приводимой председателем колхоза:

*«— Ростовцев Николай Львович, тридцать семь лет, сын нераскаившегося вредителя, внук эмигранта, правнук уездного врача, да врача... поступил два года назад из Малоярославского госплемзавода.*

*— Родственники! — Кедрин снова треснул по двери.*

*— Сестра — Ростовцева Ирина Львовна использована в качестве живого удобрения при посадке Парка Славы в городе Горьком» (137).*

Саморазоблачение дискурса в данном случае усиливается натуралистическим описанием, напоминающем о поэтике рассказов, — взгляд изнутри соцреализма совмещается с взглядом извне.

Во-вторых, сюжет повести строится как диалогический перифраз канонической модели соцреалистического повествования. «Старшие наставники», секретарь райкома и начальник ГБ, оборачиваются «трикстерами», «бесами», последовательно разрушающими все колхозное хозяйство\*. При этом внутри повести присутствует образная модель соцреалистического канона в целом: реальная деревня дублируется ее идеальным планом, макетом, кропотливо сделанным нерадивым председателем, и все то, что в «реальности» гниет и разрушается, на макете сияет новизной: это, в сущности, буквальное воплощение «модальной шизофрении» соцреализма. В классическом соцреализме утопическая программа в конечном счете сходится с «реальностью». Того же эффекта добиваются и персонажи «Падёжа»: только они решают уравнение не путем созидания нового порядка, а путем разрушения старого. Сжигая все на своем пути, они тщательно дублируют операцию на плане. Когда все, что возможно, уничтожено и единство «плана» и «реальности» достигнуто — изменяется стилистика текста и вместе с ней происходит переход в координаты другого дискурса. Последние страницы повести строятся как разговор корифея с хором, жреца с народом — при этом каждая из сторон произносит и повторяет фразы, в которых прямое значение полностью замешено символическим. В соответствии с этой, мифологической, логикой, бензин, выплеснутый из ведра с надписью «вода», на грязного и избитого председателя, это и есть вода, которой поят «скот»:

---

\*Бесовские и «трикстерские» черты персонажей «Падёжа» анализируются В. Потаповым в статье «Бегущие от дыма: соц-арт как зеркало и последняя стадия соцреализма». См.: Волга, 1991, № 9. — С. 29—34.

«— Что написано на ведре?

— Водаааа!

— Вода — горит?

— Нееееет!

— Кого поили из этого ведра?

— Скооооот!

— Скот — это засранные и опухшие?

— Даааа!

— Вода — горит?

— Нееееет!

— Этог. — секретарь ткнул пальцем в сторону Тищенко, — засранный?

— Даааа!

— Опухший?

— Даааа!

— Кого поили из ведра?

— Скооооот!

— Скот — это засранные и опухшие?

— Даааа!

— Вода — горит?

— Нееееет! <...>

— Кого поили из ведра?

— Скооооот!

— Значит — этого?

— Даааааа! <...>

— Поить?

— Поиинить!

— Да?

— Дааааа!

Секретарь подхватил ведро и выплеснул на председателя горящий бензин. Вмиг Тищенко оброс клубящимся пламенем, закричал, бросился с фундамента, рванулся сквозь поспешно расступившуюся толпу.

Ветер разметал пламя, вытянул его порывистым шлейфом.

С невероятной быстротой объятый пламенем председатель пересек вспаханное футбольное поле, мелькнул между развалившимися избами и полегшими ракитами и скрылся за пригорком» (146).

Диалогические отношения в этой повести, вместе с тем, не сводятся к простому «переворачиванию» соцреалистического протосюжета. В сущности, перед нами опять-таки переходный ритуал — только не индивидуальный, а социальный: обновление жизни оплачивается жертвоприношением «старого царя». Объятый пламенем председатель не случайно растворяется в пейзаже колхоза, уже сожженного до тла: так происходит его «социальная интеграция». Более того, разрушительная активность «наставников» также объясняется спецификой переходного обряда. В традиционном переходном обряде, — отмечает М. Элиаде, — происходит «символическое возвращение в Хаос. Для того чтобы быть созданным заново, старое сначала должно быть уничтожено»\*. К. Кларк, комментируя это положение, доказывает, что в традицион-

---

\*Eliade M. Birth and Rebirth: The Religious Meaning of Initiation in Human Culture. Transl. Willard R. Trask. New York: Harper and Row, 1958. — P. XII.

ном соцреалистическом романе «большинство тяжелых испытаний представляли символическую встречу с «хаосом» <...> Испытания включали в себя не только страдание, но трансценденцию страдания <...> Только проходя через физический хаос, герой мог обрести физический стазис»\*.

Сорокин всего лишь переосмысливает «трансценденцию страдания». У него именно стадия хаоса соответствует «новому порядку», «физическому стазису». Финал повести воплощает финальную стадию ритуала. Дальше ничего не будет, потому что ничего уже нет. Качество «нового порядка», установленного посредством ритуала, в сущности лишь эксплицитно выявляет имплицитно сокрытое в «старом порядке»: соцреалистический мир с мертвым скотом, гнилыми постройками, колоколом без языка — и аккуратным планом, ассоциативно соотносимый с мифологией «Поднятой целины» — уже основан на принципах абсурда. Хаос — это лишь развертывание абсурда. Абсурд возникает в результате регулярных противоречий внутри дискурса. Хаос свидетельствует о тотальном взаимоуничтожении этих элементов. Переход к другому, а именно, ритуальному, дискурсу, — возникает в результате аннигиляционной пустоты, возникающей на месте соцреалистического мира.

На той же структурной основе построены и многие другие тексты Сорокина, в частности его роман «Сердца четырех». Думается, прав А. Генис, считающий, что в этом романе «Сорокин подвергает деконструкции лежащую в основе жанра <производственного романа соцреализма> оппозицию Человек / Машина, показывая ложность как авангардной, так и соцреалистической интерпретации. В сорокинском мире вообще не различается одушевленная и неодушевленная материя. В книге ведутся интенсивные производственные процессы, объектами которых в равной мере могут быть и люди, и машины. Поэтому текст можно считать как садистским, если считать, что речь идет о живом, так и комическим, если считать героев неживыми. Герои Сорокина — “немашины” и “нелюди” <...> В финале книги непонятный технологический процесс, превращающий тела героев в “спрессованные кубики и замороженные сердца”, как бы замыкается на самом себе. Производство, описанию которого посвящен весь роман, ничего не производит. Оно существует без всякой дополнительной, внешней цели и как раз в этом неотлично от жизни»\*\*. Вместе с тем, в этом романе можно увидеть и «натурализацию» соцреалистической мифологии «большой семьи». С одной стороны, четыре главных героя романа — мужчина, молодая женщина, старик и мальчик — образуют некое подобие семьи, с «семейным» разделением ролей. Но, как и в соцреализ-

\*Clark, K. The Soviet Novel: History as Ritual. — P. 178. 185.

\*\*Генис, А. Постмодернизм и соцреализм: От А. Синявского до В. Сорокина. — Неопубл. рук. — С. 14—15.

ме, социальная семья формируется на основе «общего дела», нередко противостоящего собственно родственным отношениям. Вот почему у Сорокина необходимыми элементами «испытаний», ведущих к успеху «общего дела», становится убийство и расчленение родителей Сережи (причем головка члена отца, которую «четверо», включая и Сережу, передают друг другу изо рта в рот, выполняет функцию вещественного символа инкорпорации) и перемалывание на мясорубке матери Реброва («жидкая мать»). По логике соцреализма, «большая семья» неизменно увеличивается в размерах, из метафоры общества превращаясь в его метонимию. То же происходит и в романе Сорокина, но с важным уточнением: «семейные связи» создаются с помощью убийства, насилия, сексуальных перверсий, издевательств, поедания экскрементов и т.п. Такие сцены, как «клеимление» старика Штаубе Ребровым и Ольгой по доносу Сережи и унижительные пытки, через которые проходит где-то в военном бункере Ольга (как и многие другие сходные эпизоды), родственны — издевательство лишь укрепляет семейное доверие. Характерно также, что финальные сцены романа, состоящие из уже совершенно неясной по своей цели лавины убийств и пыток, венчаются тем, что в промежности замученной до смерти женщины показывается голова ребенка. И хотя смысл «общего дела» на протяжении всего романа остается совершенно загадочным — трансцендентным жизни, непостижимым в принципе — его финал предопределен принципом разрастания «большой семьи» принципом соединяющим случайность составных элементов (в семью может войти любой встречный) с обязательностью насилия, а в пределе — убийства в качестве необходимого условия семейной связи:

*«Граненые стержни вошли в их <четверых> головы, плечи, животы и ноги. Завращались резцы, опустились пневмобатарен, потек жидкий фреон, головки прессов накрыли станины. Через 28 минут сирессованные в кубики и замороженные сердца четырех провалились в роллер, где были маркированы по принципу игральных костей. Через 3 минуты роллер выбросил их на ледяное поле, залитое жидкой матерью. Сердца четырех остановились:*

*6, 2, 5, 5»\**

Это не просто технологический процесс — это миг полного поглощения человеческого тела веществом судьбы. Все время гадая о вероятности тех или иных событий с помощью таинственной «раскладки» — герои в конце концов обретают максимально возможное единство с судьбой, их сердца превращаются в игральные кости. Ритуализация и натурализация соцреалистической мифологии здесь опять-таки приводит к эффекту *отвратительной гармонии с мирозданием*, не меньше.

Аналогичным образом в пьесе «Доверие» синтаксис стандартной производственной пьесы, слегка подновленной атрибутами «перестройки», заполняется словосочетаниями, произносимыми как общеизвест-

\*Сорокин, Владимир. «Сердца четырех». // Конец века. Вып. 5. М., 1994, с. 116.

тные идиомы, но при этом совершенно заумными: «Тамара Сергеевна: А ты чувствуешь это доверие? Павленко: Чувствую, как родовые прутья, как серную жесь. Мне это доверие — как ребристость. Я, может, и свишу в угол только потому, что доверяют. Знаешь, Томка, когда тебе доверяют по-настоящему — это... это как слонное большинство. Когда за спиной сиреневые насечки — тогда и линии друг на дружке. Вот ради этого я и работаю», — делится с женой прогрессивный парторг. А вот речь честной начальницы ОТК (госприемки!) на экстренном партсобрании по поводу срочной перестройки: «Теперь же, когда врать самим себе уж некуда — бак с ребенком весь в молоке, как рабочие говорят, — теперь понятно, почему мы ногги, и почему по нам можно натягивать! И я говорю это не потому, что я ем землю, ем, там, разный брошевый отлив, а потому что хватит нам в конце концов, покрывать собственую разболтанность, хватит заниматься очковтирательством и лисами»\*. В производственной драме всегда колоссальную нагрузку несли именно речи персонажей — через них проговаривались новые идеологические установки. У Сорокина самодостаточным оказывается сам, бессмысленный по существу, акт говорения. Ритуальность этого говорения подчеркивается тем, что на заводе производят православные кресты, кульминационное партсобрание, проходящее в цехе, постепенно заглушается гулом вращающегося вокруг собственной оси огромного креста: «Крест вращается так быстро, что его контуры трудно различимы. Аплодисменты, голоса ораторов — все тонет в монотонном глухом гуле. Сан Саныч говорит или, вернее, кричит что-то, энергично жестикулируя <...> Потом долго выступает Павленко» (116).

А в «Очереди» линейная структура социального порядка, графически переданная столбиками текста, состоящего только из реплик многочисленных «очередников», оказывается лишенной определенной цели — то, за чем стоят абсолютно неопределенно, очертания цели все время расплываются (то это джинсы, то мебель, то сапоги, то все вместе). Зато само это бессмысленное и бесцельное стояние для героя оказывается актом инициации, завершающимся случайной встречей с «волшебницей», которая наутро после проведенной с ней ночи обещает отвести юного героя прямо на склад за товаром. Вожделенный товар, конечно, адекватен символическому объекту, прикосновение к которому означает «социальную интеграцию героя». Но поиск героя одновременно и подчинен логике ритуала, и обесценивает ритуальный порядок очереди: он стоит в очереди, чтобы получить нечто без очереди. В сущности, процесс мифологического по своей структуре поиска и его результат взаимно опровергают друг друга, аннигилируются — хотя при этом и не нарушают единство ритуального сюжета

\*Сорокин В. Доверие: пьеса в пяти актах. // Язык и действие. М.: Лит.-изд. агентство Р. Элинина, 1991. — С. 105, 113.

инициации. Мифологическая структура в итоге объемлет пустоту, оставшуюся после аннигиляции смыслов.

### 3

Если же вернуться к вопросу о семантике сорокинских (и шире, соц-артистских) приемов перехода от стилизации под миметический дискурс в иное, либо абсурдистски-заумное, либо ритуально-мифологическое измерение, то надо будет признать, что идеальным вариантом этого, быть может, ключевого элемента поэтики Сорокина, оказывается белое пустое пространство бумаги, разрывающее текст (как это, кстати, и происходит в таких рассказах, как «Любовь» или «Ночные гости»). Во всех рассмотренных текстах Сорокина одновременно и параллельно происходят два процесса: ремифолигизация дискурса, реконструкция его ритуальной семантики совмещается с последовательным обнажением противоречий дискурса, сталкиванием его составляющих, одним словом, деконструкцией дискурса, приводящей его в состояние абсурда или полного хаоса. Но так как оба эти процесса происходят одновременно и параллельно, то итогом любого сорокинского текста становится *мифология абсурда, ритуал инкорпорации с хаосом*. Абсурд благодаря мифологической структуре строится как универсальное, начальное и конечное состояние бытия и сознания. Хаос при посредстве форм переходного ритуала интерпретируется как состояние, уравнивающее все возможные формы языковой и вообще любой деятельности, как точка полного сопадения человека и социума, дискурса и мироздания. Но базой для этих универсалий, их общим знаменателем становится пустота, оставшаяся после стирания всех возможных смыслов. А осязаемую эмоциональную окраску всему этому ритуально-мифологическому комплексу придают натуралистически решенные мотивы насилия, расчленения, издевательств, экскрементов, смерти, — сюжетно материализующие вовне процессы деконструкции дискурса.

Если у Хармса в «Случаях» отождествление творчества с деятельностью, направленной к смерти, обосновывалось пониманием смерти как единственно возможной реальности среди симулякров бытия; то у Сорокина смерть и насилие заключены в пространство дискурса — они лишь переводят на «натуральный» язык дискурсивную власть, неслучайно совпадая с кульминацией сюжета и реконструируемого ритуала. «Жестокость» Хармса воплощает утопическую веру в то, что письмо, вобравшее в себя страшную подлинность смерти, способно выйти к «самостоятельному существованию», к неподдельности культуры и жизни. У Сорокина за пределы дискурса некуда выйти — можно лишь, углубляясь в дискурсы, прийти к мифологическому состоянию хаоса, принципиально не поддающегося артикуляции, оставляющему лист бумаги белым.

Больше совпадений обнаруживается между поэтикой Сорокина и «театром жестокости» Антонена Арто. Сьюзен Сонтаг показала, что весь проект «театра жестокости» Арто основывается, во-первых, на отождествлении сознания и тела: «В своей борьбе против всех иерархических или просто дуалистических представлений Арто постоянно обращается со своим сознанием так, как будто это такое тело — тело, которым он не может обладать <...> но также и мистическое тело, беспорядком которого он сам “охвачен”». Во-вторых, весь проект представляет собой модернистскую интерпретацию гностической философии, выдвигающей на первый план такие ее положения: «Стать свободным от “мира” можно лишь сломав моральный (или социальный) закон. Чтобы переступить пределы тела (to transcend the body), нужно пройти через период физической распушенности и словесного богохульства; только когда нравственность преднамеренно унижается, личность становится способной к радикальной трансформации: погружению в состояние благодати, оставляющей позади все моральные категории <...> В своем театре Арто пытается создать секуляризованный гностический ритуал. Это не акт искупления. Это не жертвоприношение, или же жертвы приносятся метафорически. Это ритуал трансформации — всеобщее представление насильственного акта духовной алхимии <...> Гностический переход через состояние трансценденции включает в себя движение от условно понятного, вразумительного к условно непонятному. Гностическая мысль стремится достичь экстатической речи, распыляющей членораздельное слово <...> Гностический проект — это поиск мудрости, но такой, которая отменяет самое себя посредством невразумительного говорения и/или молчания»\*.

Все эти характеристики достаточно точно соответствуют поэтике Сорокина с тем лишь уточнением, что он, повинаясь логике постмодернистской ситуации, отождествляет и индивидуальное сознание, и мораль с определенными дискурсами и их властью. Но так же, как и Арто, Сорокин придает дискурсу телесное измерение — трансформируя имплицитный мифологизм дискурса в ритуальное действие, совершаемое с телом или над телом и описанное с возможной медицинской подробностью. Сорокинские деконструкции дискурса могут быть поняты как гностическое нарушение законов во имя трансцендентного выхода за пределы тела / дискурса / сознания. И сорокинские потоки невразумительной речи или вообще абсурдистской зауми соответствуют той экстатической речи, через которую выражает себя обретенная в ритуале невыразимая мудрость, благодать по ту сторону добра и зла.

Эта структура соответствует общей семантической конструкции сорокинских текстов. Добавим также, что у Сорокина, как и у Арто (и

---

\*Sontag S. Artaud. // Antonin Artaud: Selected Writings. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1976. — P. XXIV, XLVI, XLVII, LII—LIII, LIII.

как у Хармса), акт жестокости, воспроизведенный с натуралистической очевидностью, нарушает присущую традиционным, в том числе и соцреалистическому, дискурсам границу между текстом и читателем. Жак Деррида, комментируя концепции Арто, считает, что их сущность состоит в разрушении репрезентации, отмене самого аристотелевского “подражания”: “Сцена более не будет представлять что-либо, поскольку она перестанет быть дополнением, чувственной иллюстрацией к уже — написанному тексту <...> Сцена более не будет повторением настоящего, не будет представлять настоящее, существующее где-то в другом месте, и первичное по отношению к сцене <...> Сцена не будет репрезентативна и в том случае, если репрезентация означает поверхность зрелища, показываемого зрителям. Она даже не станет предлагать представление настоящего, если настоящее означает то, что находится непосредственно передо мной. Представление жестокости должно проникнуть вовнутрь меня. И отказ от репрезентации будет означать в этом случае подлинную репрезентацию, раскрывающую свою собственную книгу, многомерное окружение, опыт, порождающий собственный пространство”\*.

В результате уже у Сорокина, объектом разыгрываемого в тексте гностического мета-ритуала становятся не герои, а читатель. Показательным свидетельством такой трансформации коммуникативной функции сорокинских текстов становится их «визуализация»: речь идет не только о графических видеообразах текста (например, в «Очереди»), но и том, что к редкому сорокинскому тексту нельзя отнести слова критика В. Потапова, сказанные им по поводу «Падежа»: «Повесть Владимира Сорокина явно “кинематографична” и к нашей зрительной (зрительской) памяти апеллирует не меньше, чем к памяти литературной <...> Можно сказать, что Владимир Сорокин экранизирует повесть “Падеж”»\*\*.

Но, отмечая все эти конструктивные черты сходства между прозой Сорокина и «театром жестокости» Арто, нельзя не увидеть и глубочайшего различия в семантической функции этих художественных систем в целом. «Театр жестокости» Арто, конечно же, утопичен. Погружение зрителя в хаотическое состояние предполагает следующую ступень: обретение архетипической Истины, скрытой под рутинной цивилизации. Как пишет С. Сонтаг: <для Арто> «показать истину означает показывать архетипы в гораздо большей степени, чем индивидуальную психологию, поэтому театр становится местом риска: “архетипическая реальность” всегда “опасна”»\*\*\*. Сорокин, работающий

---

\*Derrida, J. The Theater of Cruelty and the Closure of Representation. In: Derrida, Jacques. Writing and Difference. Tr. Alan Bass. Chicago: U of Chicago P, 1978. — P. 237.

\*\*Волга, 1991, № 9. — С. 30.

\*\*\*Sontag S. Op. cit. — P. XXXIV.

с соцреализмом и знающий цену утопическим проектам преобразования человека, особенно на коллективистской основе (даже такой, как «коллективное — бессознательное»), делает хаос и означающим и означаемым моделируемого ритуала: путем погружения в хаос не достигается ничего, кроме хаоса. Именно абсурд и хаос и оказываются конечным означаемым любого возможного дискурса.

Как и многие другие русские постмодернисты, как, думается, и русский постмодернизм в целом, Сорокин соединяет в своей поэтике сугубо авангардистские *подходы* с глубоко постмодернистскими *исходами*. Строя вполне авангардистскую конструкцию текста как ритуала, Сорокин обрезает его утопическую устремленность и замыкает как текст, так и ритуал на самих себе. Происходящее в результате этой операции *короткое замыкание* выражается не только в шоковых моментах сюжета. Сам шоковый эффект возникает как следствие наглядной, а отнюдь не умозрительной, совместимости ритуально-мифологических структур упорядочивания с семантикой тотального обесмысливания, с миробразом хаоса. Мифология хаоса у Сорокина означает, что любые структуры дискурсивной власти основаны на абсурде, любая иерархия смыслов, любой порядок ценностей — лишь внешняя оболочка тотального хаоса онтологической бессмыслицы. Но видит ли он порядки, рождающиеся из хаоса или формирующиеся внутри хаоса — и не обесцениваемые им, как обесцениваются дискурсивные порядки?

Таким порядком, рождающимся из хаоса и сосуществующим с ним, может быть *свобода*. Та свобода — на которую нацелена ломающая все возможные законы жестокость гностического поиска. О свободе как «ценностном центре» не только прозы Сорокина, но всей соц-артовской культуры постоянно говорит Д. Пригов: «...мне представляется, что позиция Сорокина (как и всего направления, к которому он тяготеет) — понимание свободы как основного пафоса культуры сего момента — является истинно, если не единственно, гуманистической»\*. И в другом месте, уже относительно своей собственной позиции: «Я так понимал, что вообще у искусства основная задача, его назначение в этом мире — явить некую со всеми опасностями свободу, абсолютную свободу. На примере искусства человек видит, что есть абсолютная свобода, необязательно могущая быть реализованной в жизни полностью. Я взял советский язык как наиболее тогда функционирующий, наиболее явный и доступный, который был представителем идеологии и выдавал себя за абсолютную истину, спущенную с небес. Человек был задавлен этим языком не снаружи, а внутри себя. Любая идеология, претендующая на тебя целиком, любой язык имеют тоталитарные амбиции захватить весь мир, покрыть его своими терминами и показать, что он — абсолютная истина. Я хотел показать,

---

\*Сорокин В. Рассказы. — С. 118.

что есть свобода. Язык — только язык, а не абсолютная истина, и, поняв это, мы получим свободу»\*.

Но проблема состоит в том, что та свобода, к которой стремится соц-арт, ремифологизируя и деконструируя власть дискурса(ов), — как и гностическая свобода, не имеет ничего общего с гуманизмом: как говорит по поводу Арто С. Сонтаг, «театр <жестокости> служит “не-человеческой” индивидуальности и “нечеловеческой” свободе, как Арто называл ее в книге “Театр и его двойник” — полной противоположности либеральной, приемлемой для социума идее свободы»\*\*. В случае Сорокина дегуманизация свободы связана прежде всего с тем, что ей *некому воспользоваться*. Ей, разумеется, не может воспользоваться персонаж — в отличие от экзистенциалистов, ставивших в центр «мифа об абсурде» индивидуальную человеческую личность, Сорокин превращает персонажа в симулякр, чистую функцию дискурса — форму реализации дискурсивной власти, не более.

Но и безличный автор-творец тоже не может ни воспользоваться, ни, главное, выразить эту свободу — для него мифология хаоса оборачивается немотой. Мифология универсальна, она не знает исключений — и если каждый дискурс сводится к власти абсурда и пустоте хаоса, то у автора-творца просто *нет языка*, чтобы выразить обретенную им (допустим) свободу. Но существует ли в художественном мире то, что не может быть эстетически (или дискурсивно) выражено? По-видимому, нет. Эту ситуацию можно объяснить и в категориях философской поэтики Бахтина — как особого рода парадокс диалогизма. Ведь соц-арт представляет собой крайнюю форму диалогического письма: в нем вообще нет *не-чужого слова*, притом что эта «чужость» и подвергается рефлексии, отчетливо осознается как автором, так и читателем. Кто же ответствен за это слово? Персонаж? Нет, он сам открыто симулятивен. Автор? Нет, он лишь монтирует «чужие» дискурсы. Выходит, ответствен только безличный, «ничейный» дискурс — но тогда ничейной оказывается и свобода от деконструированного дискурса. Не оплаченная ответственностью, она оказывается полой, пустой — как пастиш, как мифология хаоса аннигилирующих друг друга дискурсивных смыслов (ибо где же взять другие, не дискурсивные?).

Трансформация механизма репрезентации опрокидывает разворачивающийся в тексте ритуал не только на читателя, но — в гораздо большей степени — на автора-творца: именно он в конечном счете должен раствориться в хаосе, отказавшись от первоначальной «нераздельной и неслиянной» позиции по отношению к абсурду дискурса.

Это — онтологический тупик. И проза Сорокина, и соц-арт в целом — лишь выявляют его, доводя до конца скрытые противоречия уже

---

\*Гандлевский С., Пригов Д. Между именем и имиджем. // Литературная газета. — 1993, № 19. — С. 5.

\*\*Sontag S. Op. cit. — P. XLVIII.

своего собственного, постмодернистского дискурса. Коротко говоря, причиной этого тупика становится противоречие между, с одной стороны, «пониманием свободы как основного пафоса культуры сего момента» (Пригов), — а с другой стороны, «смертью автора» (Р. Барт) и «децентрализацией субъекта» (М. Фуко), благодаря которым и достигается эта свобода. Но здесь уже начинается сюжет другой статьи\*.

---

\*Этот круг проблем, непосредственно связанных с кризисом постмодернистской художественности, рассматривается нами в работах: Липовецкий М. Закон крутизны. — Вопросы литературы. — 1991, № 11—12. — С. 3—37. Лейдерман Н., Липовецкий М. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме. Новый мир. — 1993, № 7. С. 233—252.

*Сергей Бирюков*

## **“СКЛИКАЯ ДИКИЕ ГЛАГОЛЫ...”**

Поэт — существо драматическое. Артистизм, культивируемый в эпоху постмодерна, как бы смазывает драму, но отнюдь не отменяет. Это — в сторону. Речь о другом поэте, принадлежащем другой эпохе, но, слава Богу, живущем в наше время. О Николае Панченко.

Он один из немногих, уцелевших в мировой войне и сохранивших себя в мирной жизни. Он менялся в этой жизни, но в главном оставался цельным и неизменным. Помню, как в 60-е годы в запыленном книжном магазинчике грустного тамбовского райцентра откопал его тоненькую книжечку “Обелиски в лесу”, как резанули скупые мужественные строки. В них была боль, которая в те годы заглушалась барабанным боем бодрых стихов.

С тех пор прошло немало лет. Поэт продолжал писать, книги его выходили, пусть не очень часто, но присутствие Николая Панченко было осязаемо. Я следил за его творчеством, и меня всегда поражала какая-то неизбывная печаль даже в светлых по тону стихах. Лишь позже, с выходом его позднего “Избранного” в 1988 году и книги “Горячий след” в 1994-м, я понял, кажется, суть переживаемой художником драмы. Пусть это будет моя догадка, которая, кстати, относится не только к Н.Панченко, но и к другим поэтам его поколения. Начиная как поэт “окопной правды” и продолжавший после войны

как поэт просто правды, в дальнейшем он уходит в более спокойную лирику. Это не было приспособлением к обстоятельствам. Он продолжал писать о том, что его на самом деле волновало, о том, что ему было близко — в конце концов, жизнь — это спектр, а не один цвет. Но стихи, где он высказывался резко и откровенно, укладывались в стол, в печать проникали другие, в которых печаль шла как бы контрбандно. “Грубая терка бытия” и превратности “очередного немилосердного века” не щадили.

Ты хочешь быть хорошим человеком?  
Пощады у Пилата  
Не проси...

Хорошим человеком быть трудно всегда. И во времена глухой закрытости и во времена относительной открытости — не слышат. Вот в чем драма. Тогда, во времена тотального давления, приходилось кричать шепотом — слышали единицы. Сейчас можно исходить криком — похоже, результат примерно тот же.

И не выходит разговора,  
Где предначертан приговор...

Остается что же — говорить тем, кого любишь, кому веришь, тем, кто любит тебя и верит тебе.

Читатель, близкий Николаю Панченко. — это человек, способный к авторефлексии, или тот, кто в состоянии воспринять рефлексию другого. Именно такому читателю и может открыться поэт так, как он открылся в лирической поэме 1976 года “Три разговора”, где подверг самооценке свои действия в разных бытийных ситуациях. Такой резкий счет к себе может предъявить только крупная личность. Но дело в том, что Панченко как раз не претендует на глобальность, он постоянно снижает масштаб до окопной правды, до мгновенной красоты земного и небесного, до того, что является поэту вот сейчас.

Как в облаке вечности тает  
Курлыканье позднего клина...

Так тает-пропадает все (“Все проходит”, — по известному выражению царя Соломона). Но художник может на миг остановить уходящее — и это уже победа. Так в стихах, обращенных к Ахматовой, прорывается восклицание: “Как счастливо, что мы пересеклись!” И это так понятно не только в соотношении с культом Ахматовой, царившим в интеллигентных кругах в противовес страшному культу вездесущей партии. Для Панченко Ахматова — явление природы, такое же “несовершенное мгновение” — только прикоснулся, и уже растаяло. Но “...стоит в пылинке почувствовать вечную душу — // И ты бес-

конечен!". Это я уже провожу такие параллели, исходя из стихов Панченко, в которых: "И было Богом // Все, что было..."

Нигде о том декларативно не заявляя, Н.Панченко на протяжении всей поэтической судьбы выступает как наследник тех традиций русской литературы, в которых Совесть, Правда, Честь писались с большой буквы. Эта традиция несет немалое испытание для поэта — обратиться ручейком, куском хлебушка, признать себя виновным за всех. "Царю легко: он в шахматы играет. // А я стою на шахматной доске", — может сказать поэт в трудную минуту, но это состояние как раз все и определяет. А именно: внутреннее направление дара, при котором даже "дикие глаголы" умиротворяются, "скликаются".

Поколение, которому принадлежит Николай Панченко, стремительно уходит со сцены. Для меня это поколение отцов. Отпускать их не хочется. Так сиротливо на свете, так много беспризорности.

*Лев Аннинский*

## РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS

### Объяснение жанра

Жанр подсказан названием знаменитой статьи Чернышевского.

*Только* “жанр”, *только* “подсказан” и *только* “названием” — потому что содержание там далеко от лирики. Хотя Чернышевский, читая Тургенева, вроде бы и интересуется тем, “что же делает наш Ромео”, когда Джульетта в ожидании решительного объяснения “сидит, как испуганная птичка”, а Ромео “зажмуривает глаза и пятится”, — вождь революционных демократов размышляет вовсе не о любви. Его интересует политика и приближающаяся с освобождением крестьян дележка власти. Он зовет “своих”: не пропустите момента, не упустите шанса, миг — и все пролетит...

Я думаю, эти призывы, для отвода глаз прикрытые амурной темой, могут сгодиться нынешним политикам, особенно в преддверии тех или иных выборов; но меня-то не политика интересует. Меня интересует как раз то, что взято тут в качестве прикрытия.

Как это было принято в мои школьные годы, рискну углубить Чернышевского с помощью Маркса: любовь есть показатель того, насколько *естественное* в человеке стало *человеческим* и насколько *человеческое* стало для него *естественным*.

Да не посетуют поэты, что я беру их исповеди под таким узким углом зрения; rendez-vous, конечно, место “узкое”, да зато видны с него “обе бездны”: природа и культура, или, если позволите, личное и общественное, или, если угодно, сиюминутное и вечное.

Да простится мне и то, что игнорирую “качество стиха”. То есть я, конечно, дам почувствовать читателю, хорошо там или плохо написано, но в данном случае мне это не важно. Как не важно и то, какого направления придерживается поэт и к какому поколению себя относит. Молод он или стар, плох или хорош, одержим идеями пост-модерна или привержен классике. Это тоже не важно. Важно одно: характер. Как он создан нашим временем и выявлен на любовном свидании. Вполне по Чернышевскому.

Единственное, в чем я откорректировал бы его формулу: он имел в виду наших российских Ромео, а я бы добавил и Джульетт. “Русский человек” — это хорошо, но, как шутили мы в те же школьные времена: женщина тоже человек.

В остальном вождь революционной демократии безупречен. И тогда, когда, опираясь на Тургенева, говорит от имени героини: “Мне хочется плакать, а я смеюсь”. И когда говорит о поведении героя: “иначе, как “поведением”, нельзя назвать образ поступков этого господина”. Круто сказано.

Конечно, за полтора года, прошедшие с тургеневско-чернышевских времен, “этот господин” успел побывать и “товарищем”. Но сейчас он, кажется, опять рвется в господа. Почва-то одна.

## “ДЫМ И ПЕПЕЛ ПО ИХ СЛЕДАМ”

Адама и Еву из рая гонят, а наш герой в рай рвется. То есть рвется в Заречный сад, в “полночный сад”: хочет сводить туда некую красотку. Под окном выстаивает, ждет, когда она согласится.

Репутация у красотишки аховая, и наш герой это знает. “Путалась она со многими, легких связей не тая. Этими глазами строгими был обманут только я”

Обманут? Пожалуй, сомнительно. А может, рад обмануться? Все знает, все понимает. И все-таки идет туда, куда все: в кусты. Идет, “как пьяный”. Все вожаемое происходит, как положено, при “лунном свете” и запахе “дикой мяты”. Мимолетный грех и одновременно — таинственный миг неповторимого счастья. Гуляющая девка и она же — чистейшая возлюбленная.

Классический русский сюжет, прямо от Достоевского. Только полвека спустя после Достоевского и той эпохи, когда грех и покаяние слились в русской душе. Тут — не слияние, нет. Очень четкое понимание, где грязно, а где чисто. Тончайшая, но четкая грань. В

принципе любовь чиста и неприкосновенна, а “Заречный сад” — личная реальность. Чистое чувство чаще адресуется какой-нибудь символически-недоступной фигуре. Например, девушке на полустанке, мимо которой проносишься в поезде. Мелькнула — пропала. Светлый образ.

Но есть реальность...

Реальность — это то, сквозь что надо пройти, не замарав души. Почему “надо”? Потому что это не только “Заречный парк”. Это вообще жизнь, в которой перемешались миры. Например, так: внук двух царских адмиралов попадает в советский детдом. Он отлично знает, кем были его предки и чем это ему грозит в эпоху нового энтузиазма. Он себя чувствует тем повстанцем-сипаем, над которым занесена нога слона-карателя. Выставлена картина в ленинградской комиссии, и малец стоит перед ней, боясь отвести глаза: отвернешься — и слон опустит ногу...

Куда из-под такой пяты? На завод. На фронт... А в глубине души — строй ценностей, неподвластный грязи. “Заречный сад” — лишь преходящее воплощение святого и вечного. Надо верить: все окупится, за все воздастся. Мир един, все в нем связано, закольцовано; за все приходится платить, но в конце концов все это — счастье. Спасение — дисциплина духа. Точеная точность слов и поступков. “Скупой лютеранский рай” — на месте развесистых кущ. Лилит — на месте Евы.

Что предание говорит?  
“Прежде Евы была Лилит”.

Прежде Евы Лилит была —  
Та, что яблока не рвала.

Не женой была, не женой, —  
Стороной прошла, стороной.

Не из глины, не из ребра —  
Из рассветного серебра.

Улыбнулась из тростника —  
И пропала на все века.

Лилит пропала — осталась Ева.

С Евой начинается “реальная жизнь”. Детдомовская скука рая. Змей-завхоз, угощающий ворованным яблоком. Директор, вышибающий послушников. “Убегает с Евой Адам — дым и пепел по их следам”.

Дальше — скука трудовая и семейная. “Скот мычит, колосится рожь, дремлет Авель, сев на пенек. Каин в елку втыкает нож — тренируется паренек”. Но есть чем утешиться. “А в раю-то было прес-

ней — заработанный хлеб вкусней. А в рай-то мы спали врозь; этот рай — оторви да брось”.

Железная воля помогает вжиться в реальность, замешанную на поте и слезах, на крови и жи. Все — вытерпеть, за все — заплатить: собой, своей волей, своей жизнью. Сидит наш герой, удит рыбу; электричка вдали бежит; темно; костер теплится...

Кто там плачет в костре ночном,  
Косы рыжие разметав?  
Кто грустит в тростнике речном,  
Шелестит в осенних кустах?

А вот это — никого не касается. Это — в такую глубину, в такое поддонье запрятано, что ни один адмирал никаким лотом не прошупает. Это — сокровенная бездна, тайна личности, пароль независимости, Смысл неизреченный.

...Никогда не придет Лилит,  
А забыть себя не велит.

Справка: Лилит — первая жена Адама, с которой он разругался из-за ее пещерного феминизма. В старину — ненавидима как соблазнительница (“путалась со многими”). В новое время как соблазнительница же — любима (что доказали Франс, Исаакян, Цветаева).

В нашем случае rendez-vous описал Вадим Шефнер: см. “Полузабытое” и “Лилит” в первом томе Сочинений.

## “СТИКС, ВПАДАЮЩИЙ В НЕВУ”

Самозабвенный рассказчик с искренностью вечного подростка выкладывает нам очередной случай. И “нам”. и “ей”:

“— Жизнь прошла, и я тебя увидел в шелковой косынке у метро. Прежде — ненасытный погубитель, а теперь — уже совсем никто...”

Ненасытный погубитель, может, и преувеличение. Но что мимо не мог пройти, это уж точно. На таких не обижаются: природа! И эта встреча — без обид:

“— Все-таки узнала и признала, сели на бульварную скамью, ничего о прошлом не сказала и вину не вспомнила мою...”

А что, была вина? И не одна, поди? По карнизу в спальню лазил? К этой? Или к той? Ах, какая разница! Ангелина или Нина, Нина или Ангелина... “Ни в одном отеле-мира, ни в гостинице районной, ни в Монако в казино я не встречу вас, не встречу... Все равно”.

Насчет казино в Монако тоже, пожалуй, преувеличение, а вот в питерском метро — вполне реально. И что же там, в метро?

*“— И когда в подземном переходе затерялся шелковый лоскут, я подумал о такой свободе, о которой песенки поют”.*

Вот это по делу. О какой такой свободе песенки? Что за душа поет так вольно, берет так весело, отпускает так легко? И в каком отношении это певучее перо находится к тому сердитому, суховато-четкому стилю, которым так гордится питерская поэтическая школа, — ведь именно из нее выводит свою родословную наш лирический герой?

Из нее и из ее войны. Война только что кончилась, по Невскому гуляют “ребята злые”; злы все: и хулиганы, готовые “кастет и финку бросить в дело”, и поэты, что прячут злые слезы и в упор не видят этой реальности: смотрят мимо, мимо, мимо. Поколение, обаружившее себя в аду, в рай не верит. Но вот из тех же духовных катакомб выходит душа, решительно не склонная к самоограничению, по природе жизнелюбивая, жадная до впечатлений; она оглядывается и спрашивает: как, неужели и рай — это тоже ад?

— Да, тоже! — отвечают ей.

Не верит.

В духе питерской школы формулирует:

Под северным небом яснее всего,  
Что нету совсем ничего. Ничего.

“Ничего” — это по доктрине, по закону строчки, по диктату вкуса. А душа не мирится! Она живая, жадная. Ей — randevu на карнизе! Жить, жить! *“В морозе и в тепле, в любой норе, в любых хоромах, на небе, в море, на земле, в тиши и маршах похоронных”!*

Похоронные марши, введенные в детскую память, просыпаются, как голоса, зовущие не примиряться. *“Все быть могло иначе...”* И было бы лучше? Да в том-то и дело, что неизвестно. А раз было, значит, было. И “не было иначе”. Николаев с московским пистолетом крался за Кировым по коридору Смольного. Зиновьев безумствовал в Ленинграде. Дед и бабка переселились в северную столицу с безумной Украины и легли на кладбище “среди охтенских суглинков”. Ничего не повернуть вспять.

Над злостью встает ностальгия. Питерский авангардист получает от своих соратников звание “элегического урбаниста”. Он носит его непринужденно, как “она” носила шелковую косынку. И не скажешь о прошлом, чего там больше: горечи или любви, беспросветности или счастья. Ты был спасен и убит в войну: спасен телом и убит душой. Невозможно забыть кандаальный звон, с каким старшие братья уходили во тьму:

В ночном бушлате, бутсах и обмотках  
курсанты погружались в катера,

и карабины брякали на скобках,  
на этих сходнях в пять часов утра.

После этого — ступай и пой песенки о свободе. А потом:

Жизнь прошла, и тебя я увидел...

Рандеву с жизнью, прорвавшейся сквозь блокаду. Злые ребята, где вы? Ангелина! Нина!

Посреди карниза, в двух шагах от “нее”, — душа вдруг вспоминает:

Закопан, утрамбован по уставу,  
и все-таки на свете одному  
дай мне воды запить мою отраву,  
канал, как Стикс, впадающий в Неву.

Евгений Рейн. “Витебский канал в Ленинграде”. В книге “Имена мостов”.

## ОГЛЯДКА ОРФЕЯ

Тихий питерец, чуткий шестидесятник, влюбленный в шпилы и першпекты воздвигшегося на болотах Города, — говорит возлюбленной:

Ни ужимок, ни жестов, ни слов  
Жалких, женских, ни поз, ни уловок,  
Твой обычай бесценный таков, —  
Залюбуется им египтолог,  
Да его, слава богу, нигде  
Нет поблизости, просто и прямо  
Ты глядишь на меня в тесноте  
И обиде всedневногo хлама...

Египтолога поблизости, может, и нет. Но каменный сфинкс, слава богу, есть. И есть то, что только в северной столице может удовлетворенно созерцать россиянин — и в себе самом, и вокруг, — простая правильность линий. И еще есть то, что заставляет его подсознательно (и в себе самом, и вокруг, и — в исторической памяти: в характерах людей, в характере народа) сознавать эту прямоthu как противовес. Чему? Тому, что называется: “уловки”. И даже так: “позы”. Святое притворство русского человека. Его прирожденное артистическое лукавство. Его наивное плутовство. То, о чем Ключевский сказал: “Не ищите прямой дороги, кривая тропка — выведет”. И он же: “В России нельзя быть предусмотрительным, но должно быть очень осмотpительным”.

Прямой и ясный питерец, пожалуй, не очень осмотрителен, когда сводит дело к “позе” и “уловке”. Но его можно понять: “вседневный хлам” для иной души и впрямь невыносим. Мировая история — спектакль: кулисы, котурны, зрелища. “Выход Ирода из дворца, выход Пушкина на крыльцо”. Конечно, тянет посмотреть. Но и ужасает: “притворство, жеманство”.

Раньше думалось: чем эта безумная история, лучше уж тихая, ясная правда частной жизни. И любовь — честно бедная. Как со студенчества велось: без радужных снов и рождественских сказок.

Уходит в небо пар отвесный,  
Дерева бьет сырая дрожь,  
И ты не дремлешь, друг прелестный,  
А щеки варежкой трешь...

Полемика с Пушкиным? Но и тайная надежда: оживить чудом сырой зимний город. Любимая проснется — ахнет. Сотворить “фокус” — вернуть красоту этим безразличным, серым домам и скверам.

Не удастся “фокус”...

Не удастся — не надо. Знаем, что ответить. Жизнь вязнет во вседневном хламе, там среди кулис выписывают кренделя политики, демагоги и прочие действующие лица мирового театра, — “а мы пути иному привержены с тобой”. Египетская прямота — ответ всесветному сумасшествию.

И когда удастся найти  
Чудный смысл и расчистить пространство,  
Как я счастлив с тобой посреди  
Мирового притворства, жеманства,  
Многослойно-червивых ходов,  
Общих мест и захватанных истин,  
И прямой от любви до стихов  
Путь стремителен и бескорыстен!

“От любви до стихов” — формула довольно расплывчатая. Под слово “любовь” можно ведь подставить что угодно. Но лучше не растолковывать и вообще не торчать на виду. “Ни бытом не дать запугать, ни халатом”.

Халат — это уже понятнее, это значит жить по Розанову... Нет, в Розанове слишком много московской расхристанности. Хотя Ницше — немец — тоже ведь хотел стать “толстой купчихой”. В толстой купчихе, однако, не будет ничего египетского... Ах, убежать бы из этого сплошного ада. Из ада истории с ее тиранами и тираноборцами. “Ну, ладно, ребята, убили мерзавца — и тем прославились. Все. Расходится. Зачем же обоим стоять перед публикой?”

Лучше — четыре стены. “Во-первых, щеточка для пишущей машинки и спички, бритвочка, стиральных две резинки, три ручки, что

еще?” Еще — окно в сад. “Я выгляну в окно; ворона переседает с приступки на карниз, качнувшись тяжело, поправив невзначай раскрывшееся сзади, сложившееся вдруг не так свое крыло”. Нечаянность природы, графика веток, графика шпилей, черное, белое. Белые ночи, серые тени, бесцветная прядь серой ивы...

Но Египет?! Откуда?

А от противного. От “ужимок, жестов, слов”, кривоблудно путающих путь. “Каждый раз выбирает Россия такие пути, что пугается Запад, лицо закрывает Восток...”

От этого ужаса и кидаемся к “пурпурным башмакам”, “загнутым носкам” и прочим брильянтам восточной экзотики. Или — к западным голубым берегам. “Если кто-то Италию любит, мы его понимаем, хотя сон полуденный мысль его губит”... И Англию можно любить. И Францию... (Очерчен круг: с востока — пурпурные шутовские башмаки, с запада — солнце, губящее мысль, с юга... египетская прямотростройность...) В этом кольце надо жить. И любить.

Но Россию со всей ее кровью...  
Я не знаю, как это назвать, —  
Стыдно, страшно, — неужто любовью?  
Эту рыхлую ямку кротовью,  
Серой ивы бесцветную прядь.

Вот так же Цветаева когда-то, не в силах ничего объяснить, сказала: “куст рябины”. И, не оглядываясь, пошла (думала: из ада; оказалось: в ад).

Что наш Орфей живет в аду, это привычно. Юмор его спасает. Посмотрит теледебаты, скажет себе: ничего, это тоже опыт. И обернется к своей египтянке.

Но он никогда не выйдет из ада. Потому что обязательно обернется.

Между адом и раем нет внутренней разницы. И то и другое — состояние души. Когда живешь на сумрачной звезде, лучше не сжигать себя под солнцем и не торчать с загнутыми носками под софитами.

Координаты: Александр Кушнер. Книга стихов “На сумрачной звезде”. Санкт-Петербург.

## “НЕ УЕЗЖАЙ, МОЙ АНГЕЛ, СЧАСТЬЯ НЕТ...”

В преклонные годы свидание наконец определяется. Определяется именно — как свидание. Правда, от обратного:

Не уезжай, жена моя, в леса  
ни в лодке, ни в машине, ни в телеге.

Провидческие слышу голоса...  
Еще нам предстоит разъезд навеки...

Насчет “телеги” — воображение, конечно. И насчет “лодки” тоже. Чистые воспоминания. И “леса” не очень отчетливы. Теперь пейзажи другие: Париж и Кельн, Иерусалим и Стамбул... Массачусетс... Вермонт. Брань таможенников. Мир — как на ладони. Поздновато, конечно: “разъезд навеки” подпирает; конец чудится, финал:

Его приход, увы, неумолим,  
его шаги расчетливы и скоры.  
Повременим, мой друг, повременим  
седлать коней и заводить моторы.

Вот насчет “моторов” близко, а “седлать коней” — опять-таки из области светлых воспоминаний. “Конь голову клонит”, — пето в молодости. Но и в молодости грустно было петь. Теперь же и вовсе тягостно:

Из бытия земного своего  
в грядущие не верю обещанья —  
ведь там уже не будет ничего:  
ни боли, ни прошенья, ни прощанья...

Пленительна грусть, пронзительна песня, горька неизбежно в подспудных глубинах. Да было ли счастье-то?

А как же! А как вваливались веселой компанией в кабак; швейцару: “Отворите двери!” И мимо всех — в отдельный кабинет! Паскудина, не глазей на наших девушек, они не продаются! Что-то декоративное в походочке, в развалочке. И такая брошка на Любе! Правда, напрокат взята, но ничего, пусть Любовь потешится!

Недолгая потеха. На два шажочка любовь рассчитана: пока первая на сердце жжет, вторая уж к первой льнет, третья же — полный раздрай-разъезд: “ключ дрожит в замке, чемодан в руке”.

Это — лейтмотив: “Разлюбила меня женщина и ушла не спеша. Кто знает, когда доведется опять с нею встретиться. А я-то предполагал, что земля — это шар... Не с кем мне было тогда посоветоваться”.

Грустно. Женщина поет — мужчина плачет. Отчего? Оттого, что женщина его не шадит. Она его “тратит”.

Вечный страх: не уберечься... Так и балансирует чувство: с одной стороны — простекиие громогласные “речи”, которыми “парни” завоевывают девиц, сходу переходя на “ты”; с другой стороны — чуткая осторожность, безопасная дистанция, “шляхетская” аристократическая неприступность: “Зачем мы перешли на “ты”? За это нам и перепало — на грош любви и простоты, а что-то главное пропало”.

Что ж там — главное?

Жизнь, висящая на волоске. Жизнь, замершая под прицелом. Это с войны: “солдат — бумажный”. Женщина должна — спасти. Он ее ждет как чуда, как повелительницы: “Ваше величество, Женщина! Да неужели ко мне?..” Темно в палате: простыня стекает на пол белым флагом капитуляции, “три жены, три судьи, три сестры милосердных” склоняются над бессильным героем, как над банкротом, невольно наводя память на тех трех “жен”, от которых он спасался когда-то с “чемоданом в руке”.

Пожалуй, спасся. От чего? Не определишь. Что мешало счастью? Не охватишь. Война? “Шла война к тому Берлину, шел солдат на тот Берлин. Матушка, поплачь по сыну: у тебя счастливый сын...” Война кончилась, ушли “враги”, их больше не дождешься. Что еще? “Генералиссимус прекрасный”? Конечно, это он виноват. Что с ним делать? “Шестидесятники развенчивать усатого должны”. Прочтешь и замрешь: плюс ко всем долгам еще и этот. Разве что жены-сестры последний кредит откроют?

Слава Богу, соскакивают лозунги со стиха, как с коровы седло. И не на кого сложить вину. Все в тебе, все от тебя, все из-за тебя самого. Кому скажешь?

Да вот ей — той, что собралась уезжать.

...И поражений горьких и побед  
и жертвы и охотники мы сами...  
Не уезжай, мой ангел: счастья нет,  
тем более за дальними лесами.

Счастья нет. Есть поэзия.

Булат Окуджава. Милости судьбы. М., 1993.

## “Я НИ ПРИ ЧЕМ. Я НИ ПРИ ЧЕМ”

Странная. Тихая. Почему — одна? Антураж вроде бы для безотказного лирического свидания: влажный сад, пение птиц, дробь соловья и черемухи море, прогулки меж кустами, хрупкой бабочки дыханье, пение лучей, и “синь небес, синь небес...”. Должен появиться любимый. Его не может не быть!

Он есть. Он появляется. Чтобы исчезнуть. “Свиданье подходит к концу”, едва начавшись. Это каждый раз: “прощальный взмах” — и конец.” Но жизнь — она и есть последнее свиданье, когда ни слов, ни сил. Лишь толчея вокзала. И ты не то спросил. И я не то сказала...”

Поразительно, что с природой: с садом, бабочкой, листвою — героиня объясняется без слов, а тут словно вязнет в словах: знает, что говорит “не то”, но еще больше боится молчания. С природой — понятно, почему: “И... капля вешняя, и луч, и лист случайный, как

племена нездешние, владеют речью тайной". А те, кто должны владеть речью явною, то есть племена здешние? Нет, тут глухо. И потому тут — безостановочная речь.

Разрыв — неизбежный разрыв — каждый раз связан именно с обрывом речи. "Что до меня тебе за дело, коль я все сказки рассказала, коль я тебе все песни спела, которые когда-то знала". Это — лейтмотив: "Позови посмотреть на дали. Все давным-давно сказали мы друг другу. Ты да я. Мы пойдем с тобой в иные, молчаливые края..."

Приглашение, не лишенное зловещего смысла. Но почему молчанье так страшит и притягивает? И почему "речи" так спасительны? И вообще: почему именно "речи" так важны? Вроде бы на rendez-vous ходят не тою конечною целью, чтобы "смотреть на дали" или внимать "речам", а "дали" и "речи" есть путь к некоей душевной гармонии... А тут — с обрывом "речи" все обрывается, и вопрос о "далях" больше не встает.

Вам это ничего не напоминает?

Если не напоминает, то вот прямая подсказка:

"Будто я Шехерезада, и слагать стихи мне надо, потому что лишь слова мне дают на жизнь права. Я о слове так радею, будто, если оскудею, замолчу, теряя нить, повелят меня казнить". За что?

Ни за что. "По определению". Это и есть ответ на коренной вопрос этой жизни: конец, казнь, гибель чудится за каждым листочком в этом саду, в этом лесу. "Все исчезнет — только дунь". Странная смесь безнадежности и надежды: каждый миг — последний, и потому каждый миг — счастье. Странная смесь тоски и восторга, босховского уродства и боттичеллиевской весенней прелести. Странная, слепяще-черная окраска всего, что тебе дается. *"Так пахнет лесом и травой, травой и лесом... Что делать с пеплом и золой, с их легким весом?"*

Что делать? Как минимум — понять, в каких переживаниях выковалась такая душа. Можно вспомнить Апрель Чернобыльский, завершивший эпоху. Можно вспомнить Октябрь, эпоху открывший: *"ту эпоху, что жгла и косила миллионы под шелест знамен"*. Можно вспомнить мертвую точку в середине эпохи, и эта мертвая точка объяснит эпоху лучше, чем ее объясняют сумасшедший старт и апоплексический конец: *"Я знаю тихий небосклон, войны не знаю. Так откуда... (здесь пауза или спазм... — Л.А.) вдруг чудится: еще секунда, и твой отходит эшелон?"*

Не этот ли эшелон сорок первого года отдается теперь в вокзальной толчее и готовности потерять все? И благодарить за каждое мгновение жизни как за подарок? И так, зная все, — держаться? *"В хаосе надо за что-то держаться..."*

Вдруг — как наважденье: *"Безумец, что затеял?! Затеял жить на свете. И кто тебе навел блажные мысли эти?.."* Кто бы ни был тот, кто это "затеял", жить "в ожидании Эдипа" не легче, чем в положении Сольвейг.

А жить надо. Пленница жизни идет на свидание с жизнью и шепчет: “Я ни причем...”

Я ни при чем. Я не при чем,  
Я лишь задела ствол плечом  
В лесу высоком.  
И листья хлынули ручьем,  
Сквозным просвечены лучом,  
Как горним оком...

Горним оком — в ослепший дол.

Лариса Миллер. В ожидании Эдипа. М., 1993

## РОЗА АНДЕРГРАУНДА

Знаете ли вы, что такое любовь постмодерниста?

Нет, вы не знаете, что это такое.

Потому что он сам этого “не знает”. Если он вспоминает имя... скажем: “Катя Поплавская”... то немедленно выставляет его в заглавие, потому что еще через мгновение имя исчезнет в потоке прочих звуков, знаков и призраков. Растворится в ирреальном мареве чего-то неназываемого (назовем это на время “судьбой”), где и ловит знаки поэт, вписывая их в неверный свиток памяти.

Я хотел бы списать у своей судьбы,  
зыркнув, как в школе, через плечо,  
ответ задачки: с какою Ты  
целью была? А по фене: че  
Ты восьмерила вокруг, когда  
нацыкало нам по двенадцать лет?  
Звали в том детстве тебя... ах, да  
(см. заглавие), Сколько тел  
в складках памяти той поры...

“Складки” — фирменный знак, одно из условий постмодернистской эстетики: неуловимая реальность прячется в складках, щелях и порах бытия; впрочем, это уже “вторая” реальность; впрочем, и первая спрятана: ее тоже нет. Нет бытия — есть общее информационное поле... хочется дочеканить: “данное нам в ощущениях” (отваживаясь на запретную цитату только потому, что такое ядовитое цитирование — в духе постмодернизма). Итак, “ничего нет”. Но ощущения — есть? Похоже, что есть:

*...Я, дурак  
двенадцатилетнекурносый, знал*

*это настолько, что впал в простран-  
цию-цирцею и доикал  
до идиотизма: Она — сестра!  
т.е. выпадающее в сестру  
чудо, скользнувшее в полуплоть  
Кати Поплавской...*

Еще одно точное попадание в кодовую скважину: “сестра” — это тоже мираж, чудо, реализуемое в случайности, возможность, проскользнувшая в призраке. Постойте, постойте. Тут как-никак rendez-vous. Где любовь?

*“Когда бы это была любовь,  
я пригласил бы Ее в кино”, —  
поди, так мог написать Ли Бо в  
Китае восьмого столетия, но  
Тарковский не завернул в Китай,  
а Параджанов сидел в тюрьме,  
поэтому строчки скропал Вита—й  
(без Ли), почти идентичный мне.*

“Почти идентичный” — это, значит, “я, неизвестно кому назло, спрятался за жалюзи очков...”.

Поэт “исчезает” так же, как Катя Поплавская. Как “сестра”. Как любой предмет вокруг. Если клен, то это, похоже, тополь. Потому что Нечто может вселиться во что угодно. Какого цвета? Никакого. Потому что в сущности все висит в доспектральной вышине. Пространства нет — распушено по нитке. Времени нет — только воображено: “вторичное чувство”, которое, “как всякое чувство проходит”. Что остается? Ничто. Смерти нет. Жизни тоже нет. Счастья нет, вернее, счастье есть — в отрицание того, что его нет. “Человек либо счастлив на свете, либо просто об этом не знает”. Чаще — не знает. И не хочет знать.

Вот они, дети безвременья. Поколение, выросшее в вакууме “застоя”, вынесшее из своей жизни (нежизни) только одно ощущение: все — ложь. “Аутсайдеры”. Обойденные, отодвинутые, сдвинутые, задвинутые. Сброшенные в “андерграунд”. И из “андерграунда”, из подвала, подполья, подтекста — проклявшие ВСЮ допущенную литературу. От Гомера до Суркова. Включая Пушкина и Баратынского, которые, как упавшие с неба десантники, выкосили “полпоколенья”.

Гомер, кстати, очень органичен в этом антипейзаже. Филологический блеск — черта стиля детей, долго учившихся в мирной тиши, до чертиков доучившихся, в котельные пошедших, чтобы и там — упиваться Текстами. Берут “розу”... нет, не ту, к которой припадает “соловей”, это пошлость; тут требуется роза другого рода: “Роза это роза это роза” — и, вызвав в Текст символ, тотчас демонстрируют “розу” — вылепленную на помойке дождем из “серой слякоти”.

И преподносят этот цветок андерграунда случившейся здесь мартовской девахе, стоящей “у поворота”, юной, раскосой, готовой “забеременеть даже от сального анекдота”.

Влипающая в память точность фактуры, коей очерчен вакуум небытия у талантливого поэта, заставляет все время ждать, что этот вакуум проколется.

Он и прокалывается — на любви. Люди-то — все-таки люди. Тем более когда люди андерграунда проходят школу у Набокова и Бродского. То и дело блесит что-то в мареве развоплощенности.

Блестит вот так:

“Все, что не есть Любовь,  
суть только формы; в оных многократно  
меняя их, из нас плывет любой в  
Любовь, а если нет — плывет обратно”.

Упоение Сизифа: воплотить невоплотимое, упустить опять в небытие и вновь вызвать усилием воли. При этом выделяется неподдельная поэтическая энергия. Стих искрит. Мерцает. И держится — на Любви, хотя сказано же, что ее нет.

Координаты: Виталий Кальпиди. Книга стихов “Мерцание”. Пермь.

## НА ГОРАХ КАРТОШКИ

В мире “знаков” и “осколков” все неожиданно. Говорится: “Она”...

...Не по любви а с отвращением  
Чужое тело обнимала...

Оказывается: рубашка. Говорится: “любовь”.

Что бормочу лишь ей одной понятно  
Вон за стеклом — и нос ее и пятна...

Оказывается: кошка.

Сказано у Петрарки: “Я помню год и месяц, день и час...” Продолжено:

Пришла с подрутой... села не дичась..  
Я помню, мы накачивались водкой...

Разберемся. Мир — это коловращение знаков, значков, кусков, кусочков, осколков. Они торчат или прячутся в щелях и складках

“общего информационного пространства”. В этом пространстве все уже кем-то сказано, освоено, обтрогано, отодрано, отделано. Что-то сказал Петрарка, что-то Петр-апостол, что-то Пушкин, что-то Христос, что-то Хармс. Что-то в псалмах написано, что-то на заборе, а что-то просто наболтано досужими зеваками в толпе. Случайные слова. Из них-то и состоит Жизнь. Из них-то и составляются миры пост-модернизма:

Случайные слова возьми и пропусти  
возьми случайные и пропусти слова  
возьми слова и пропусти случайные

Игра по-своему захватывающая. Если мир сходит с ума, то поэт, подстраиваясь к безумию, как бы возвращает миру строй и порядок. Двойное безумие (туда и обратно) дает как бы норму. Все строится по правилам, но перевернутым; все стоит, но — на голове. Надо знать правила безумной игры, и все сойдется.

Что такое личность? Комбинация рефлексов, стереотипов, блоков, штампов, склеенных желчью, горечью, слезами, рвотой, кровью. Что такое логика? Сцепление совпавших неизвестных. Что такое смысл? То, что складывается из “суждений”. А судить в сущности не о чем: дыра. Пропасть. Атомная воронка.

Мы  
достойны Хиросимы  
Все же Господи спаси! мы  
так хотели чтобы нас  
хоть кто-нибудь спас

В таком мире лучшая декорация для любовного свидания — морг.

## О ЛЮБВИ

Мы жили тогда на задворках больницы  
рядом с моргом —  
Каждое утро будила нас  
медная музыка в зелени —  
и каждую ночь —  
в грудь мою твоё толкалось сердце —  
и вытягивался девственный живот  
в сумасшедших простынях —  
все учащенное дышала —  
и мучили друг друга рты —  
а под полом — внизу в подвале  
стояли банки с формалином —  
отдельно — сердце —  
желудок — легкие — яишники —  
два черепа безгубых — я и ты...

Отдельно сердце, отдельно рот, отдельно легкие... Безгубые черепа в таком контексте — далеко не самое страшное: хрестоматийная иллюстрация к антивоенному лозунгу. Куда жутче другое: сама эта “составная” жизнь, невозможность выстроить ее из внутреннего корня, из дуновения духа. Думаешь: “она”. Щупаешь — рубашка. Думаешь: “любовь”. Всматриваешься — кошка.

А ведь игровой принцип этой поэтики оставляет все-таки блестящую возможность: зайти к истине с черного хода. Назвать кошку кошкой... о, нет: это будет “реализм”. Надо назвать “кошкой” то, о чем Петрарка спрашивал: что это?

Это — морг.... нет, морг уже был. Это — овощехранилище. Урал, зима пятидесятого. Сугробы под крышу. Внутри — темно, скользко, пахнет гнилью. Пригнали мужиков и баб перебирать картошку. То ли из лагеря они, то ли из училища, то ли и оттуда, и оттуда. “Штаны платки бушлаты и заплаты”. Матерщина. Какая-то девка вылезает из щели. А эта... еще откуда? “Глаза блестят и губы виноваты”. Тоненькая шея из-под тряпицы — как проросший росток картофелины. Соленые шуточки, полумрак, слабый белесый свет из окон. Нет, тут надо перейти на поэтический строй.

Потому что это именно то, чему даже сам Петрарка не решался дать имя.

То самое, что в нашем богом проклятом “пространстве” возникает среди кошачьей мочи, водочного перегара и развешанных по стенам барака антивоенных плакатов:

Вверху белеют смутные окошки...  
Возились двое на горе картошки —  
Да это ведь любовь у них была

Координаты свидания: Генрих Сапгир. “Урал зимой пятидесятого”, а также другие стихи в книге “Избранное”, вышедшей в Москве в “Библиотеке новой русской поэзии”.

## “ТЫ ОТКУДА, КУМА?”

Теперь ясно, какое это было счастливое историческое мгновение: когда столицы, очнувшиеся от шока войны, позвали людей из деревень, опустошенных войной: учиться, учиться, учиться! И те, изумленно вглядываясь, спрашивали друг друга: откуда вы? Тихая оставленная деревня растворялась в забвении, а здесь сиял огнями мир новый: рубиновые звезды, светлые дали... “Откуда вы?” — спросишь бывало иностранца, целующего горсть промерзлой земли у кремлевской стены, и тот в ответ: “О, я издалека!” Ось мира — здесь! На первый крик: “Товарищ!” — оборачивается земля. Пять студенческих

лет — как одно мгновение. И вот уже — “прощальный наш банкет...”. Последний наш фокстрот; она плачет; вздрагивают тоненькие пальцы “с миндальной наготой подкрашенных ногтей”; в рев трубы и крике тромбона тонут слезы. “В душе какие-то тени, какие-то страхи...” Откуда? Ведь все пути настезь!

Откуда-то много лет спустя ощутится. И оживет в памяти — не первая любовь, не светлые слезы на излете шумных студенческих лет: Другие тени. Другие слезы. Не слезы — бесслезная сухая горечь.

Здравствуй, отец мой,  
Андрей Яковлевич,  
сообщи, как твои дела.  
Знаю: твой разум ясен,  
но тело от ран болит.  
И все-таки сообщаю,  
что бабушка умерла,  
Под светлой березой  
Анфиса Семеновна  
в чистом поле лежит...

Бедная юность встает со дна памяти, нищее военное детство отзывается. Последние подснежники, “из-под снега, сумасшедшего снега войны” — оглядываются, осмысляя, куда вынесло их потоком истории:

Попробуй сделать шаг,  
Чтоб чудо совершилось.  
Шаг в сторону всего лишь —  
И все произошло.  
Нет в жизни ничего  
Прекрасней, чем решимость.  
Вперед. Почему нам знать?  
Куда нас занесло?  
Золотозубым ртом  
Смеется электричка.  
И на железном лбу ее  
Мигает желтый глаз!  
Не будем рассуждать,  
Прекрасная москвичка,  
Попробуем любить  
В последний, может, раз.

Тяжкая любовь. Поздняя любовь. Горькая любовь. Как карающая десница. За что? За какие грехи? За дерзкую мечту — стать счастливыми, сделать всех счастливыми?

“Шестидесятники” — первое (и последнее) советское поколение, не истребленное войной, не изведенное разрухой, не траченное неверием, спасенное для “идеальной” жизни.

Обернулась “идеальная модель” горьким похмельем. Оставленная в забвенье деревня зовет из-под кладбищенских крестов. Речка Хо-

луница иссякает, окликает. “Растворилась деревня в озерной воде и осталась во мне она... и больше нигде”. Пропала малая родина. Но и большая Родина, для славы которой оставлена была малая, — распадается. Кричишь ей: “Будь страною, страною, страной!” — не может. Застывает поколение, рожденное в живой точке, — метвой сделалась точка. Поколение, произведенное на свет в ходе мирового эксперимента, выведенное в исторической колбе, под колпаком, в вакууме, дает последние показания.

Если и есть что-то реальное за словами “советская интеллигенция”, — то вот она.

Что шепчут эти люди в минуту последней ясности? Да то же и шепчут, вечное: “Я люблю тебя”. Вопрос в том, как шептать, кому, зачем?

Не бойся, дорогая, я с тобою.  
Холодный ветер бьется над трубою,  
И тучи застилают белый свет,  
Как годы, пролетающие мимо,  
Пред будущим мы все незащитимы,  
И потому бояться смысла нет.

Чтобы не бояться, можно надвинуть кепочку козырьком на глаз, как в детстве. Чтобы не бояться, можно заправить квас окрошкой с хреном. Чтобы не бояться, надо подстроиться. Можно, подстроившись к графоманскому наиву, провозгласить: “Жизнь — такова, какова она есть, и больше никакова”. И, между прочим, это будет чистейшая правда.

Диплом университета, конечно, все-таки подпирает химику сердце из нагрудного кармана. “Среди конструкций и деструкций в дисплейно-матричном раю не выбрать нам из многих функций ошибочную, но свою”. Впрочем, если плюс к хрену заправить этот коктейль перцем, может, оно и выстоит. Потому что юмору полно. “Дьюаровский сосуд Фреона давай сглотнем на брудершафт”. Свежая любовь из-под криогенных зон в эрогенные зоны импульс посылает. “Едва твои пальцы запястья коснулись, все дрогнули клетки”. Поколение-то, может, и экспериментальное, да закваска самородная. Ожил, родимый!

— Ты откуда, кума?  
— Я из вакуума!

Опыт продемонстрировал Владимир Костров в книге стихов и поэм “Роза ветров”, Москва.

*(Продолжение следует)*

*Евгений Сливкин*

## ТАРЗАН ИЗ РОДА ОБЕЗЬЯН КАК ПАРАДИГМА РУССКОГО ФУТУРИЗМА

В Питере царило ЭГО, в Москве верховодило КУБО. В Питере были И. Северянин, К. Олимпов, В. Гнедов, И. Игнатъев; в Москве — В. Хлебников, В. Каменский, Д. Бурлюк, В. Маяковский, А. Крученых.

Уже в 1927 году маститый критик Львов-Рогачевский во всем разобрался: "...и вот против гладкой певучести напудренных, подведенных, шуршащих шелком поэз восстали московские кубо-футуристы. Будуарным эга-поэтам они противопоставили свою первобытность".

Для литераторов, более чутких и более близких попеременно то к кубо, то к эго, дело обстояло не столь однозначно. К. Чуковский, к примеру, так приветил Василиска Гнедова: "Личность хмурая и безнадёжная, нисколько ни эго-поэт, в сущности переодетый Крученых, тайный кубо-футурист, бурлюкист, ничем не связанный с традициями эго-поэзии".

Впрочем, о серьезных различиях или сходствах большинства поэтов питерской и московской группировок говорить не стоит: то, что некоторые из них расплатились кровью (И. Игнатъев) и судьбой (К. Олимпов, А. Крученых) за свой футуризм, не означает, что для них существовало что-то более важное, чем игровой момент обоих тече-

ний. Л.Я. Гинзбург в книге “Литература в поисках реальности” со слов Б. Бухштаба приводит характерный рассказ К. Олимпова: “Попалось мне в 1910 году в газете слово “футурист”, речь шла об итальянцах. Понравилось. Что ж, думаю, Игорь Северянин восемь лет пишет, и я тоже немало. Никто внимания не обращает. Надо что-нибудь попробовать. Прихожу к отцу (отцом К. Олимпова был известный декадентский поэт К.М. Фофанов — *Е.С.*): “Папа, мы решили вселенскую школу основать — тебя предтечей...” Папа закричал: “Не смей! Меня в “Новом времени” печатать не будут! Вот когда умру, тогда делайте, что хотите”.

Интереснее поговорить о творческих взаимоотношениях поэтов, одержимых комплексом гениальности не без основания. В замечательной статье “Маяковский и Северянин” — так, кажется, в России и не опубликованной — Н. Харджиев провел конкретный анализ поэтики Маяковского и обнаружил в его ранних стихотворениях прямые аналогии северянинским ритмам, словообразованиям, мотивам.

А вот попытки сопоставить В. Хлебникова и И. Северянина в литературоведении не предпринимались по причине явной абсурдности таковых. Трудно представить, что у этих двух поэтов может быть что-то общее. Системы поэтических мотивов не схожи (разве что случайно перекликнулись в хлебниковской поэме “Шаман и Венера” и северянинском стихотворении “Юг на Севере”); ритмической близости обнаружить нельзя — романсовая напевность, “качание” стиха Северянина не совпадает с колебаниями хлебниковской подритмии; принципы словотворчества различны: у Хлебникова работают корни слов и суффиксы, у Северянина — приставки и русифицированные формы иностранных слов.

Все же попробуем подойти к обоим футуристам по-футуристически, сопоставив их текстовые личности и роли, которые они усвоили и играли на театре литературных действий 10—20-х годов нашего века.

На первый взгляд кажется, что Северянин избрал родной стихией рестораны, будуары, кафешантаны и прочие “сливки” городской цивилизации, апологетом которой он и является. Хлебников же убежденный “дикарь”, и его футуризм, в противовес Маринетти, мало связан с городом и машинерией. Но вспомним физиономию той эпохи.

В конце XIX — начале XX века началось серьезное изучение этнографии первобытных общин, были опубликованы труды Моргана, Тейлора, Фрезера; Фрейд ввел в интеллектуальный обиход современников “оно”, “либидо”, комплексы Эдипа и Электры; детская литература вышла из скучного моралистического тупика, в ней появились шедевры Оскара Уальда, Марка Твена, Редьярда Киплинга, Корнея Чуковского. В этих условиях бульварной фантастике, чтобы симитировать процессы, происходящие в большой литературе и серьезной науке, срочно понадобился образ ребенка-дикаря (на высоком художествен-

ном уровне нашедший воплощение в Маугли Р. Киплинга). И вот в 1918 году американский писатель Эдгар Берроуз пишет “Тарзана из рода обезьян” — первую книгу знаменитой эпопеи, в последующие годы появляются “Возвращение Тарзана”, “Ярость Тарзана” и т.д.

Берроузовский Тарзан, потомок английского аристократа, младенцем попадает в джунгли и вырастает там среди обезьян и хищных зверей. В дальнейшем, на протяжении тринадцати книжек, он, благодаря различным приключениям, то переносится в центры человеческой цивилизации, то бежит обратно в африканские джунгли, с удовольствием меняя костюм денди на набедренную повязку.

Так стиховой прототип Хлебникова превращается в степного коня:

Хребтом и обличьем зачем стал подобен коню,  
кому ты так ржешь и смотришь сердито?

.....

Но зачем ты оставил свой плащ и штаны?!

Мы предстанем перед ними,  
как степные скакуны.

В джунглях Тарзан встречает и похищает свою будущую жену — американку Джейн Портер. Хлебников импровизирует нечто подобное:

Чудовище, жилец вершин,  
с косматым задом  
схватило несшую кувшин  
с прелестным взглядом...

Тарзан сражается со стихиями и врагами: злобной гориллой Керуак, тигром Сейбором, львом Нумой. Берроуз, конечно, не скупится на хруст костей и потоки крови. У Хлебникова для таких сцен свой язык:

Гроза убийще лезвием,  
трекратною смутною бритвою,  
горбились серые горы.  
Дремали здесь мертвые битвы  
с засохшею кровью гнева и ссоры...  
...небу грозил боевым лезвием,  
точно оно слабое горло, нежней чем лен,  
он же — кремневый нож  
в грубой жесткой руке.

Но вот Тарзан оказывается в центре цивилизации, к тому же наследником большого состояния и замков. Действие переносится на палубы океанских лайнеров, в интерьеры ресторанов и великосветских салонов, кишаших графами и графинями. Дикарь, для которого все в западном мире в новинку, по-детски несдержанно наслаждается шампанским и автомобилями.

Тарзан, “прицивилизованный”, впервые появляется перед читателями в красивом спортивном автомобиле где-то в Калифорнии.

Прочтем Северянина:

В ландо моторном, в ландо шикарном  
я проезжаю по островам,  
пьянея встречным лицом вульгарным  
среди дам просто и этих дам.

Или:

Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах  
Люблю заехать в женополдень на чашку чая в женоклуб...

Но вскоре наступает отрезвление: благородный, доверчивый, умеющий искренне любить дикарь (“Я помню Вас: Вы нежный и простой” — обращается Северянин с сонетом к Г. Иванову. Читается — и я такой же) распознает фальшь и жестокость цивилизованного общества (у Северянина: “Я с первобытством неразлучен”, “Душа влечется в примитив”).

Тарзан размышляет о братьях по разуму: “...they are all alike. Cheating, murdering, lying, fighting, and all for things that the beasts of the jungle would not deign to possess — money to purchase the effeminate pleasures of weakling...”

It is a real world, an idiotic world, and Tarzan of the Apes was a fool to renounce the freedom and the happiness of his jungle to come into it”\* (“Возвращение Тарзана”).

Эта филиппика выглядит просто английским подстрочником к поэме Северянина “Солнечный дикарь”:

Природа — все естественное. Все ж —  
культурное — искусственно и значит,  
ваш город лишь кощунственная ложь,  
которая от вас святыню прячет.

.....  
Зверь зверя будет грызть наедине,  
И звери станут грызть зверей открыто  
В так называемой “людской войне”  
Из-за гнилого старого корыта...

---

\*“...они все одинаковы. Плутуют, убивают, лгут, воюют, и все ради того, до чего звери джунглей даже не снизошли бы — деньги, на которые можно купить изысканные удовольствия слабых...”

Это реальный мир, безумный мир, и Тарзан из рода обезьян имел глупость отказаться от свободы и счастья своих джунглей ради него”. (Перевод мой. — Е.С.).

Таким образом текстовые “Я” Хлебникова и Северянина, столь различные между собой в традиционном восприятии, оказываются внутри одной маскультурной парадигмы — Тарзана, солнечного дикаря — роль, подсказанная поэтам их временем.

Дикарь, как известно, окружает себя табуированными предметами и словами. Для Хлебникова (Тарзана в джунглях) табу — слова иностранного происхождения, отсюда его словотворчество и опыты с исконно славянскими корнями. Для Северянина (Тарзана в городе) табуированные слова иные, отсюда обилие иностранных словообразов в его поэзии.

При более подробном сопоставлении тринадцати книжек Берроуза с поэтическими мирами Хлебникова и Северянина могут возникнуть неожиданные и любопытные параллели.

Хлебников, скажем, интересовался древними племенами и народами Сибири, использовал образы их мифологии в своей поэзии (см. Статью Г. Барана “Хлебников и мифология орочей”), написал поэму “Гибель Атлантиды” о последних днях древней империи. У Берроуза же Тарзан открывает неизвестную расу карликов, едящих верхом на крохотных оленях (“Тарзан и людомуравьи”), и встречается с загадочной цивилизацией, происходящей от Древнего Рима (“Тарзан и потерянная империя”). Хлебников написал “Ночь в Персии” и “Трубу Гуль-муллы”, побывав в Иране. Тарзан отправился в Саудовскую Аравию и был очарован жизнью бедуинов (“Возвращение Тарзана”).

## ВМЕСТО ПРИМЕЧАНИЯ

Эго-футуризм умер, оставив только одного хилого наследника — шансонье Александра Вертинского. В тридцатых годах в Париже, в Берлине, в Сан-Франциско он исполнял под аккомпанемент рояля свои стихи, изысканная образность которых напоминала поэзы Северянина. Но ничего от “солнечного дикаря” в лирическом герое стихов Вертинского уже не было, это был другой типаж — изломанный и нервный. Наряду со своими текстами Вертинский постоянно исполнял и “Сероглазого короля” А. Ахматовой:

Слава тебе, безысходная боль!  
Умер вчера сероглазый король...  
А за окном шелестят тополя —  
Нет на земле твоего короля.

Ахматова от этого стихотворения (1910) отрекалась, называла “смрадным”, а Вертинский его настойчиво пел. Как будто с чем-то в себе самом прощался.

Тарзан у Эдгара Берроуза был сероглаз и носил титул короля джунглей. К началу тридцатых годов он гулял по миру не только в бумажных обложках, так как был “оэкранен” Голливудом в 1927 году.

*Урбана, Иллинойс*

*Генрих Сапгир*

## ВСТРЕЧИ С ЭРНСТОМ НЕИЗВЕСТНЫМ

Нью-Йорк в снегу сиял на солнце. “Такое случается раз в сто лет”, — говорили старожилы. Действительно, было холодно: и на Манхэттене, и в номере отеля, сквозь окно, которое смотрело на черный нью-йоркский брендмауэр на черной кирпичной стене, сквозь кондиционер на мою подушку дуло холодом. И поднимался я рано, чтобы поскорей согреться в ближайшем кафе чаем, и гамбургером, и омлетом, “завтрак номер 4”. Вчера я позвонил моему старому другу Эрнсту Неизвестному, которого я не видел, наверно, миллионы лет. И сегодня с утра я иду к нему на Парк-авеню, откуда мы поедем в его мастерскую в Сохо.

А когда-то была Москва середины пятидесятых. Я вернулся из армии, где служил в стройбате на Урале. И работал тогда в Скульптурном комбинате техником-нормировщиком, затем инженером по труду. До сих пор не забыть мне тех гонораров, которые начислял я небезызвестным Томскому, Вутетичу, Манизеру и другим суровым соцреалистам. Естественно, не я их назначал, а сами они себе такие придумали, будучи в разных ответственных комиссиях. Нет, не интересовался я этим официозом.

Однажды я попал в удивительный подвал — мастерскую, где толпились керамические фигурки, глинянные и гипсовые головы, со стен смотрели рельефы — фантазии, яркие майоликовые тарелки, одна из таких тарелок — взрыв в комсое — сохранилась у меня. Это была мастерская скульпторов Силиса, Лемпорта и Сидура. Позднее там остал-

ся один Сидур. И там была для нас молодых, что называется, питательная Среда. Там мы пили, влюблялись, читали стихи, играли на гитаре. Володя Лемпорт или Коля Силис пели сочиненные ими куплеты: “А как у вас дела насчет картошки...”

И там я встретил Эрнста Неизвестного. Он сразу был такой, как сейчас. Я думаю, это свойство настоящей личности: рано стать самим собой и быть собой несмотря ни на что. Он был большой, широкий, выражение лица все время куда-то устремленное, черные глазки буравили вас насквозь, лапы, можно сказать, как лопаты. Вот еще что — он все время работал. Приходишь к нему, заваривает чай, ну баранки, как положено, читаешь что-нибудь новое, а сам хозяин все время в движении. То возится с поворотным кругом. То гнет каркас — часто просто руками. То мнет, ворочает, пришлепывает глину, снимает мастихином целые пласты. То помогает разгружать гипс грузчикам. То выносит с форматорами гипсовые проклеенные формы из мастерской. В общем работает, вкалывает все время. И еще при этом рассуждает о том, что в скульптуре главное взять глыбу и снять с нее все лишнее, что мешает проявиться форме, учитывая саму глыбу, что в искусстве необходимо мыслить сердцем, я помню, он придумал и часто повторял: “Это мысль сердца”.

И уже тогда из-под его руки вышли все эти бронзовые фигурки: человек, вытянутый взрывом, расколотый надвое, клубящаяся женщина — туча, танец идиотки, солдат, пронзаемый штыком, и другие. Ничего подобного я кругом не видел. А в мастерской его как будто извергал вулкан всех этих кентавров, распятий, рожающих, головы, из которых в свою очередь выходили фигуры-фантазии. Все эти бронзовые и каменные крики, вопли, страдания человечества. Казалось, стены мастерской не выдержат и развалятся, и весь этот поток выйдет на улицы, в парки — на простор. И уже тогда Эрнст задумал свои грандиозные планы. Дай Бог, чтобы жизни хватило всех их осуществить.

Молодые скульпторы, которых я встречал в комбинате, говорили мне по-свойски: “Что ты дружишь с этим сумасшедшим!” В общем не одобряли. В 1960 году я написал стихи, прообразом которых был Эрнст Неизвестный, он запомнил их и читал потом, как мне стало известно, разным личностям в разных странах. Не могу их здесь не привести.

#### ИКАР

Скульптор  
Вылепил Икара.  
Ушел натурщик,  
Бормоча: “Халтурщик!  
У меня мускулатура,  
А не части от мотора”.  
Пришли приятели,  
Говорят: “Банально”.

Лишь женщины увидели,  
что это гениально.  
— Какая мощь!  
— Вот это вещь!  
— Традиции  
Древней Греции...  
— Сексуальные эмоции...  
— Я хочу иметь детей  
От коробки скоростей! —  
Зачала. И в скорости  
На предельной скорости,  
Закусив удила,  
Родила  
Вертолет.  
Он летит и кричит,  
Свою маму зовет.  
Вот уходит в облака...  
Зарыдала публика...

#### ТАКОВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВА — и т.д.

А сейчас, этим солнечным февральским утром, пока Эрнст на такси везет меня в Сохо в свою мастерскую, не грех вспомнить скандал на выставке художников-нонконформистов в Манеже лет эдак 35 назад. Тогда Никита Хрущев в сопровождении всего партийного синклита вошел в помещение Манежа. Несколько минут смотрел на картины молодых художников. Затем лицо его исказилось злобой, и он закричал на весь манеж:

— Пидерасы!

— Пидерасы! — подхватило окружение, все эти пожилые люди, кто бледнея, кто краснея от ярости.

Говорят, кричали разное: “Арестовать их! Расстрелять их!” А художочный Суслов, сжимая кулаки, вопил: “Задушить их!”

Художники попытались успокоить генсека. Слава Богу, я слышал, Хрущев был отходчивый. А главное, он вступал в диалог. От своей экспозиции к нему подошел Эрнст Неизвестный. Спокойно, представляете, как ему далось это спокойствие, сохраняя чувство собственного достоинства, он сказал: “Никита Сергеевич, здесь работы всей моей жизни... Прошу вас выслушать меня, и чтобы меня не перебивали. Эту работу я делал пятнадцать дней, а эту — два месяца”.

Он показывал свои работы и рассказывал, какой это тяжелый труд — тесать дерево или рубить камни. Труд скульптора сродни труду каменотеса. Это Хрущеву было понятно. С ним говорил каменотес — рабочий человек, сильный, широкоплечий. И Никита Сергеевич постепенно успокоился.

В общем, такой исторический анекдот произошел. А ведь десятком лет раньше всех могли и посадить. А еще раньше и задушить, по Суслову. Рискованно в России быть свободным художником...

Наконец мы доехали. Эрнст открыл ключом мастерскую. Какую по счету? Был я у метро “Аэропорт”, был на Сретенке, был на проспекте Мира — всех не упомнишь. И еще был в мастерской-музее в Швеции, три часа езды от Стокгольма на машине, среди сосновых лесов и длинных озер.

Так уж получилось, колесили поэты — я, Виктор Соснора и Вознесенский — по шведским городкам с выступлениями. Было начало июня. На ярко-зеленых луговинах паслись табунки лошадей, просто так — украшая пейзаж. Шведы — мэры своих коммун — были молоды, джинсовы и радушны. А тут еще такой подарок: в большом доме с просторными окнами — фигуры и кентавры, наверху — цикл картин. Все было полно яростью жизни. И величавость, и сила северной природы была сродни произведениям художника. Я понял, почему эти высокие блондинистые люди его особенно любят здесь.

Ну так вот, открыл Эрнст свою очередную мастерскую в Сохо в Нью-Йорке. И я снова попал в мир его гигантов. И сразу разговор о главном, будто мы и не прерывали его: об искусстве, о политике. О том, что вчера он завтракал с приехавшим Черномырдиным и тот сказал, что больше всего опасается, что наверх придут непрофессионалы. О том, что всюду, даже в Екатеринбурге, его памятники превратились в долгострои, кроме памятника жертвам репрессий на Магадане. Тот почти готов, и скоро Эрнст полетит завершать его. Эрнст показал мне большую голову в глине, над которой он работал. Это портрет его друга Мераба Мамардашвили — замечательного философа, которого и я знал, увы, уже покойного. Может быть, великого.

— Я раньше удивлялся скульпторам, которые делают портреты, и на что им эти все морщинки на лице? — говорил Эрнст. — А теперь каждая морщинка его мне дорога, все хочется вылепить. Сам себе удивляюсь. А жена у меня молодая и твоя поклонница.

А я думал вот что: тебе была дана великая дружба, Эрнст. И теперь дана настоящая любовь. И ты всего этого оказался достоин, как человек и как русский художник. Ну если и сравнивать внутреннего тебя, то только с большим каменным блоком, жизнь и судьба сняли с тебя все лишнее, и осталось в самый раз, чтобы выразить “идею сердца”.

*Александр Глезер*

## ЦЕНТР ПОМПИДУ: “ЛИЦОМ К ИСТОРИИ”

Пожалуй, в Европе нет более престижного места для выставок, о котором мечтают без исключения все художники, чем французский Национальный музей современного искусства, еще называют его в Париже Центром Помпиду или Бобуром. До сих пор лишь два русских художника-нонконформиста имели, как говорится, честь экспонироваться тут. В 1988 году в Центре Помпиду состоялась персональная выставка Эрика Булатова. В прошлом году парижские любители изобразительного искусства знакомились в Бобуре с инсталляцией Ильи Кабакова.

Недавно в Центре Помпиду открылась громадная — больше тысячи экспонатов — международная экспозиция “Лицом к истории”. Тут, как в Греции, есть все: картины, скульптуры, объекты, фотографии, документы, книги, журналы времен фашистского рейха и сталинской эпохи. Охват времени: 1933—1996 годы. За один заход осмотреть все невозможно, тем более что здесь и демонстрация видеофильма Александра Сокурова об Афганистане и телефильма о бульдозерной выставке. Но что на этой экспозиции ухватываешь сразу это так — знаменитости. Тут картины и скульптуры Пабло Пикассо и Марка Шагала, Сальвадора Дали и Пауля Клее, Рэне Магрита и Генри Мура, Фернана Леже и Наума Габо, Жана Миро и Роберта Раушенберга... Всех великих не перечислить. И тем более отрадно, что рядышком с ними на выставке “Лицом к истории” присутствуют русские мастера, те, кого еще недавно называли

нонконформистами. Две работы Виталия Комара и Александра Меламида, две картины москвича Эрика Булатова и по одному полотну парижанина Оскара Рабина и Ильи Кабакова, который вроде бы живет сразу по обе стороны Атлантики, — вот вклад неофициального русского искусства в этот международный форум, который показывает историю нашего века со стороны трагической. Впрочем, две мировых войны, революция и гражданская война в России, террор Сталина и Гитлера, война в Афганистане, в Чечне и теперь в Африке, кровавое израильско-арабское почти тридцатилетнее противостояние, набирающий силу международный терроризм... С какой же стороны наше столетие может изобразить подлинный, то есть не только талантливый, но и искренний художник.

Так что с выставки, даже не погружаясь в нее, после беглого осмотра уходишь в несколько подавленном состоянии. Неужели мы все, все человечество, в этом аду жили? Увы, жили, и большинство даже выжило. И выжили те, я говорю сейчас только о наших художниках, кто в несвободной стране отстаивал свободу творчества, кого давили бульдозерами, кого выгнали из страны или заставили ее покинуть. И если Кабаков и Булатов вкусили раньше “сладость” Помпиду, то остальные трое впервые представлены в престижнейшем, как известно, музее Европы. Особенно меня радует, что французские кураторы отобрали для экспозиции картину Рабина. Дело в том, что художественная политика Центра Помпиду, как и еще ряда западных музеев, весьма определена. Если коротко: искусствоведов этих музеев идеи интересуют в первую очередь, живопись, если и интересует, то в двадцатую. Оскар Рабин живет буквально в десяти шагах от Центра Помпиду. Но никогда не приходило в голову искусствоведам этого музея заглянуть к нему в мастерскую. Слишком личным, слишком человеческим, если хотите, одухотворенным было и есть его творчество. И вот сейчас прорыв. Приехали. Его знаменитая картина “Паспорт” из Музея Дины Верни удачно включена в экспозицию. Но почему это случилось? Тема ли выставки заставила ее организаторов обратиться к “Паспорту” или что-то сдвинулось в сознании музейных кураторов? Действительно, сколько же можно? Сначала — конструктивизм, затем — кинетизм, поп-арт и соц-арт, все — идеи, идеи, идеи... А где же искусство живописи? Где картины? По мнению искусствоведов-кураторов, которые упомянуты выше, картин скоро не будет вообще, делать экспозиции будут они, кураторы, приглашая тех или иных художников изобразить, к примеру, декоративное пятно или какую-то экспрессию. Сегодня даже многие поклонники, скажем, Малевича и Татлина или Раушенберга и Джаспера Джонса, Вазарелли и т.д. и т.п. считают, что для последователей и истолкователей творчества этих великих мастеров идеи последних стали чем-то единственно-верным, как марксизм-ленинизм для его последователей в СССР. Все больше и больше, особенно в последнее десятилетие, наиболее престижные западные музеи начали обращать внима-

ние в первую очередь на идеи. Известные галереи, несогласные с этим процессом и продолжавшие экспонировать современную живопись, живопись как таковую, в глазах кураторов музеев переходили в разряд второстепенных. Зато те, кто исповедовал “прогрессивные” взгляды, как, например, нью-йоркская галерея Рональда Фельдмана, выдвигались на первый план. Как странно: раньше на 1/6 части Земного шара ведущие официальные художники формировали дружные колонны соцреалистов, шагающих в светлое будущее под красным флагом. Ныне на Западе маленькие, в сущности, начальники от искусства формируют другие колонны, колонны концептуалистов, очевидно, тоже шагающих в некое свое светлое будущее. Этим колоннам, как и их руководителям, то есть кураторам, не нужна индивидуальность, тем более выражающая себя с помощью каких-то изживающих свой век картинок. Куда же в такой ситуации деться индивидуальности, без которой нет искусства, а есть лишь бездуховно-машинная иммитация его.

Интересно, что оказавшиеся на Западе наши известные мастера, за исключением Ильи Кабакова, громко отказавшегося от станковой живописи и рисунка во имя бесконечных инсталляций, отражающих советское бытие (кстати на теперешней выставке в Бобуре он представлен старой прекрасной картиной), остались, слава Богу, верны себе. Ни Эдуард Штейнберг, ни Эрик Булатов, ни Оскар Рабин, ни Владимир Немухин, ни Эрнст Неизвестный, ни Владимир Янкилевский, ни Михаил Шемякин от индивидуальности отказываться не собираются, а наоборот — берегут ее как зеницу ока. Неужто им из-за этого так и быть на обочине по милости нескольких нахрапистых, жаждущих власти искусствоведов? Нет, конечно, они не бедствуют, многие из них сотрудничают с престижными галереями, порой выставляются в известных музеях. Но все-таки в наиболее престижных музеи по обе стороны Атлантики дорога им пока что заказана. А может быть, рабинский “Паспорт” — первая ласточка? Хотелось бы надеяться...

В заключение несколько слов о каталоге выставки “Лицом к истории”. Составители его проделали поистине гигантскую работу. Буду говорить лишь о русской части, но не о статьях Ольги Свибловой и Виктора Мизиано, которые, повторяя зады тех самых кураторов, никоим образом не раскрывают подлинную историю неофициального искусства, а лишь фальсифицируют ее. Зато над хроникой культурной жизни в СССР и России французские авторы поработали старательно. Ими не упущено почти ничего: отражены и такие заметные события, как хрущевский погром в Манеже в 1962 году, выставка в клубе “Дружба” на шоссе Энтузиастов, закрытая гебистами и работниками горкома партии в 1967 году, бульдозерное побоище 15 сентября 1974 года, отъезд из Москвы и лишение гражданства Оскара Рабина, открытие Музеев современного русского искусства в Монжероне и Джерси-Сити и поездка Рабина в 1984 году в Нью-Йорк в связи с ретроспективной персональной выставкой, и даже вроде бы почти позабытая нами выс-

тавка Владимира Яковлева 1969 года в библиотеке на Преображенке, прихлопнутая немедленно карателями. Немало слов в хронике и о писателях наших, в частности, о Александре Солженицыне и Владимире Максимове, а также об Андрее Сахарове, Владимире Буковском... И все сделано честно. О, если бы так поступили и наши российские искусствоведы в своих статьях для каталога этой выставки, которая продлится в Центре Помпиду до середины апреля. Если вам доведется быть в Париже, загляните в Бобур, не пожалеете.

*Александр Глезер*

## **ИЗОЩРЕННЫЙ ПРИМИТИВИЗМ И КОСМИЧЕСКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И В МОСКВЕ**

Тридцать два года назад в Эрмитаже открылась выставка произведений рабочих его хозяйственной части. Ими тогда были Михаил Шемякин, Евгений Есауленко, Эдуард Зеленин, Владимир Овчинников. Выставка эта была почти сразу же закрыта, а директора Эрмитажа, допустившего ее, выгнали с работы. А вот теперь в трех залах этого замечательного музея разместились персональная экспозиция В. Овчинникова, на которой представлено тридцать четыре картины и четыре скульптуры мастера. Хотелось бы отметить, что тут демонстрируется всего лишь несколько холстов семидесятых и восьмидесятых годов, все остальное написано в 1994—1996 годах. С одной стороны, хорошо, что художник активно работает и даже занялся по примеру, наверное, Владимира Немухина, скульптурой, но с другой, жаль, что именно на выставке в Эрмитаже, то есть выставке весьма престижной, столь мало произведений прежних лет. Увы, вечные русские вопросы “что делать?” и “кто виноват?”. Виновата, конечно же, советская власть, которая запрещала этому художнику выставляться, и

западные коллекционеры, приобретавшие холсты Владимира Овчинникова. А что делать? Пожалуй, сделать ничего нельзя. Не везти же в Питер картины из Парижа, Нью-Йорка, Кельна, то есть везти-то можно, но кто же деньги на это даст?

В Музее современного русского искусства в Джерси-Сити под Нью-Йорком состоялась первая персональная экспозиция Владимира Овчинникова. Откликаясь на нее, художник и искусствовед Сергей Голлербах писал: “Назову его “сказителем” в самом глубоком смысле этого слова, то есть человеком, который рассказывает истории, полные морали, символики и религиозного смысла. Истории эти, переданные простым народным языком, всегда содержат в себе особую “примитивную изощренность и неожиданную драматическую образность”. Но и чувство юмора присутствует в них. Конечно, он — современный художник — знакомит нас как с русским авангардом, русским лубком и народным искусством, так и с западным сюрреализмом и всеми родственными ему течениями”. “Сказ” Владимира Овчинникова критик определяет как задумчиво-грустный и продолжает: “Короткие, как бы игрушечные фигуры в его композициях — мужики, рабочие, ангелы с белыми крыльями, свиньи, собаки, даже кочаны капусты и картофельные поля — все как-то в “себе”, думают свою думку. Даже явно динамические сюжеты — “Чехарда”, “Волейбол”, и евангельский — “Изгнание торгующих из храма” — поданы как бы в замедленном действии, в раздумье. Все творчество Овчинникова пронизано религиозным чувством. Но наряду с этим замечается какое-то недоумение — не мастера-живописца (тут Овчинников уверен и тверд), а человека, гражданина, христианина. Что есть жизнь — юдоль мирская, театр абсурда, путь к искушению”. Пожалуй, и сегодня к этим словам С. Голлербаха о творчестве В. Овчинникова можно только присоединиться.

А в Москве в галерее А-3 в эти же дни проходит выставка еще одного известного мастера Николая Вечтомова. Он — лианозовец, а значит, друг художников Оскара Рабина, Владимира Немухина, Лидии Мастерковой, поэтов Всеволода Некрасова, Генриха Сапгира, Игоря Холина. Все они из легендарной “Лианозовской группы”, выставка которой состоится в 1997 году в Третьяковской галерее. Пока же в галерее А-3 воцарился сюрреальный мир Николая Вечтомова: живопись и графика. Этот мир — суров, иногда и холоден, и как бы отстранен от зрителя, он словно даже нем. Интересно, что в жизни Вечтомов — мягкий, спокойный, порой даже застенчивый человек. Но перед мольбертом он преобразается и скорее напоминает того, давнего Вечтомова — танкиста военных лет, который под огнем вытаскивал из горящего танка своего товарища. Его напряжение, фантастические холсты и графические работы с сюрреалистическими пейзажами и видениями, как-то не сопрягались, для посторонних и

не знавших его людей с этим милым человеком. На выставке в галерее А-3 представлено 37 работ художника 50—90-х годов, то есть она носит ретроспективный характер.

Мне приходилось слышать о том, что Вечтомов — художник космической темы. Думается, это определение носит слишком узкий характер. По-моему, совершенно прав критик Александр Каменский, писавший семь лет тому назад о Вечтомове: "Скорее, можно сказать, что он земные впечатления переводит в сокровенный и величавый регистр, то есть в основе его впечатлений — реальные впечатления от окружавших его предметов, живых существ, обстоятельств".

**Оскар Рабин**

## **Три жизни**

**Из книги воспоминаний**

### **ОТ РЕДАКЦИИ**

*Тридцать лет тому назад, 22 января 1967 года, в клубе "Дружба" на шоссе Энтузиастов открылась своего рода историческая выставка двенадцати художников-нонконформистов. Организована она была Александром Глезером, а закрыта через два часа после начала вернисажа гебистами и работниками горкома партии. Мы считаем эту экспозицию исторической, так как, во-первых, это была первая выставка неофициальных художников, которую могли посетить все желающие; во-вторых, после нее А. Глезер стал собирать свою коллекцию, на базе которой сперва открыл у себя на квартире на Преображенке в 1968 году своего рода музей неофициального искусства, а затем, изгнанный из СССР, основал сначала в Монжероне под Парижем (1976), а потом в Джерси-Сити под Нью-Йорком Музей современного русского искусства в изгнании. Результатом деятельности этих музеев стало свыше 160 групповых и персональных экспозиций неофициального русского искусства в музеях, домах культуры, выставочных залах и галереях Парижа, Лондона, Западного Берлина, Вены, Венеции, Турина, Брауншвейга, Констанца, Шартра, Тура, Токио, Нью-Йорка, Вашингтона, Цюриха, Лозанны, Антверпена... Во Франции, США, Западной Германии появились коллекционеры свободного русского искусства.*

Основанное в 1976 году в Париже А.Глезером издательство "Третья волна" и его журналы "Третья волна" и "Стрелец" тоже пропагандировали творчество художников-нонконформистов. Тому же служили многочисленные статьи А. Глезера в эмигрантской и западной прессе, а также его книги "Русские художники на Западе", "Современное русское искусство" и выпускаемая "Третьей волной" Библиотека нового русского искусства, в которой уже вышли (каждая на русском, французском и английском языках) монографии об Оскаре Рабине, Владимире Немухине, Олеге Целкове, Дмитрие Краснопевцеве, Александре Харитонове и Вячеславе Калинине.

Возвратившийся в 1991 году в Россию со своей коллекцией А. Глезер уже организовал в Москве, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и Риге свыше тридцати выставок.

Вот к чему привела выставка в клубе "Дружба" на шоссе Энтузиастов. Поэтому и отмечается ее юбилей. И 10 марта, в день рождения А. Глезера, причем он считает выставку в "Дружке" как бы вторым своим рождением, в Государственном литературном музее открылась экспозиция, посвященная ее тридцатилетнему юбилею. На ней представлены произведения художников, участвовавших тридцать лет назад в той исторической выставке. Но мы напишем о ней в следующем номере "Стрельца", а сейчас предлагаем вашему вниманию главы из книги воспоминаний Оскара Рабина "Три жизни", в которой речь идет о выставках в клубе "Дружба" и связанной с ней выставкой в Тбилиси.

## ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ

Приблизительно в это время я встретился с человеком, который сыграл очень большую роль в моей жизни — с Сашей Глезером. Однажды декабрьским вечером 1966 года в дверь позвонили. Мы с Валей никого не ждали, но привыкли, что часто кто-нибудь заходил на огонек — посидеть, поболтать. В дверях стоял молодой человек небольшого роста с обычным, не запоминающимся лицом, одетый в демисезонное, не по погоде пальто. Я пригласил его зайти. Разговорились. Он сказал, что видел мою картину "Барак" у литературоведа Пинского и что она ему очень понравилась. Попросил, чтобы я показал другие работы, и вдруг объявил, что хочет организовать мою персональную выставку в клубе "Дружба". Там он вел клуб "Наш календарь", посвященный литературе и искусству, организовывал вечера поэтов, писателей и художников. Это была общественная работа.

Саша — по образованию инженер-нефтяник — работал раньше в одном из НИИ, находившихся на шоссе Энтузиастов. Клуб "Дружба" располагался неподалеку. На вечера приглашались "звезды" первой величины, такие, к примеру, как Андрей Вознесенский, Илья Эренбург, Эрнст Неизвестный. В то время Синявскому с Голомштоком удалось напечатать небольшую статью с положительным отзывом на живопись

Пикассо. Глезер раздобыл репродукции и устроил в своем клубе выставку репродукций Пикассо. Обсуждения таких выставок бывали, как правило, очень бурными и привлекали массу народа.

Ко времени нашего знакомства Саша ушел из НИИ и целиком посвятил себя литературе (он занимался переводами стихов с грузинского на русский). Из клуба, под тем предлогом, что он больше не работает в НИИ, начальство решило его “убрать”, и года два Саша там не появлялся. Однако директору клуба Лидскому явно не хватало многолюдных, имевших большой успех вечеров. Поэтому, встретив в 1966 году Глезера случайно на улице, он предложил ему вновь организовать какой-нибудь вечер. Мои картины как раз и натолкнули Сашу на идею сделать вместо вечера персональную выставку Оскара Рабина.

Я стал объяснять, что ничего путного из этой затеи получиться не может, рассказал обо всех неприятностях, которые у меня были. Но он не хотел ничего слушать. Страшно активный, до краев переполненный энергией, Саша рвался в бой. И вполне возможно, что отсутствие ясного понимания той опасности, которая ему грозила, позволило добиться того, где другой наверняка бы потерпел поражение. Эта выставка стала для Саши Глезера началом новой деятельности, которая продолжается и по сей день. Я подумал, что терять нечего, “была не была”, и согласился.

После долгих споров и обсуждений мы решили выставить в клубе картины двенадцати художников, чтобы более или менее полно представить тенденции, существующие в неофициальной живописи. В число выставлявшихся, не считая меня и семьи Кропивницких, входили Володя Немухин, Лида Мастеркова, Коля Вечтомов, Толя Зверев, Дима Плавинский, Эдуард Штейнберг и Валентин Воробьев. Эдакое боевое командо под предводительством Глезера. Что касается стратегии, то планировали по мере возможности избежать боя. Вернисаж назначили на воскресенье, чтобы свести до минимума вмешательство начальства. Мы надеялись, что чиновники из райкома и Министерства культуры разъедутся на дачи, а мелкая сошка вряд ли по своей инициативе решится закрыть выставку. Если все обойдется, то она просуществует хотя бы несколько дней. Если же нет, то и одного воскресенья вполне достаточно.

Саше удалось обмануть бдительность цензоров и залитовать пригласительные билеты. В них одновременно с выставкой объявлялось о поэтическом вечере поэта Голубева во вторник 24 января, после чего должно было состояться обсуждение живописи. О какой живописи шла речь, в приглашении не упоминалось. На первой страничке пригласительного билета помещался портрет поэта, указывалась дата — 24 января и программа, а вторая страничка оставалась пустой. В Главлите, ничего не подозревая, поставили печать, а потом на пустой страничке знакомые машинистки в печатали наши фамилии и указали дату и час вернисажа — 22 января, с пяти до восьми.

Мы отдавали себе отчет в том, что делаем, но считали, что цель оправдывает средства. Накануне, в субботу вечером, был сильный мороз — кажется, 25 градусов ниже нуля. Наняли шофера-левака с грузовичком и перевезли в клуб картины. Там, в кабинете директора, их нераспакованными и сложили с тем, чтобы назавтра, до прихода зрителей, сделать развеску. В любом, самом худшем случае, — если выставку закроют, едва она откроется, мы хотели, чтобы хоть кто-нибудь ее увидал, и поэтому попросили друзей прийти на часок пораньше.

В воскресенье утром мы все, двенадцать художников, уже были на месте. Прежде всего надо было очистить зал, увешанный плакатами и лозунгами с бюстом Ленина посредине. Как-то не вязались наши картины с Лениным и его призывами. Распаковав картины, расставили их на полу вдоль стен, чтобы прикинуть, куда какую повесить. В этот момент в зал вошел директор клуба. Краем глаза взглянув на картины, он тут же выбежал вон. Это ничего доброго не предвещало, но мы решили — будь что будет — продолжать развеску. А Лидский уже звонил Глезеру, чтобы тот немедленно приехал и убрал эти крамольные картины. Потом директор вернулся в зал и вежливо попросил нас забрать холсты и уйти из клуба. Мы отказались. Если решение об открытии выставки было принято вместе с Глезером, то пусть и закрывают ее вместе с Глезером. Кстати говоря, мы предвидели подобную реакцию директора и накануне спросили у Саши, что он в таком случае намеревается делать. Глезер ответил, что если директор станет ерепениться, то он просто его свяжет и запрет в кабинете до конца вернисажа. “Но ведь это гангстеризм, Саша”, — заметил я. “Ну и что же, — ответил он, — зато выставка состоится”.

Примчался на такси Глезер, в зал вошла какая-то женщина, которая оказалась секретарем парторганизации НИИ, и втроем вместе с Лидским они стали смотреть картины. Секретарь парторганизации нам, кстати, помогла. Она сказала, что некоторые вещи следовало бы, правда, убрать, однако она ничего страшного не видит. Ну посмотрят люди и спокойно разойдутся. Глезер припомнил директору все свои заслуги перед клубом, вызвал в директорской памяти былую славу этого учреждения и заверил, что выставка не повредит ему, а только поможет. И наконец Лидский смягчился. В сущности, он был неплохим человеком, но очень тщеславным. Ему льстило внимание знаменитостей. И когда в зале появился Евтушенко, он совершенно растаял.

Час открытия еще не наступил, но зал был уже битком набит. Я заметил жену американского посла госпожу Томсон, которая с трудом протискивалась сквозь толпу, чтобы получше рассмотреть картины.

Ко мне подошел Глезер и сказал, что на выставку прибыло большое начальство. Они о чем-то поговорили с директором и заперлись с ним в кабинете. Кинулись к Евтушенко и Слуцкому. Оба тут же отправились к Лидскому. В кабинет их впустили, но разговаривать не стали. Просто заявили, что выставка эта провокационная и должна быть немедленно закрыта.

Через некоторое время вызвали Сашу и меня. В кабинете находились майор КГБ и двое в штатском — инструктор отдела культуры горкома по изобразительному искусству Абакумов и заместитель заведующего этим же отделом Пасечников. Абакумов, тощий, желчный и нервный мужчина, кричал так, что изо рта брызгала слюна: “Пусть кто-нибудь из художников объявит, что осмотр выставки на сегодня окончен! Послезавтра, как и намечалось, состоится публичное обсуждение, дискуссия по поводу картин!..”

Я сказал: “Вы хотите, чтобы я сам закрыл выставку. Нет уж! Мы, художники, пишем картины, а выставки закрывать — ваше дело”.

А в зал непрерывным потоком шел народ. Неожиданно потух свет. Раздался смех и свистки. Свет зажегся вновь. Перед публикой появился директор, осунувшийся, с измученным, постаревшим лицом. Дрожавшим голосом он попросил собравшихся разойтись, так как помещение срочно требуется для демонстрации фильма. “Вы не думайте, что выставка закрывается, — заверил он. — Ее продолжат завтра, и все желающие смогут посмотреть ее в спокойной обстановке”. “Держи карман пошире! Дадут они тебе вторник!” — крикнул кто-то. Люди были недовольны, однако направились к выходу. Вскоре зал опустел.

Наутро, подъезжая к клубу, мы увидели возле здания толпу. Клуб был оцеплен дружинниками. Подошли поближе и слышим, как стоящий возле запертой двери человек говорил: “Да о чем вы говорите? Никакой выставки не было и нет. Вы чего-то перепутали!” Когда мы вошли в клуб, он был в точности таким, как перед выставкой — посредине возвышался бюст Ленина, всюду висели плакаты и лозунги, и лишь кое-где болтавшиеся на стенах обрывки веревок свидетельствовали, что картины здесь все-таки были.

В кабинете за письменным столом Лидского восседала неопределенного возраста женщина с жестким лицом и крепко сжатыми губами — секретарь парторганизации завода, которому принадлежал клуб “Дружба”. “Идите в соседнюю комнату, где стоят опечатанными ваши картины, и ждите!” — приказала она. Мы вошли в комнату, где картины стояли вдоль стен, аккуратно сложенные и запакованные. И тут же дверь распахнулась и в комнату ворвалось человек двадцать молодчиков. Лица у всех каменные, в глазах — злоба. Один из них, гораздо старше остальных, очевидно, тоже начальник, подошел ко мне: “Это вы у них ответственный?” “А кто, собственно говоря, вы такой?” — возразил я. “Не собираюсь с вами связываться по этому поводу! — сказал он. — Забирайте сию секунду ваши картины и убирайтесь отсюда!” Молодчики загалдели: “Да, да, пусть катятся отсюда, да поскорее!”

Наконец после бесконечных споров объявили, что мы можем отправляться с картинами домой. Мы картины взяли и направились к выходу, но дорогу перегородили те же дюжие молодчики. Они указали на запасной выход, который вел во двор. Там нас уже ждали два крытых грузовика. Очевидно, начальство боялось, что на улице нас станут фотографировать иностранные корреспонденты, и мы можем поднять

скандал. Картины погрузили в грузовики, молодцы услужливо подсадили нас, старший, приветливо улыбаясь, повторял: “Ничего-ничего! В общем-то вы все неплохие ребята, только сечь вас некому”. Каждого подвезли к самому подъезду и отнесли картины в квартиры. Возле моего дома произошла заминка: из-за узкой дороги грузовик к дому подъехать не мог. Я предложил, чтобы картины выгрузили на месте, а дальше, мол, я сам донесу. Однако мои спутники категорически отказались и собственноручно донесли груз.

В разразившемся скандале начальство обвиняло нас и Глезера. Ему внушали, что он является слепым орудием ЦРУ, что он организовал идеологическую диверсию, что подобные выставки на руку западным средствам информации, которые поднимут вой по поводу того, что в СССР закрываются выставки художников. Глезеру грозили, что лишат работы и не дадут печататься, если он не перестанет являться с Рабиным. А Рабин ведь — известно кто, и ясно, под чью дудку пляшет!

Начальство так и не поняло, что истинным виновником скандала было оно само. Не закрылась бы выставка, не было бы никакого шума вокруг нее. А теперь, конечно же, иностранные корреспонденты сообщили своим агентствам о случившемся. В Москве только и было разговору, что о сорванной выставке, о нас передавали Би-би-си и другие западные радиостанции. Мы становились несправедливо гонимыми жертвами. Кстати, в будущем все повторилось: мы снова устраивали выставки, начальство снова со скандалом их закрывало. Получался какой-то заколдованный круг.

От дальнейшего развития событий ничего хорошего ждать не приходилось. На комбинате немедленно созвали партсобрание для рассмотрения личных дел Рабина, Кропивницкого и Вечтомова. Когда мы спросили, почему нас, беспартийных, разбирает партсобрание, нам объяснили, что наша выставка носила идеологический характер, вызвала недопустимую реакцию за границей и поэтому выходит за рамки обычных дел. Во всяком случае, парторганизация не может обойти молчанием этот факт.

Моя ситуация осложнилась с появлением в газете “Советская культура” статьи, которая называлась “Дорогая цена чечевичной похлебki”. Так власти наконец отреагировали на состоявшуюся в Лондоне год назад выставку. Если исходить из написанного, то автор статьи, искусствовед Ольшевский вообще ни разу в жизни не видал ни одной моей работы. Сведения он почерпнул из каталога лондонской выставки. Мои картины назывались в статье бредом сумасшедшего, сам я — продавшимся зарубежным хозяевам, которые используют мою живопись в качестве антисоветской пропаганды. Когда я стану не нужен, меня выкинут, как выжатый лимон. В заключение Ольшевский выразил неожиданное пожелание, чтобы я нашел в себе силы стать настоящим советским художником, ибо обладаю для этого достаточным талантом. Один из моих друзей, лично знавший Ольшевского, сказал мне, что в общем-

то он человек порядочный, но что в данном слуге просто вынужден был подчиниться приказу. Статья Ольшевского также должна была обсуждаться на собрании.

Дирекция комбината ломала голову над тем, как выйти из создавшегося положения. Из-за этой проклятой выставки на них тоже ложилось пятно. Руководителей обвиняли в отсутствии бдительности и политико-воспитательной работы, в том, что работники совершенно уходят из-под партийного контроля. Накануне собрания меня, Льва и Колю обрабатывали в соответствующем духе. Прежде всего нас вынуждали покаяться и признать свои ошибки. Мы отмалчивались. Затем наш новый директор, не тот, который принимал меня на работу, — они у нас часто менялись — вызвал меня к себе. Он сообщил, что во всей этой истории зачинщиком являюсь я и поэтому меня немедленно уволят. Если я уйду с работы по собственному желанию, то и мои друзья последуют моему примеру, и тогда все образуется само собой. В таком случае он, директор, обещает дать мне хорошую характеристику. Я отказался. Директор побагровел. “Если не уйдете вы, — закричал он, — то уйду я!” Было совершенно непонятно, почему он закатил такую историю, когда проще всего было бы просто-напросто вышвырнуть нас всех из комбината.

Все прояснилось, когда во время последней “проработочной” беседы парторг проговорился, что сверху пришло предписание ни в коем случае вас с работы не выгонять. Человек неглупый и проницательный, парторг трезво изложил сложившуюся ситуацию: “В конечном итоге, — сказал он, — мы все находимся на одном корабле. Я понимаю, что вам трудно отказаться от ваших принципов. Но ведь и у нас из-за вас большие неприятности. А мы ко всей этой истории вообще не имеем отношения”. Он говорил спокойно и доброжелательно. Мы сказали, что тем более не хотим никакого скандала и сделаем все, чтобы его избежать. Как бы то ни было, следовало подготовиться к партсобранию.

Мне в первую очередь наверняка придется отвечать на обвинения, выдвинутые Ольшевским. Мы с Валею долго репетировали сцену будущего собрания. Валя, с “Советской культурой” в руках, задавала вопросы. Я по мере сил и возможностей отвечал. Должен сказать, что на собрании эта “репетиция” здорово помогла.

Начавшись в 5 часов вечера, собрание, включая десятиминутный перерыв, закончилась только в 11. Большой зал был набит битком. В первом ряду сидели члены худсовета, известные, солидные, заслуженные художники, которым велели выразить свое отношение к нашим картинам. За столом в президиуме находились представители из отдела культуры МК и руководители нашей парторганизации.

У дверей стояли два здоровенных парня, которые проверяли документы. Впереди шел я с картинами, за мной — Лев и рядом с ним Коля Вечтомов. Стараясь быть как можно незаметней, между нами проскользнул Саша Глезер. Секунду поколебавшись, парни все-таки его пропустили.

В соответствии с регламентом сначала должно было состояться обсуждение картин. Потом выступаем мы и отвечаем на вопросы. Парторг, который вел собрание, вдруг заметил Сашу и велел ему выйти. Тут я поднялся и сказал, что поскольку именно Глезер является организатором выставки на шоссе Энтузиастов, то ему и карты в руки: то есть он сумеет все объяснить гораздо лучше нас. Члены худсовета, жаждавшие услышать подробности облетевшего всю Москву скандала, стали на сторону Глезера, и ему разрешили остаться. Шум стих. Глезеру первому предоставили слово.

Когда мы вырабатывали общую линию поведения, то решили, что Саша, если ему дадут говорить, должен выступать как можно дольше, чтобы затянуть время. И Саша, что называется, показал высший класс. Он начал издали, с самого детства. Рассказал о художественном воспитании в обычной советской семье, где ознакомление с живописью не шло дальше картин Шишкина. Потом поведал о первом знакомстве с творчеством Пикассо, а затем о дальнейшем увлечении современной живописью. Зал заинтересованно слушал. Однако председатель, понимая, что происходит что-то не то, явно нервничал: “Покороче!” — приказал он. Саша невозмутимо продолжал, затем привел цитату из книги Роже Гароди “Реализм без берегов”. Вдруг его раздраженно прервал представитель из МК: “Откуда вы достали книжку, которая не издавалась в Советском Союзе?” “Я отлично понимаю, куда вы клоните, — ответил Глезер. — Вам известно, что эта книга издана ограниченным тиражом специально для работников партии вроде вас. Но так уж получилось, что один экземпляр очутился у меня. Но каким путем он ко мне попал, я вам, конечно, не скажу”. Это было слишком! Председатель объявил, что докладчику нечего больше прибавить к сказанному и попросил его покинуть зал.

Мне предстояло первому делать интерпретацию собственных картин. Одну из них — “Улицу Пресвятой Богородицы” — объяснять было особенно трудно. Это городской пейзаж с двумя тускло освещенными на переднем плане старомодными номерными знаками в виде полукруглых крашенных жестянок. На них указано название улицы и номер дома. На той, которая побольше, изображена Богородица с младенцем Иисусом и адрес: “Улица Пресвятой Богородицы, дом № 8” (восьмым был номер нашего собственного дома). На меньшей нарисован Христос в терновом венце, над которым виднелась надпись: “Тупик № 2 имени И.И. Христа”.

Я объяснил, что нарисовал так из чувства уважения к прошлому нашей родины, которая во все предшествующие века была страной глубоко христианской. Меня всегда удивляло, что в Москве, к примеру, не называют улицы в честь святых, как это принято во многих городах Запада. Я просто решил восстановить добрую старую традицию. А в названии “Тупик № 2” подразумевалось, что идеи самые различные — философские, политические или религиозные — в своем развитии не-

редко заходят в тупик. Затем возрождаются и развиваются лишь для того, чтобы снова попасть в тупик № 2 или № 3 или № 4 и т.д. Все проходит и все возникает вновь.

Не стану рассказывать, сколько споров и возражений вызвала эта вещь. Мои объяснения никого, конечно, не убедили. Один за другим выступали докладчики и ругали ее на чем свет стоит. Добавлю только, что через двенадцать лет, когда мне пришлось уезжать из СССР на Запад, взять эту картину с собой мне не разрешили.

Прилуковский пейзаж с изображением ранней пасмурной весны, стынувших луж и ошипанной замороженной курицы на переднем плане мне казалось объяснять излишним. Где же еще и должны быть куры, как не в деревне.

“Это вовсе не так, — возразили мне. — Вы думаете, что нарисовали просто курицу, а на самом деле от картины исходит ощущение ужаса, смерти и отчаяния. Мрачный колорит вызывает у зрителя отрицательное отношение к нашей жизни и неприятие социалистической действительности”.

За совершенно невинный пейзаж с рядами современных блочных домов на переднем плане и букетом цветов у керосиновой лампы меня обвинили в прославлении старого, уходящего и отживающего и в пренебрежении к новым светлым сторонам нашей действительности. Керосиновая лампа написана, мол, тепло и душевно, а современные дома — холодно и отчужденно. Я отбивался, как мог. Доказывал, что мне отлично живется с блочном доме, в квартире со всеми удобствами. Просто огромные комплексы современных зданий выглядят довольно уныло и не располагают к идиллическим размышлениям. Но ведь современная архитектура во всем мире одинакова!

Работы Льва, который писал в то время серию картин с головами быков и “космическую” серию, а также Колины полуабстрактные холсты обсудили примерно так же. Затем парторг прочел статью “Дорогая цена чечевичной похлебки”, осудил парторганизацию и себя за то, что не приняли никаких мер, когда статья появилась, и попросил задавать нам вопросы. Меня тут же спросили, каким путем мои картины попали на Запад и сколько я за них получил денег.

Я отвечал. “Разве может, — начал я, — уважающий себя искусствовед судить о картинах, в данном случае о моих, никогда их не видя и имея перед собой лишь каталог с черно-белыми репродукциями? И еще: я никогда не отправлял картины за границу, а продавал их частному лицу. Что уж этот человек потом с ними делал, меня не касается. За картины мне всегда платили в рублях, а вовсе не валютой, как это утверждается в статье. Что же касается имен покупателей, то я их вам не скажу. Надеюсь, что нахожусь не на судебном процессе”.

Вопросы летели ко мне, как теннисные мячи, и задававшие их напряженно следили за тем, отобью я их или промажу. Итак, почему я рисую бараки и унылые блочные дома? Почему наша советская дей-

ствительность представляется мне в таком мрачном свете? Почему я не передаю в картинах наши замечательные достижения?

“Смысл вопросов как-то от меня ускользает, — сказал я. — У нас, если я не ошибаюсь, всячески превозносится и поощряется реализм. А ведь моя живопись как раз реалистична. Я рисую то, что вижу. Я жил в бараке, многие советские граждане тоже жили в бараках, да и теперь живут. И я рисую бараки. Почему это плохо? Сейчас я переехал в блочный дом и рисую кварталы блочных домов, которые меня окружают. Меня упрекают за натюрморты, за водочные бутылки и лежащую на газете селедку. Но разве вы никогда не пили водку и не закусывали селедкой? На всех праздниках, и официальных в том числе, водку пьют, и ничего с этим не поделаешь. За границей, к тому же, нашу водку хвалят, и мы этим гордимся. Да и вообще — пьют у нас много. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Это сама жизнь. Надо ли бояться жизни? Автор статьи считает, что и дома, в которых мы живем, и селедка, которую мы едим, и водка, которую мы пьем, и цветы, которые мы любим — то есть все, что фигурирует в моих картинах, — является “омерзительными клиническими отбросами”. У него получается, что, покупая картины официальных художников, Эсторик проявил хороший вкус, а организовав мою выставку, стал политическим спекулянтом. Благожелательная критика в западной прессе — всего-навсего антисоветский маневр. Но тогда получается, что и коммунистические западные газеты несут чепуху. Лондонская “Дейли Уоркер” даже напечатала опровержение в ответ на статью Ольшевского. И это доказывает, что советское неофициальное искусство и мои картины в частности, составляют часть культурного наследия СССР. Однако Ольшевский объявляет, что я позорю не только советское искусство, но и целиком всю нашу страну. Он заявляет это от имени всех, тогда как я, художник, даже не имею возможности ему ответить. Ведь все, что я здесь сказал, не опубликует ни одна газета. Ольшевский об этом знает, и вы — тоже”.

Ни к чему перечислять вопросы, которые мне задавали. Некоторые спрашивали без всякой задней мысли, из простого любопытства. И наконец наступило время выносить приговор. Парторг предоставил слово сидящим в зале. Девяносто пять процентов единодушно осудили выставку на шоссе Энтузиастов, меня и мои картины, одобрили статью Ольшевского, призвали меня раскаться и перестать писать такие картины. Яростнее всех оказался председатель МК. “Мы лишь зря теряем время с этим отщепенцем, — заявил он. — Знаете ли вы о том, что едва окончится собрание, как они немедленно побегут к своим иностранным друзьям, чтобы передать все на Би-би-си и “Голос Америки”? Им доверять нельзя, они нас обманывают. Недавно мне довелось присутствовать на процессе над Даниэлем и Синявским, двумя мерзавцами, которые бесстыдно изворачивались, давая показания и стремясь на этом нажить политический капитал. Посмотрите на Рабина! Он ведет себя в точности, как они. Всячески пытается себя обелить, обвинить во всем

искусствоведа и Союз художников и убедить всех, что к нему несправедливы. Но он лжет! Он сам отлично понимает, кто он и что он”.

И тут произошло нечто совершенно невероятное и неожиданное. Председатель худсовета Роскин вдруг встал на мою защиту. Его выступление сыграло большую роль на собрании. Он чудом выжил в сталинское время. Однако мечты о живописи в традиции двадцатых годов, особенно ему близких, пришлось оставить и заняться дизайном. Как председатель худсовета Роскин был очень влиятельной фигурой.

“В области искусства, — сказал он, — нельзя рубить сплеча. Творчество — процесс очень сложный, и мы должны понять, что этот художник пытается понять глубину вещей. Мы не должны отталкивать его от себя, но, наоборот, попытаться ему помочь, тактично и мягко. Ведь задача вовсе не в том, чтобы схватить его за глотку и обозвать антисоветчиком, как попытались это сделать. Задача как раз в обратном. Подобными методами было загублено немало одаренных художников, вынужденных предать свои идеалы, что стало для искусства большой потерей”.

Выступление Роскина прозвучало как гром с ясного неба. Сидевшее в президиуме начальство побагровело от гнева, однако прервать выступление не решалось. Я не верил собственным ушам. Я знал, что в зале есть люди, очень хорошо к нам расположенные, — ведь не все же, в конце концов, подонки. И поэтому, когда меня ругали, я был относительно спокоен. Но когда заговорил Роскин, я почувствовал, что к горлу подступил комок, и я вот-вот расплачусь.

После выступления Роскина некоторые выступающие сбавили тон, стали говорить мягче, благожелательней. Завмастерской нашей группы даже объявил, что у него нет оснований на нас жаловаться, и что он, в общем, доволен нашей работой. Дело шло к концу. Слово взял парторг. Он сказал: “Ну что ж, все ясно. Собрание показало, что большинство выступающих одобрило статью Ольшевского. В ней утверждается, что выставка на шоссе Энтузиастов была не чем иным, как политической провокацией, чего, очевидно, сами участники не поняли. Их, как и Глезера, просто использовали те, в чьих интересах было усиление международной напряженности и антисоветской пропаганды как в печати, так и на радио. Хотелось бы, — заключил он, — чтобы художники извлекли из всего этого урок и сказали бы сами, что они об этом думают”.

Я для себя, во всяком случае, решил, что каяться не буду. Вышел на трибуну и сказал, что собрание длилось больше пяти часов и что я уже не в состоянии соображать. Необходимо все обдумать, и, если можно, я дам ответ через неделю. Председатель МК тут же объявил, что я притворяюсь и всех обманываю. “Мы только зря потеряли время”, — сказал он. Я ответил, что мне, к сожалению, нечего прибавить к сказанному, и вышел из зала. Коля со Львом повторили примерно то же самое и вышли вслед за мной.

Спектакль закончился. Прежде всего, мы убедились, что из комбината нас не выгонят. В течение всего собрания мы вели себя вполне

прилично, не ругались и не спорили и в то же время не покаялись, как того хотело начальство. И художники, и дирекция смотрели на нас если не как на героев, то уж как на людей явно интересных. Жизнь пошла своим чередом. Объявленные неприкасаемыми, я, Лев и Коля продолжали работать на комбинате. Только теперь моя ситуация ухудшилась, так как, находясь под постоянным наблюдением, я должен был каждый день являться на работу. Времени на живопись не оставалось. Я продержался еще месяца два, чтобы не доставлять особой радости начальству, а потом подал заявление об уходе с работы по собственному желанию. В дирекции мой уход оформили молниеносно. Формальности были выполнены буквально за 15 минут.

Целый год я находился без официальной работы, хотя в материальном отношении все обстояло благополучно — продал много картин. Но было страшновато, потому что над головой постоянно висело обвинение в тунеядстве и угроза, что могут выслать из Москвы. Тогда я решил попытать счастья как книжный иллюстратор. Благодаря знакомому искусствоведу, удалось получить заказ в издательстве “Советский писатель”. Главный художник издательства благожелательно меня принял.

Работа хорошо оплачивалась: 200—300 рублей за маленькую книжку. Опытный иллюстратор мог оформить такую за три-четыре дня. Я же переделывал макет за макетом, без конца отбрасывал неудачные варианты и провозился около месяца. Нелегко, зато на душе спокойно — никто никуда тягать не будет. Оформив несколько книжек, я подал заявление о приеме в Горком художников — профобъединение оформителей и иллюстраторов, не входивших в Союз художников. Председатель Горкома прочитал мое заявление, потом подозрительно на меня поглядел: “Так это вы выставлялись на шоссе Энтузиастов?” Я молчал. “Досадно, досадно... Во всяком случае, если в будущем вздумаете участвовать в выставках подобного рода, то обязаны нас предупредить. Будем надеяться, что прислушаетесь к нашему совету, так как мы отвечаем за членов нашей организации и не хотим впутываться в неприятные истории. Лишь при таком условии можем принять вас в Горком”.

Надо сказать, что после выставки на шоссе Энтузиастов все клубы, научные институты, все выставочные залы Москвы получили строжайшее указание организовывать выставки лишь с разрешения совета Союза художников. Кто знает, когда еще придется выставяться. Я согласился. Теперь, защищенный профсоюзным билетом, я целиком занялся живописью. Картины продавались очень хорошо. Появилось много отечественных коллекционеров, иностранцы, жившие в Москве, полюбили мои картины, и так как я пишу их медленно, то было больше покупателей, чем картин. С иностранцами мы тогда очень часто встречались. Нас то и дело приглашали на вечера и приемы в посольствах, так что в этом смысле мы пользовались недоступной простым смертным в Советском Союзе свободой. Иностранные друзья прямо звонили по телефону и присылали приглаательные билеты по почте.

## ТБИЛИССКАЯ ЭПОПЕЯ

Через месяц после выставки в клубе “Дружба” Глезер получил от комсомольского журнала “Смена” командировку в Тбилиси. Ему было поручено — и вправду в СССР правая рука не знает, что делает левая, а то бы жить и вовсе было невозможно — организовать в стенах редакции экспозицию молодого грузинского художника Джамиля Хуцишвили. Нужно сказать, что к тому времени Саша уже собрал довольно большую коллекцию московских неофициальных художников. Вся его комната в небольшой коммунальной квартире была завешана работами моими, Немухина, Мастерковой, Свешникова, Зверева и других живописцев. Даже коммунальный коридор был завешан графикой.

Он вернулся из Тбилиси, лицо его сияло. “У нас будет выставка там”, — сказал он мне и Володе Немухину. “Где, какая выставка?” — усомнились мы. “В Союзе художников Грузии. Они все организуют, дают зал и делают каталог, правда, без репродукций и по-грузински”. Мы слушали и своим ушам не верили. Ну ладно, выставляют нас физики да математики, и, кстати, начальство всегда заявляет: “Они ничего не понимают в искусстве, просто фрондируют”, а тут вдруг Союз художников. “Не может быть”, — твердил Немухин. Как это получилось? Оказывается, очень просто. Приехав в Тбилиси, Саша отправился в Союз художников Грузии договариваться о выставке в Москве картин Хуцишвили. “Послушайте, — спросили его руководители Союза, — что у вас там случилось? (Как раз в те дни в Москве проходил Всесоюзный пленум Союза художников. И такой на нем разразился скандал между правыми и левыми академиками, что мы только ушами хлопали.) Какая-то выставка, какие-то подпольные художники. Мы так ничего и не поняли”. Ну Саша все рассказал и даже фотографии работ из своей коллекции показал, и грузины загорелись. “Давайте сделаем в Тбилиси выставку вашей коллекции”. “У вас же неприятности будут”, — предупредил Саша. Но грузины только смеялись: “Ничего, ничего не будет. Мы сделаем выставку тихо, во время недели изобразительного искусства в одном из наших залов. Вход будет лишь для членов Союза”. “А каталог сделаете?” — спросил Саша, понимая, что значит для нас каталог с грифом Союза художников. “Сделаем, — согласились странные руководители. — Только на грузинском языке”. Рассказал нам Глезер все это и спрашивает: “Что будем делать?” Мы с Немухиным переглянулись. Очень заманчивая перспектива. Союз художников Грузии делает выставку московских неофициальных художников, да еще с каталогом, то есть бумажкой, от которой уже не отмахнешься. Через несколько дней Немухин заказал огромный ящик, в который мы затем запаковали значительную часть Сашиней коллекции. Саша позвонил в Тбилиси и, получив подтверждение от самого председателя Союза художников Грузии, стал собираться в дорогу. Мы с Немухиным проводили его в аэропорт и стали ждать вестей из Тбилиси.

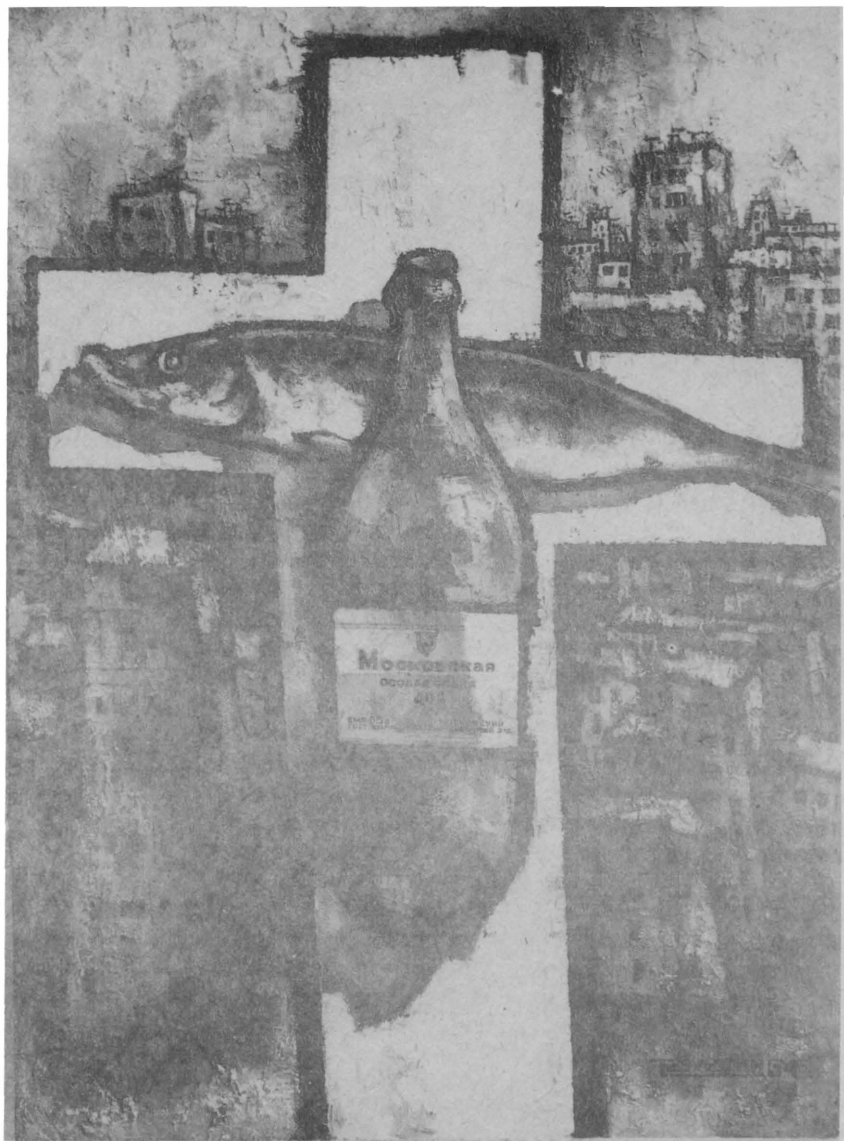
А там по словам Глезера случилось вот что: грузины слово сдержали. Каталог напечатали и выставку открыли в одном из залов Союза

художников. На нее сразу повалил народ. Не только художники, как предполагалось вначале, но и их друзья, родственники, друзья родственников и т.д. На второй день пришел на выставку секретарь парторганизации Союза. “И что же, — смеялся Глезер, — закрыл ее? Нет, заявил, что нечего такую интересную выставку на пятом этаже держать. Надо, чтобы побольше народа ее увидело”. Раз парторг сказал, так и сделали. Выставку перенесли в другой зал Союза художников, расположенный на проспекте Руставели, прямо против здания ЦК и Совета министров Грузии. Тут зрителей стало еще больше. Молодые грузинские художники удивлялись: “Мы думали, что в России нет живописи. И вдруг такое”. Некоторые из них даже подарили Саше свои работы и попросили его выставить их вместе с нашими. Одобрительно отозвался о выставке народный художник Грузии Ладо Гудиашвили. После того как Гудиашвили посмотрел выставку, на нее с фотографиями приехал главный редактор грузинского журнала “Изобразительное искусство”. “Фотографы потрудились вовсю, — рассказывал Саша, — а главный редактор восхищался и говорил своему заместителю: “Материал об этом — в номер”.

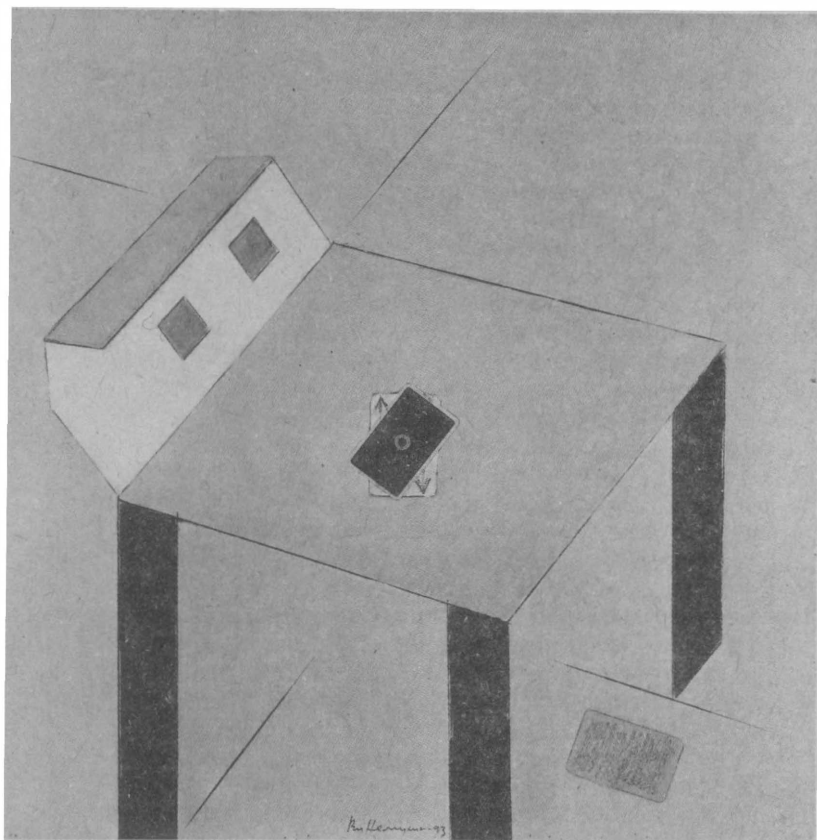
“Вы знаете, — продолжал Саша, — хоть это и казалось мне несбыточным чудом, но я в какую-то минуту поверил, что, может быть, это чудо произойдет”.

Увы, не произошло. В тот же день, но позже, на выставку ворвался какой-то полковник и стал кричать: “Мало того, что грузины сами модернисты, они еще русских модернистов проталкивают. Сейчас же дам телеграмму в Москву, в КГБ”. “Почему в КГБ, — пытался урезонить его Саша. — Есть Министерство культуры, Союз художников”. “В КГБ, в КГБ”, — орал побагровевший полковник.

Саша думал, что покричит он, и тем дело закончится. Но уже на следующее утро сам председатель Союза художников Грузии дрожащими руками снимал наши картины со стен. “Что случилось?” — допытывался Саша. Но тот лишь махнул рукой и неопределенно сказал: “Забирайте картины и уезжайте”. Так на три дня раньше срока по приказу из Москвы закрыли нашу выставку в Тбилиси. Но сотни людей посмотрели ее, и был у нас теперь официальный советский каталог нашей выставки. В Тбилиси через год все руководство Союза художников сменили. А в Москве на нас отозвались почти немедленно. Видимо, Сашина выставка в Тбилиси оказалась последней каплей. Терпение у начальства лопнуло, и в газете “Московский художник” нам посвятили целый разворот. Досталось и художникам, и Глезеру, но это никого из нас не испугало. На нас разворот “Московского художника” никак не отразился, а Глезер, хоть кое-где его печатать и перестали, в общем тоже пострадал не слишком. Через год он даже купил рядом с нами на Преображенке трехкомнатную кооперативную квартиру, и она сразу же превратилась в настоящий музей, который могли посещать все желающие увидеть картины неофициальных художников.



*Оскар Рабин. "Московская особая". 1964. Холст/масло*



*Владимир Немухин. "Натюрморт с домиком". 1993. Бумага/см. техника*



*Лидия Мастеркова. "Композиция". 1990. Бумага/см. техника*

**Александр Глезер**

## **КАК ЭТО БЫЛО**

**Глава из книги воспоминаний**

### **ОТ РЕДАКЦИИ**

*Изгнанный из СССР в феврале 1975 года коллекционер неофициального русского искусства Александр Глезер 22 января 1976 года открыл на базе своего собрания в Монжероне под Парижем “Русский музей в изгнании”, переименованный впоследствии в Музей современного русского искусства. К слову сказать, год спустя русский музей был официально зарегистрирован и включен в число музеев департамента Иль де Франс, то есть музеев парижской, что ли, области. Существует каталог этих музеев, в котором указан и монжеронский. Ныне — время юбилеев: сорок лет неофициального искусства, тридцать лет знаменитой выставке 12-ти нонконформистов в клубе “Дружба” на шоссе Энтузиастов (кстати, ей посвящена экспозиция “Тридцать лет спустя”, которая проходит сейчас в Государственном литературном музее), двадцать лет издательству “Третья волна”, созданному А. Глезером в Париже, и т.д. и т.п. Но основание музея в Монжероне — дело особое. Во-первых, потому, что в разное время у разных эмиграций бывали издательства, газеты, журналы, клубы, но художественных музеев никогда не существовало. Во-вторых, деятельность монжеронского музея оказывала моральную помощь неофициальным художникам, оставшимся в СССР, и влияла, с их точки зрения, на отношение к ним власть имущих. И это понятно. Ведь лишь за три*

первых года своего существования, помимо выставок в своих стенах, монжеронский музей провел, точнее на базе его собрания, которое расширялось за счет даров художников — как эмигрантов, так и живущих в Москве и Ленинграде, были проведены такие экспозиции, как: “Современное русское искусство” в Пале де Конгре в Париже, “Неофициальное искусство из СССР” в Институте современных искусств в Лондоне, “Неофициальное русское искусство” в музеях изящных искусств Шартра, Лавалья, Тура, Биеннале в Венеции, Турине и Беллинзоне, “Неофициальное русское искусство” в городском музее Токио, выставки в кунстvereйных западногерманских городов Брауншвейг, Западный Берлин, Фрейбург, Констанц, Эслинген, Биеннале неофициального искусства в пригороде Парижа и многие другие экспозиции во Франции, Бельгии, Англии, Швейцарии. А всего за годы существования музея было организовано около шестидесяти выставок. Каталоги этих экспозиций, многочисленные статьи в западных газетах и журналах, засылаемые в СССР, передачи по радиоголосам слушала Россия. Власти должны были на это как-то реагировать. Их ответом стало создание при горкоме художников-графиков Москвы специальной секции живописи для неконформистов. Тут же было объявлено, что теперь никаких неофициалов нет, все художники стали официальными. Но почему-то когда готовилась выставка “Современное русское искусство” в парижском Пале де Конгре к его директору явились два дипломата, работники советского посольства, и заявили, что эта экспозиция — антисоветская провокация. “Почему провокация, — задались вопросом французские журналисты, — если все искусство у вас стало официальным?” На сей вопрос советское посольство ответило дубово: мол, эти дипломаты проявили самостоятельность, никто их куда не посылал. Это вызвало всеобщий смех, ибо кто же поверит в самостоятельность советских дипломатов?

Оскар Рабин еще в 1977 году писал Глезеру из Москвы, что деятельность монжеронского музея заставила начальство искать какие-то иные, более либеральные подходы к неконформистам. Отсюда, видимо, и создание секции для них при горкоме художников-графиков.

Монжеронский музей существовал до 1988 года. Затем он переехал в Париж и разместился в ста метрах от Центра Помпиду. Посетителей в музее стало множество, тем более что о переезде музея широко оповестила французская пресса.

В 1991 году в связи с коллизиями в личной жизни его основателя монжеронско-парижский музей закрылся. Но его огромный вклад в пропаганду неофициального искусства, в борьбу за свободу творчества трудно переоценить.

Ниже мы приводим отрывок из книги А. Глезера “Человек с двойным дном на Западе”, над которой он сейчас работает.

С февраля по ноябрь я сидел в Вене, рассылая в организации разных стран предложения о создании Музея неофициального русского искусства. Увы, начался детант и никто не хотел портить отношения с

советскими из-за каких-то картинок. Правда, сидел я не сложив руки. Летал в Западную Германию, открывал выставки своей коллекции сначала в кунстверейнах Брауншвейга и Констанца, затем эту же экспозицию возил в Западный Берлин. Побывал в Лондоне, где шли переговоры о выставке неофициального русского искусства в Институте современных искусств. Там мы жили в одной квартире с искусствоведом Игорем Голомштоком, который ежевечерне поднимал тост “За наше безнадежное дело!”. А я, безнадежный оптимист, пить за это отказывался.

“Ну какой музей, — спрашивал Голомшток, — кто во время детан-та даст тебе помещение?!”

Судя по бесконечным вежливым отказам, прибывавшим в Вену, Игорь был прав. Но я почему-то упорно верил в победу. И в конечном счете оказался прав я. В Монжероне, маленьком городке в 17 километрах от Парижа, находится замок Chateau du Moulin de Senlis. Он принадлежит первой русской эмиграции, создавшей здесь Центр помощи. После войны тут жили и учились дети-сироты. Но к нашему времени интернат окончил свое существование, дети выросли и разъехались. И вот в этом замке, благодаря пессимисту Голомштоку, Александру Галичу и Владимиру Максимову, нашлось место для основания “Русского музея в изгнании”. Сюда в начале декабря 1976 года я приехал с Майей, Алешей и картинами. В декабре же съездил в Норвегию и Швецию, куда друзья вывезли более трехсот работ. Открытие музея было назначено на 22 января, то есть седьмую годовщину выставки в клубе “Дружба”, с которой началась моя коллекция и новая жизнь.

Накануне открытия мы с Михаилом Шемякиным с помощью Майи и Алеши развешивали картины. В два часа ночи выходящая во двор Майя вбежала в нижний зал с криком:

— Стучатся в ворота. Я спросила: “Кто?” Ответили: “Мы, русские туристы, заблудились, в мэрии нам сказали, что здесь помогут. Можно у вас переночевать?” Интересно, кто с ними ночью в мэрии разговаривал?!

Я вышел во двор и, подойдя к воротам, услышал:

— Ничего, откроют...

И тут раздался крик Шемякина, который влез на крышу:

— Саша, это ГБ, их много.

Ах, сволочи! И здесь достают! Вышел из себя:

— Сейчас открою и по-грузински вас резать будем, суки!

Шума они, видимо, не хотели и ретировались.

За несколько часов до пресс-конференции звонок:

— Это Виктор Луи. Я друг Оскара Рабина. Хочу прийти на открытие и потом в Москве обо всем ему рассказать.

Ну и наглец!

— Я сам друг Рабина и ему обо всем расскажу. А у вас есть приглашение на открытие?

— Нет.

- Так лучше не приходите, выгоню!
- А если я завтра приду?
- Завтра вы обычный зритель.
- Тогда до завтра.

Правда, не приехал. Напрасно я пригласил трех французских журналистов. Видимо, тертый агент гебухи Луи почувствовал, что я что-нибудь заготовлю.

В пресс-конференции перед открытием принимали участие, кроме меня, Виктор Некрасов, Михаил Шемякин и председатель Центра помощи мадам Бёф.

Французская пресса весьма широко откликнулась на это событие. Писали об открытии музея и западногерманские и итальянские газеты. “Вашингтон пост” посвятила нам статью “Единственный в мире “Русский музей в изгнании”.

Все было бы замечательно. Но большей части Центра помощи картины явно не нравились. Старая эмиграция, наверно, ждала, что это будет что-то вроде Шишкина и Айвазовского, а тут тебе абстракция, экспрессионизм, поп-арт, концепт, сюрреализм... А между тем, живя в Париже более полувека и сохраняя русскую культуру, старые эмигранты ради своих охранительно-сохранительных задач отгородились от всего современного, так и остались с передвижниками, самые продвинутые — с “Миром искусств”. К тому же славист Стефан Татищев, бывший аташе по культуре французского посольства в Москве, которого я хорошо знал и который даже вывез мне пять картин, стал с подачи Володи Максимова, единственного представителя третьей волны эмиграции в Центре помощи, генеральным секретарем монжеронского комитета, то есть главным начальником. Я поначалу радовался, ибо предыдущий генеральный секретарь господин Оглоблев, человек невежественный и откровенно глуповатый, возненавидевший музей с самого начала всеми фибрами души, все время интриговал, подличал, выдумывал всякие небывлицы. Даже сочинил, что Глезер, мол, обещал достать для ремонта Монжерона миллион долларов. Тут я уже не выдержал.

— Если, — говорю, — не прекратите, башку вам оторву.

Не вежливо, конечно, но довел. Выставки следуют одна за другой: в Западной Германии, Швейцарии, Франции, издательством “Третья волна” нужно заниматься, писать статьи для западной прессы и еще тратить нервы и время на оглоблевские интриги. Поэтому я и обрадовался приходу Татищева. Все-таки свой человек, интеллигент и этих художников любит. Но, увы, увы, рано пташечка запела... Советские товарищи Стефана не любили, кажется, ему даже пришлось раньше времени СССР покинуть. Но он же славист. А славистам нужно ездить в Советский Союз, иначе их рейтинг падает.

И вот готовится выставка “Современное русское искусство” в Пале де Конгре. Огромная. В пятьсот работ. Триста художественный директор выставки Михаил Шемякин берет у меня. Готовится пресс-конференция. И вдруг Миша звонит мне:

- Пресс-конференция отменяется.
- Почему?
- Поблагодари своего друга Татищева.
- Он же в Москве.
- Уже здесь.

До сих пор точно не знаю, что получилось с пресс-конференцией. Татищев ли виноват в ее отмене или Шемякин. Последний распространил пресс-релиз, в котором называлось всего пять участников нашей выставки, а именно: сам Шемякин, его дочь Доротея, его парижский приятель, какой-то Рубин, не имевший к неофициальному искусству никакого отношения, и бывшие в то время приятелями Шемякина москвичи Илья Кабаков и Володя Янкилевский. Когда же в ответ на такое действо я все же организовал пресс-конференцию, то Шемякин прийти на нее отказался, и мы впервые тогда разругались. Так что кто и почему официальную пресс-конференцию сорвал, не знаю.

Но Татищев действительно из Москвы уже вернулся. Он позвонил мне в тот же день, что и Миша, но вечером, и сказал, что московские художники недовольны тем, что я все политизирую, что они стыдятся афиши музея, которую я выпустил и переслал в Москву, и брошюр о творчестве двенадцати художников. Кроме того, он добавил, что нужно вообще изменить название музея и что в нашей библиотеке должны быть не только книги Солженицына, но и Фадеева. Это меня насторожило. Я набрал оscarовский номер и включил магнитофон.

— Оскар, я огорчен. Стефан мне сказал, что вам не нравятся афиши и брошюры, что с вашей точки зрения я все политизирую.

— Не обращай внимания. Врет. Это он нам внушал, что ты все политизируешь. А твои брошюры и афиши всем нам нравятся. Афиши висят и у меня, и у Немухина, и у других. Стефан, кстати, это видел.

Наутро звоню Стефану, подключив магнитофон.

— Вчера вечером я не все понял, Стефан, не можете повторить? И он повторил.

Я поехал с магнитофонными записями к Максиму. Выслушав меня и прослушав магнитофон, Володя сказал:

— Нужно встретиться всем вместе.

И на завтра мы сидим у Максимова уже вчетвером. Помимо Татищева, еще казначей Центра помощи Александр Ниссен, человек близкий к Максиму, милый, культурный, поддерживающий музей. Володя обращается к Стефану:

— Саша говорит, что художники в Москве, по вашим словам, недовольны его деятельностью.

Татищев кивает головой.

— Саша также сказал, что вы требуете изменить название музея и включить в монжеронскую библиотеку книги Фадеева.

Татищев подтверждает.

— А почему?

— Есть мнение.

— Чье мнение?

Татищев указывает пальцем в потолок.

Максимов багровеет.

— Мне этот жест знаком по Союзу!

И включает магнитофон.

Звучат слова Рабина — и краснеет уже Татищев. Сказать ему нечего. Он прощается. А через несколько дней я получаю приглашение на заседание комитета Центра помощи. Звоню Ниссену и слышу:

— Саша, они хотят предложить вам договор. Давайте опередим их. Составим его сами.

Составили. Но на комитете его даже не стали рассматривать. Какая-то рыхлая баба, истерически крича, стала утверждать, это я, дескать, повез картины в Англию, продал, а теперь Центр помощи должен платить налоги.

— Простите. Но в Англии ничего не продавалось. Это была выставка в Институте современных искусств, вот книга-каталог, написанная Голомштоком и мною, субсидировали эту выставку Генри Мур и Иегуди Менухин. Вот английская пресса о ней. Вот документы с таможами, подтверждающие, что все вернулось обратно. Так что откуда у вас сведения о продаже — непонятно.

Комитетчики потупились.

— Вы от имени Монжерона говорите черт знает что! — заявил Татищев.

— Я говорю от своего имени.

Кто-то спросил у Татищева:

— Стефан Николаевич, вы ведь должны были ехать в Москву. Почему же вы здесь?

Он угрюмо бросил:

— Человек полагает, а Глезер располагает.

Ах как просто раскрылся ларчик. Право поездки в Москву нужно еще заработать. Ему велели превратить Монжерон во что-то нейтральное, а Глезер сопротивляется. И Татищев вручает мне составленный ими договор. Читаю. Какая прелесть. Судите сами. Договор подписывается на год. От меня требуют, чтобы все мои выступления и статьи я показывал предварительно комитету, то есть Татищеву. Если я нарушу это условие, то через год должен покинуть Монжерон и оставить там сто картин по выбору комитета. Смотрите — цензуру устанавливают, да еще обобирать хотят. С яростью рву договор и ухожу. Максимов в знак протеста выходит из комитета. А через месяц меня приглашают в суд. Просматривая обвинения комитета, мой адвокат Любовь Абрамовна Ширман заметила:

— Это хорошо, что выступила пресса, что Буковский написал в “Фигаро”, но, по-моему, положение серьезное. Ведь не идиоты же ваши противники. Что это за обвинение: “Ходит с таким видом, словно он

хозяин Монжерона". Может, вы ходите с таким видом, что вы хозяин Франции. С точки зрения юридической — чушь. Но я думаю, что советский МИД нажал на наш, а тот — на суд. Потому-то им все равно в чем вас обвинить.

К счастью, Любовь Абрамовна ошиблась. Они все-таки оказались идиотами и суд проиграли.

Незадолго до процесса музей дважды посещали занятные люди. Сначала семидесятилетний профессор из Западной Германии (из первой эмиграции). Он шел вдоль картин и приговаривал:

— Рабин — еврей. Штейнберг — еврей. Кабаков — еврей. Янкилевский — еврей. Вейсберг — еврей. Впрочем, это не имеет значения.

Более прямо выражался священник. Не помню, как его звали, ну, скажем, отец Георгий. Он в течение двух часов убеждал меня:

— Уезжайте, господин Глезер. Уезжайте. Все равно процесс проиграете. Неприятности будут. А так хоть какие-то деньги вам дадут.

— И не стыдно вам, отец Георгий?

— Чего же стыдно. Вам помочь хочу.

Этакий засланный попик.

Так и не удалось Татищеву закрыть музей и превратить Монжерон в нечто нейтральное.

Но и дальше то и дело комитетчики монжеронские ставили передо мной рогатки. Что делать — раздражало их это искусство почти что как других комитетчиков.

Помню, проводил я выставку в музее. На афишу поместил работу Володи Янкилевского. Что тут было!

— Вы позорите нас, — кричала румяная дама из комитета. — Что за безобразие?!

— Послушайте, — пытался я объяснить. — Это Владимир Янкилевский. Его работа есть в Центре Помпиду.

— Помпиду нам не указ!

Нет, с ними, как и с советскими, не договоришься. Вкус тот же. Правда, посадить не могут, но нервы поматают. Поэтому, когда в 1988 году представилась возможность музеем переехать в Париж, я долго думать не стал.

*Александр Давыдов*

## **“НЕЗНАКОМАЯ РОССИЯ”**

В сентябре 1980 года в Джерси-Сити в помещении Комитета абсорбции советских иммигрантов открылся Музей современного русского искусства в изгнании. На протяжении двенадцати лет здесь демонстрировались произведения неофициальных русских художников: Эрнста Неизвестного, Ильи Кабакова, Вячеслава Калинина, Михаила Шемякина, Эдуарда Штейнберга и многих других, ныне широко известных мастеров. В музее прошло свыше сорока групповых и персональных выставок художников-нонконформистов, в том числе Оскара Рабина, Владимира Немухина, Владимира Овчинникова, Дмитрия Краснопевцева, Бориса Свешникова, Александра Харитонова... Музей проводил выставки и за своими стенами: в Вермонте, Техасе, Пенсильвании, в залах Конгресса и Сената США в Вашингтоне, в Канаде.

И вот теперь в этом музее решено организовать постоянную экспозицию молодых художников “Незнакомая Россия” с тем, чтобы помочь этим мастерам встретиться с американскими любителями живописи, коллекционерами и галерейщиками. Экспозиция откроется в октябре нынешнего года, а в преддверии этого события музей проводит персональные экспозиции живописцев — будущих участников “Незнакомой России”.

В феврале тут прошли очередные выставки: москвички Валерии Нарбиковой, владивостока Евгения Макеева и израильянина Семена Рабинкова. Это совершенно разные художники.

Семен Рабинков — скульптор, фигуративный экспрессионист. Его динамичные работы с успехом экспонировались в Израиле и Германии.

Евгений Макеев — абстракционист, точнее он в своих полуабстракциях отталкивается от реальных предметов. Ему присуще тонкое чувство цвета, тона, и оттенки порою так сочетаются в его полотнах и акварелях, что, вглядываясь в них, ощущаешь нечто сходное с тем, что чувствуют японцы, наблюдающие свои каменные сады, то есть начинаешь медитировать.

Валерию Нарбикову еще два-три года назад, в основном, знали как прозаика, представителя так называемой “другой литературы”, иными словами — новейшей русской прозы. Ее романы публиковались в России, Германии, Франции, Италии. В этом году, кстати, они выходят в США и Японии. Но вот с 1994 года она начала активно выступать как художник. Выставлялась в Москве, Париже, Риге, Владивостоке. В прошлом году ее персональная выставка проходила в музее в Джерси-Сити. Тогда она показывала картины, определенные критиками, как произведения мистического реализма. Сейчас Нарбикова хочет показать ньюйоркцам свою графику которую я бы назвал концептуальной.

А в заключение хотелось бы назвать спонсоров нынешних трех выставок — это компания “Домодедовские авиалинии” и Центр современной русской культуры (Париж — Москва — Нью-Йорк).

*Александр Глезер*

## ТРЕТИЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ

В России говорят: “Бог любит троицу”. В 1980 году в Джерси-Сити открылся первый Музей современного русского искусства, созданный на базе коллекции автора этих строк. Пятнадцать лет спустя на основе коллекции профессора Нортон Доджа при Циммерли-музее в Нью-Джерси открылся еще один такой музей. А вот осенью 1996 года в городе Хадсоне, в штате Нью-Йорк, на основе своей коллекции русский музей, уже третий, создал врач Роман Табакман.

Этот самый юный музей располагает девятью обширными залами и собранием свыше пятисот произведений. Причем, если первый и второй музеи были целиком связаны до последнего времени с неофициальным русским искусством, то есть творчеством художников-нонконформистов — шестидесятников и семидесятников, то музей Табакмана, наряду с работами Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина, Владимира Немухина, Эдуарда Штейнберга, Владимира Янкилевского, Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Владимира Вейсберга и других наших знаменитостей, имеет в своем собрании картины, скульптуры и графику молодых талантливых мастеров, таких, как Ильяс Зинатулин, Валерия Нарбикова, Лилия Зинатулина, Евгений Макеев, Георгий Телов, Дмитрий Покровский, Сергей Сорокин, Александр Лавров, Семен Рабинок...

Два года назад во Франции, в Ницце, открылся музей, который называется Музей модернистского и современного искусства. Ины-

---

Александр Глезер — куратор Tabakman Museum of Contemporary Russian Art.

ми словами, модернизм — это уже классика, а то, что делается сегодня — искусство современное. Подобен французскому музею и музей Романа Табакмана.

В 1995 году, открывая выставку моей коллекции в Музее изобразительных искусств им. Пушкина, его директор И.А. Антонова назвала художников-нонконформистов классиками русского искусства XX века. И прекрасно, что в музее Табакмана эти классики соседствуют с современными русскими художниками из Москвы, Владивостока, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Иерусалима.

Кстати, в нынешнем году в мае музей проводит персональные выставки покойного питерского художника-шестидесятника Евгения Михнова-Войтенко и москвича Валерия Ворлова, а в июне — групповую экспозицию “Молодая Россия”. Неплохой старт. А дальше больше — в 1998 году музей Табакмана проведет выставку “Лианозовская группа”: истоки и судьбы”, а также персональные экспозиции Владимира Немухина, Оскара Рабина и Бориса Свешникова.

## **“ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ” — ДВАДЦАТЬ ЛЕТ**

Двадцать четвертого декабря в Государственном литературном музее состоялся юбилейный вечер издательства “Третья волна”. Издательству исполнилось двадцать лет — в 1976 году Александр Глезер основал его в городе Монжероне под Парижем. В 1980 году издательство переехало в Нью-Йорк, в 1991 году — в Москву. “Третья волна” за время своего существования выпустила шестьдесят восемь книг, девятнадцать номеров альманаха “Третья волна” и семьдесят восемь номеров журнала “Стрелец”.

Нынешнему московскому вечеру предшествовали юбилейные вечера в Нью-Йорке. А в Государственном литературном музее выступили, помимо основателя издательства, прозаики, поэты и критики: Лев Аннинский, Генрих Сапгир, Валерия Нарбикова, Андрей Ранчин, Анатолий Кудрявицкий, Александр Тимофеевский. Выступавшие, естественно, читали свои произведения.

Затем Александр Глезер вручил традиционные премии “Третьей волны” авторам “Стрельца” (список лауреатов приведен на обложке).

А в заключение последовал традиционный грузинский фуршет “Третьей волны” с “Цинандали”.

## ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

**Беседа Генриха Сапгира, Валерии Нарбиковой  
и Александра Глезера в связи с двадцатилетием  
издательства “Третья волна”**

**А.Г.** Вы оба авторы издательства и его журналов. Ты, Генрих, аж с 1977 года, когда в Париже вышла твоя книга “Сонеты на рубашках”, а ты, Лера, 12 лет спустя опубликовалась в Нью-Йорке в “Стрельце”. Мне интересно было бы услышать ваше мнение об издательстве и журнале-альманахе.

**Г.С.** Лучше ты Расскажи сначала, как все начиналось, а мы выскажемся потом. Ведь я тебя знаю, как говорится, сто лет. В Москве знал как поэта, переводчика, коллекционера неофициального искусства. И вдруг слышу на “Свободе”, что ты основал в Париже еще и издательство. С чего бы? Как пришла к тебе эта счастливая для нас идея?

**А.Г.** Когда в январе 1976 года мне удалось открыть в Монжероне под Парижем “Русский музей в изгнании” — так вначале он назывался, — то оказалось, что у меня остается довольно много свободного времени. Ну конечно, проходили выставки и в Париже, и в Западной Германии, и в Англии, и в Италии в 1976—1978 годах, но все равно не заполненных ничем часов было в достатке. Как ты знаешь, отдыхать я не умею...

**Г.С.** Но ты же как раз тогда писал книгу воспоминаний, составлял книгу “Искусство под бульдозером” и сборник стихов “Ностальгия” да еще и новые стихи, наверное, писал...

**А.Г.** Ты прав, и тем не менее, свободное время было, может быть, потому, что работаю быстро, а сплю не больше шести часов.

**Г.С.** Да, да, по примеру Бонапарта, если не ошибаюсь.

**А.Г.** В общем, хотя и не добровольно, а под нажимом КГБ мне пришлось покинуть Родину, как-то неловко себя я чувствовал. Ведь другие диссиденты, скажем, Володя Буковский, Алик Гинзбург, сидели в тюрьмах и лагерях, а я оказался в Париже. И мне хотелось, раз уж выпала такая судьба, сделать как можно больше на Западе, помочь не только художникам, но и писателям. Поэтому-то и пришла мысль об издательстве. Тогда же родился и одноименный альманах литературы и искусства.

**В.Н.** А “Стрелец” появился много позже?

**А.Г.** В 1984 году, уже в Нью-Йорке как ежемесячный журнал.

**В.Н.** Ты переехал в Нью-Йорк в 1980 году?

**А.Г.** Не могу сказать, что переехал. Просто мне удалось открыть еще один Музей современного русского искусства в Джерси-Сити, в двух километрах от Нью-Йорка, и я стал жить как бы в двух городах, четыре-пять раз в год перелетая из Парижа в Нью-Йорк и обратно.

**Г.С.** Когда ты начал выпускать “Стрелец”, альманах “Третья волна” прекратил существование?

**А.Г.** Не сразу. Еще два года я его выпускал, так сказать, на всякий случай, ибо публикация ежемесячного журнала — дело сложное и в финансовом отношении, и с других точек зрения, так что, прежде чем закрывать альманах, мне хотелось убедиться, что “Стрелец” выживет.

**В.Н.** Кстати, выпускать такой журнал, наверное, дорогое удовольствие?

**А.Г.** Двадцать одна тысяча долларов в год, даже чуть-чуть больше.

**В.Н.** Ну и откуда же падали деньги, не с неба же?

**А.Г.** Издательство и книжный магазин “Руссика” сначала финансирование взяли на себя, но когда уже был составлен первый номер и объявлено мною, в том числе и на СССР через “Свободу”, что “Стрелец” начинает выходить, “Руссика” от своего обязательства отказалась.

**Г.С.** И как же ты вышел из положения?

**А.Г.** На первый год издания мне одолжила деньги жена, Мари-Терез де Форс, на второй год я получил деньги от коллекционера неофициального русского искусства профессора Нортон Доджа за то, что переправил ему из Ленинграда по своим каналам приобретенные им восемнадцать картин Владимира Овчинникова. Ради того, чтобы журнал выходил и третий год, я семь месяцев проработал ночным сторожем. А потом на помощь пришли благотворительные американские фонды. Так что до 1988 года включительно журнал выходил регулярно. А в 1989 году, в связи с тем, что я начал ездить в Москву, пришлось превратить его в альманах.

**В.Н.** Но была ли в эмиграции нужда в ежемесячном журнале?

**А.Г.** Еще какая! Да и что значит “в эмиграции”? Масса рукописей ведь приходила из Москвы и Питера. Выходящие по обе стороны

Атлантики русские журналы были, собственно говоря, альманахами, то есть издавались три-четыре раза в год и просто не справлялись с тем потоком литературы, которая присылалась из СССР и рождалась в эмиграции. И был еще один момент. То, что в конце 80-х в Москве стало именоваться “другой прозой”, в эмиграции появилось раньше. Достаточно назвать такие имена, как Юрий Мамлеев, Сергей Юрьенен, Юрий Милославский, Эдуард Лимонов, Дмитрий Савицкий. Существовавшие русские журналы и издательства эту прозу эстетически не принимали и, естественно, не публиковали. Эту задачу тоже решали “Стрелец” и “Третья волна”. Почти все эти авторы печатались регулярно в “Стрельце”, а их книги выходили в издательстве. “Третья волна” выпустила три книги Юрия Мамлеева, две — Сергея Юрьенена, роман Дмитрия Савицкого.

Г.С. Ладно. Убедил. Но почему “Стрелец”?

А.Г. Мы ехали с конференции “Континента” на машине из Милана в Париж. Я объявил конкурс на название журнала. Больше всего мне понравилось предложенное поэтом Виолеттой Иверни — “Стрелец”. Потому что звучит динамично и, кроме знака зодиака, напоминает о стрельцах, русском воинстве допетровской поры. К тому же до революции выходил журнал “Стрелец”, журнал плюралистический. А таким же — иными словами, печатается все талантливое, независимо от направления и без купюр — я хотел сделать и свой журнал.

Г.С. Что же, тебе это удалось. Действительно, получился замечательный журнал. А с чего ты начал публикации в издательстве?

А.Г. Естественно, со стихотворных сборников, причем, и это тоже естественно, с любимых лианозовцев — Евгения Кропивницкого и тебя. Потом еще вышла книжка Игоря Бурихина. А затем пошла и проза.

В.Н. Чьи книги прозы ты выпустил на Западе?

А.Г. Всех, конечно, не вспомню, но попробую: Анатолия Гладилина, Владимира Максимова, Сергея Довлатова, Евгения Козловского, Юрия Гальперина. Как я уже сказал, Мамлеева, Юрьенена, Савицкого и других.

Г.С. А стихов ты больше не публиковал?

А.Г. Почему же? Вышли книги Юрия Иваска и Михаила Крепса, антология “Русские поэты на Западе”, что-то еще, на ходу не вспомнить. Вышла также антология “Русские художники на Западе”, книги воспоминаний и публицистики.

Г.С. С них ты, кажется, начал и в Москве?

А.Г. Да, было переиздание совместно со “Всей Москвой” опубликованной мной на Западе книги “Николай Гумилев в воспоминаниях современников”, с “Прогрессом” — книга воспоминаний и рассказов Георгия Иванова.

В.Н. А потом пошли твои Библиотеки. Их вроде бы четыре.

А.Г. Уже пять: Библиотека новой русской прозы, Новой русской поэзии, Нового русского искусства, Библиотека воспоминаний и Биб-

лиотечка поэзии “Стрельца”. В первых четырех Библиотеках вышли книги Виктора Ерофеева, Сергея Юрьенена, твоя, Иосифа Бродского, Генриха Сапгира, Евгения Рейна, книги об Оскаре Рабине, Олеге Целкове, Владимире Немухине, Дмитрие Краснопевцеве, Александре Харитонове, Вячеславе Калинине, воспоминания Льва Озерова об Ахматовой, Пастернаке и Заболоцком и мои. А в Библиотечке “Стрельца” — сборнички Сапгира, Рейна, Игоря Холина, Владимира Уфлянда, Юрия Кублановского, Анатолия Кудрявицкого.

**Г.С.** Ты еще забыл сказать о своей книге “Современное русское искусство” и о первом томе собраний Иосифа Бродского, о книгах Ассара Эппеля, Семена Липкина, Инны Лиснянской.

**А.Г.** Обо всем как-то сразу не вспомнить.

**Г.С.** Список внушительный, но в этом году “Третья волна” темпы явно снизила.

**А.Г.** Тяжелый год. Во-первых, после инфаркта я не сразу вступил в строй, во-вторых, — выборный год, то есть и денег у спонсоров не стало и в выборной компании, как тебе известно, необходимо было участвовать. Но ряд книг к изданию подготовлено. В 1997 году они увидят свет. Я уже и со спонсорами договорился.

**В.Н.** И что это за книги?

**А.Г.** “Избранное” Кублановского, Евгения Попова и Александра Кабакова, воспоминания Николая Заболоцкого, она еще до марта увидит свет. Идет работа над книгой о Виталии Комаре и Александре Меламиде, сборничком стихов Ефима Бершина, на выходе и роман Сергея Юрьенена “Дочь Генерального секретаря”. Недавно с профессором Лейпцигского университета Карлхайнцом Капаром мы составили антологию “Другая проза”. Там — 22 писателя. Надеюсь, она тоже выйдет в 1997. Но, думается, что я уже во всем признался, пришла очередь говорить вам.

**Г.С.** Что говорить? Издательство “Третья волна” я знаю давно. Оно на моих глазах стало знаменитым. Сначала скандально знаменитым здесь, в Москве, а сейчас — просто знаменитым. Помню, Ассар Эппель как-то рассказывал, что он привез свою книгу рассказов “Травяная улица” в Рим и предложил какому-то магазину. Хозяйка его посмотрела на выходные данные и сказала: “Третья волна”? Да, конечно, берем”. Приятная и убедительная, по-моему, реакция. Что же касается “Стрельца”, то это, на мой, да и не только на мой взгляд, один из самых уважаемых и читаемых журналов. Нью-Йоркский же “Стрелец” еще и прекрасно оформлял художник Виталий Длуги. Формат журнала позволял ему разгуляться. Я “Третьей волне” особенно благодарен. Ведь первая моя книжка там была выпущена. Ты уже о ней упомянул — “Сонеты на рубашках”. Узнав, что ты открыл издательство (кто-то даже рассказал, что оно располагается у тебя на обширном кухонном столе), я решил тебе отправить рукопись, честно говоря, ни на что не рассчитывая. Мне же были неизвестны твои планы.

К тому же — как посылать? Решил в виде письма, в надежде, что оно проскочит. И удивительно — проскочило! И через три или четыре месяца мне привезли книжку. Фантастика! И вот книга “Избранное”. Кто бы еще мне такое выпустил? И если суждено быть моему собранию сочинений, то кому ж придет в голову его, выпускать как не тебе!

**А.Г.** Уже давно, Генрих, пришло, но надо же спонсора найти.

**Г.С.** Ну это я так, к слову. Однако ты же сам любишь цитировать: “Кто ищет, тот всегда найдет”. Не так ли?

**А.Г.** Конечно. А ты вспомни о другой моей любимой цитате. Я имею в виду слова графа Монте-Кристо: “Ждать и надеяться”.

**Г.С.** Я и надеюсь. Но продолжу. Меня вот что всегда удивляло и поражало. Ты крутишься всегда один. И там, на Западе, и здесь. Сам подбираешь книги, сам отвозишь в типографию, сам забираешь оттуда тираж, сам развозишь по магазинам и отправляешь по почте. Ты что: раздваиваешься, даже растриваешься, расчетверяешься?..

**А.Г.** Не знаю. Как-то получается. Правда, в Москве у меня заместитель недавно в “Стрельце” появился, так что полегче стало.

**В.Н.** У меня знакомство с издателем получилось неожиданным. В 1989 году мне кто-то сказал, что в “Стрельце” опубликован мой текст, кстати, переправленный на Запад без моего участия.

**Г.С.** Приятная неожиданность.

**В.Н.** Конечно. И вот на вечере “Стрельца” в Москве, кажется в Доме медицинских работников, я пошла в туалет и рядом с ним меня поймал Глезер, затянул в угол и тихо говорит: “Журнал у нас безгонорарный, но российскому автору немножко заплатим”, что-то сует мне в руку и уходит. Смотрю — это двадцать долларов. Так я познакомилась с Глезером.

**А.Г.** Понимаешь, незадолго до этого я пытался Жене Попову в ресторане ЦДЛ открыто вручить гонорар, так он замахал руками: “Ты что, у нас брать доллары запрещается”. Поэтому я и давал их тебе тайно.

**В.Н.** Когда что-то получается, что-то выходит, что-то издается, люди относятся к этому как к должному. Выходит “Стрелец” 11 лет, существует “Третья волна” 20 лет — и нормально. И никто не задумывается о том, какие вначале нужно было огромные усилия затратить, чтобы все это состоялось. Газета — не кино. В газете, к сожалению, не покажешь издателя в изношенном пиджаке, в туфлях чуть ли не дырявых, в вечных заботах, где взять деньги на типографию и бумагу. Саша Глезер — абсолютный, в чистом виде авантюрист, но авантюрист, я бы сказала, высокой марки. Таких мало. Ничем, кроме литературы и живописи, он не занимается. Для него писатели и художники как бы дети, за которыми надо ухаживать. Издавать их книги и каталоги, организовывать презентации и выставки. Мало того, все хотят чего-то своего, все вначале недовольны, а потом, когда все происходит, оказывается, что все как раз этого и хотели. И вот что

интересно: ты, Генрих, пишешь стихи, пишешь как хочешь и тебе плевать на чье-либо мнение о них, на любое мнение. И Саша — то же самое. Он делает то, что хочет и как хочет, и ему было плевать в эмиграции и плевать сейчас здесь, что кому-то это не нравится.

**А.Г.** Это правда. Когда я начал там, на Западе, издавать “другую прозу” и печатать ее в “Стрельце”, эмигрантские критики обрушились на меня: “Как можно такое: ненормативная лексика, откровенные сцены?!” Помню, сидим мы как-то в Париже на радиостанции “Свобода” с Виктором Платоновичем Некрасовым, пьем кофе. Он говорит: “Саша, твою мать, как ты можешь подобное печатать?” Я отвечаю: “Виктор Платонович, кто сейчас выругался?” А он: “В жизни можно, в литературе нельзя”. Владимир Максимов однажды мне сказал: “Они умеют писать, но им нечего сказать”. “Володя, — говорю, — они просто пишут о другом и по-другому”. Но он со мной не согласился.

**В.Н.** И еще замечательно, что “Стрелец” не превратился в самиздатский журнал. Ведь у самиздатского журнала есть какой-то свой круг авторов. Этот круг исчерпывается — и журнал закрывается. Так вот, “Стрелец” в такой журнал не превратился. Круг авторов “Стрельца” все время расширяется. И это не журнал с одним определенным направлением, как все наши толстые журналы, за исключением, пожалуй, “Знамени”, а журнал с широким эстетическим кругозором. И хотя “Знамя” — лучший толстый журнал, он стал с недавних пор на стрелецкий, что ли, путь, но и сейчас там приходится какие-то купюры в тексте делать, что-то снимать, а в “Стрельце” этого нет. Никаких купюр! Принес автор текст, признал редактор его талантливым — и текст публикуется в полном виде. И если все толстые журналы нашли себе меценатов, то Саша берет все на себя. Издается на манну небесную.

**Г.С.** Это же печально! Конечно, нет ничего плохого в том, что Саша берет все на себя. Но он же не Сорос и не Рокфеллер. Ему же тяжело! И я от души желаю, чтобы у “Стрельца” появился меценат. Нам всем этот журнал дорог и нужен. Ты же знаешь, Лера, что некоторые вещи никто другой не напечатает.

**В.Н.** Да, я слышала от молодых авторов: “Написал текст. Но куда же его? “Знамя” — не напечатает. “Новый мир” — тем более. Только “Стрелец”. Да и вообще, любой автор, написав текст, хочет, чтобы он был опубликован в том виде, в каком написан, чтоб его в редакции не корежили, не улучшали со своей точки зрения. Поэтому и идут авторы в безгонорарный “Стрелец”, в безгонорарную “Третью волну”.

**Г.С.** Ну, не совсем безгонорарные. Я, например, и Рейн, получили по шестьсот экземпляров своих книг.

**В.Н.** А я — меньше.

**Г.С.** Это ты как жена. Кроме того, прекрасны премии издательства за публикации в “Стрельце”. И приятно получить премию имени Хлебникова или Мандельштама, Набокова или Солженицына, Ты-

нянова или Беленкова. А к тому же, кроме небольшой суммы, вручаются картины. Я, скажем, получил холст любимого мною Александра Харитонов. Видел я, что и другие авторы получали неплохие произведения, стоимость которых значительно больше некоторых известных премий. И не могу не сказать вот о чем: в наших толстых журналах нет и поныне доверия к авторам, особенно молодым. Редакторы правят их рукописи, что-то убирают, что-то еще... Это недостойно. А вот Саша верит. Он, конечно, какие-то вещи отклоняет, что нормально. Но если уж берет, то не кромсает. Печатает в первозданном виде. А для прозаика или поэта доверие издателя — великое дело.

**В.Н.** Мы почему-то не упоминаем о вкусе. А между тем это важно. Когда мы берем книги издательства “Третья волна” или “Стрелец”, то знаем, что, хотя что-то нам может нравиться, что-то — не нравится, все же с плохим вкусом не встретимся. Тебе не будет стыдно, что ты в “Стрельце”, например, находишься рядом с каким-то не тем текстом. В “Стрельце” ты чувствуешь себя в этом смысле всегда хорошо.

**Г.С.** Но я хочу все же посетовать. Было интересное начинание. Была “Зеленая лампа”, домашний литературный салон Александра Глезера. Собирались прозаики, поэты, критики, свободно общались под магнитофон на ту или иную тему, а потом это печаталось в “Стрельце”. Интереснейшее было чтение. Не я один такого мнения.

**А.Г.** Генрих, такой уж год выпал. “Зеленая лампа”, обещаю тебе, будет жить. Кстати, недавно в Коктебеле, в Доме-музее Волошина, мы ее провели с участием Леры, Александра Кушнера, Григория Поженина и других авторов. В первом номере “Стрельца” за 1997 год наша дискуссия будет опубликована. А в будущем году “Зеленая лампа” будет проводиться регулярно.

**Г.С.** Скажи, Саша, что было в твоей издательской деятельности самым сложным, ведь ты, как я понимаю, представлял “Третью волну” в единственном числе.

**А.Г.** Финансовые проблемы и то, что приходилось быть самому и грузчиком, и развозчиком, и почту рассылать, и отвечать на письма, написанные на иностранных языках.

**В.Н.** Все-таки это удивительно. Абсолютно нищий человек...

**А.Г.** Что значит нищий, что за ерунда?

**В.Н.** Нищий, нищий... Семнадцать лет жил в Париже и Нью-Йорке, и что же — ни там, ни там не то что квартиры, даже каморки нет. И все же он умудряется на Западе выпускать русскую, то есть убыточную литературу, а теперь здесь, тоже не имея квартиры, продолжает ее выпускать.

**А.Г.** Но у меня есть...

**В.Н.** Знаю, картины. Но ты же не желаешь их продавать! Даришь владивостокскому, рижскому музею, собираешься подарить Третьяковской галерее. И все же продолжаешь издавать. Для меня, Генрих,

это загадка. Там, где Глезер живет, — там у него издательство и редакция журнала. Сейчас он живет у меня. И вот звонок: “Редакция “Стрельца”?” “Да”, — отвечаю я. “Издательство “Третья волна”?” “Да”, — отвечаю. “А какой у вас адрес?” Нет, это уж слишком... Мне думается, что у Глезера издательство может располагаться на подоконнике, на табуретке, на улице под зонтиком.

**А.Г.** Нет, это не годится. Рукописи промокнут.

**Г.С.** В общем, Лера, назовем Сашу — “Человек-издательство”.

**В.Н.** Мне нравится. И еще — “Человек-музей”.

**Г.С.** А тебе, Саша, нравится?

**А.Г.** А мне как-то все равно.

**В.Н.** Мне приходит в голову, что издатель такого типа — артист, потому что только за счет артистических способностей можно двадцать лет самому всем дирижировать, все держать в своих руках. Я просто не знаю еще одного издателя, который без всего, что для этого нужно, со всем справлялся. В этом есть какая-то прелесть.

**Г.С.** Встреча у нас юбилейная, речи у нас юбилейные, мы поем тебе, Саша, славу, удивляемся и восхищаемся твоей деятельностью, но мне хочется, чтобы читатели знали, что за всеми нашими поздравлениями и добрыми словами стоит понимание многих лет твоей энергической, если так можно сказать, жизни, жизни, которая часто была, ох, несладкой, как я понимаю. Часто тебе приходилось быть одиноким ковбоем, идти вперед, не обращая внимания на непонимание и хулу.

**В.Н.** В общем мы поздравляем тебя и себя с тем, что есть “Третья волна” и ее “Стрелец”.

**А.Г.** Спасибо, друзья мои! Думаю, что после таких ваших теплых слов я должен, даже обязан найти проклятое золото на издание ваших собраний сочинений.

**Г.С.** Мы желаем тебе оставаться самим собой.

**А.Г.** А я говорю вам: каргат ихави, гагимарджос, ицоцхли, что в переводе с грузинского означает что-то вроде — всего хорошего, живите вечно, будьте при этом здоровы.



## ПАМЯТИ ЛЬВА ОЗЕРОВА (1914—1996)

...Мы тогда были студентами. Он — в ИФЛИ, я — в университете. Нас познакомила в 36-м восемнадцатилетняя Таня Литвинова. Он, бездомный киевлянин, нередко жил у меня. Спал на стареньком диване, наискосок от моей тахты — по ту сторону обеденного стола — плоскогорного перевала, над которым ночами сгушался, вместе с папиросным дымом, туман наших горизонтальных споров во тьме, пока из соседней комнаты не раздавался голос моего брата-близнеца — женатого пролетария:

— Ребята, черт бы вас побрал, мне в шесть вставать.

Мы с Лево́й Озеровым замолкали — по крайней мере до утра. Заодно туману давался срок рассеяться. Но он не рассеивался. Да и могли ли рассеяться, если очередной спор метался между истолкованием темной метафоры Пастернака и обсуждением чего-то густо философического...

Помню эпиграмму на Леву и на себя, конечно:

Зачем ты так спешил в тумане?  
Крутом была еще зима.  
Как в темном зале на экране  
Навстречу двигались дома.  
С февральских крыш сосульки висли.  
И лишь туман тебе прощал,  
Что приблизительные мысли  
Ты в тайны мира превращал.

...В незабываемые те времена студенческого тумана Лева игрывал в моей — отцовской — комнате красивейший из скрипичных концертов недобросовестного аббата-минорита Вивальди, в то время еще не числившегося у нас среди очевидных гениев музыки. А я пытался вторить скрипке на рыжем родительском пианино, но из этого ничего хорошего не получалось, потому что моего неумения хватало лишь на брэнчанье по слуху.

В августе 38-го мы каникуляричили в его родном Киеве. И в доказательство точности пастернаковской “Баллады” все послушно сходилось — дрожали гаражи, автобазы и в слепых зарницах взблескивал для рифмы белой костью костел.

А потом на стареньком колесном пароходе мы плыли вразвалку по обмелевшему за лето Днепру до Херсона. И еще была Одесса, хранившая колорит Юго-Запада — Бабеля, Багрицкого, Катаева.

В заключение два слова об Одессе и Пастернаке. Мы тогда знать не знали, что своей родословной он уходил в недра пореформенной Одессы прошлого века, где дед его держал “заезжий двор с номерами” и где прошло все детство его отца — будущего академика живописи. Уж мы бы исходили молодыми ногами всю Южную Пальмиру в поисках хотя бы следов того заезжего двора! “Если б знать, если б знать...” — снова и снова повторяю я, чувствуя себя четвертой чеховской сестрой после ухода дивных постояльцев.

Даниил Данин  
(Из книги “Время стыда”)

## ТАЛАНТ

Есть такое официальное сочетание слов — “заслуженный деятель культуры”. Если отвлечься от официальности, то можно утверждать, что таким деятелем был Лев Озеров, и к каждому виду его деятельности обязателен эпитет “талантливый”: талантливый поэт и переводчик, талантливый исследователь творчества Батюшкова, Баратынского, Тютчева, Ахматовой, Пастернака, талантливый педагог, воспитавший не одно поколение студентов Литературного института, талантливый собеседник.

Я имею некоторое прикосновение к его работе об Анне Ахматовой. Он знал, что великий поэт изредка бывает у меня, и попросил, чтобы в одно из таких посещений я представил его Анне Андреевне, так как он пишет о ней статью. Вскоре это произошло, Анна Андреевна была у меня, я позвонил Озерову (мы жили в одном доме), Ахматова и Озеров побеседовали за рюмкой водки, и в печати появилась статья, — первая статья после всегосударственной ждановской травли, — первое серьезное в те трудные годы исследование поэзии

Ахматовой. Анна Андреевна была довольна статьей, она мне об этом сказала — и не только мне.

Хочу рассказать об одном примечательном эпизоде. В начале 60-х годов в Ташкенте в теплые дни происходили одновременно два торжественных события: конгресс писателей стран Азии и Африки и празднование юбилея Алишера Навои. Участники торжеств выступали перед огромной толпой на площади у оперного театра. Я прочел отрывок перевода одной из поэм Навои. Когда я сошел с трибуны, ко мне подошли две девушки, узбечка и русская, и спросили у меня, знаком ли я с поэтом Озеровым. Услышав мой утвердительный ответ, девушки обрадовались и тут же, вырвав листок из тетрадки, написали Озерову несколько восторженных слов. Вернувшись в Москву, я передал эту записку Льву Адольфовичу. Он был взволнован.

Я всегда внимательно прислушивался к его оценкам того или иного моего стихотворения. Мне кажется, что и он считался с моим мнением о его стихах, когда он мне их читал.

Семен Липкин

\*\*\*

...Невыразимо горько, что Льва Адольфовича Озерова нет с нами. Все мы говорим о невосполнимости, о незаменимости... Потребность общения с ним ощущаем на каждом шагу... И все же, все же...

Голос его вновь звучит в этих стенах, в этом доме, таком гостеприимном, в "Русском Лицее", который он так любил. И если бы и не было чудо-техники XX века — звукозаписи — все равно мы бы слышали его голос: он остался в нашей памяти, он звучит в душе каждого из нас — удивительно, но это так... Самое нематериальное, звук — материализуется, живет...

Живет звук, живет слово... Слово поэта, ученого, философа, историка, психолога, улавливающего состояние души человеческой, музыканта, постигшего тайну гармонии... Помните?

В семнадцатом веке я был переписчиком нот.  
Я рано почувствовал горький обычай длиннот.  
И все норовил оборвать, сократить и пресечь  
Витийственно-важную пустопорожнюю речь...

С нами остался художник, сочетающий в своей поэзии и мелодию, и живопись, и графику... Но прежде всего — Поэт, поэт во всем, владеющий тайнами всех искусств, Учитель, даривший нам безоглядно и щедро свои силы, свое время, свои знания и талант...

Как не хватает нам Льва Адольфовича — его совета, оценки, помощи, одобрения, строгости, шутки, шаржа, просто — присутствия!.. Мы, выступающие сегодня, люди разного возраста, разных вкусов, разно-

го темперамента, повторяемся, признаваясь в любви к Льву Озерову, говоря о его уникальности, абсолютном слухе, о чувстве Слова, о том, что Лев Озеров — это целый Университет, что он Божьей милостью Артист в изначальном корневом значении этого слова, человек, обреченный на искусство раз и навсегда...

Я повторяюсь, называя его титаном Возрождения, говоря о том, что в его стихах живут красота и гармония, любовная лирика и элегия (у греков — это две музы, Евтерпа и Эрато!), высокая философия и история (муза Клио), мелодия и живопись — и гравюра и светотень (вспомним названия его книг!), в них соседствуют альт, арфа и флейта... И впрямь — он любимец муз, всех девяти, которые, как известно, были дочерьми богини памяти Мнемозины. Лев Адольфович — органический наследник и продолжатель культуры предшествующей. Культура исключает беспамятство, она связует времена и племена воедино. И в стихах Льва Озерова продолжает жить мелодия, гармония, жить, как и тогда — при музах...

Я устарел. Но — оказался новым.  
Новей, чем джаз, куда новей, чем твист.  
Нет, не зову к лаптям или панёвам,  
Хочу, чтоб голос был правдив и чист.  
Звучанием скрипичным и альтовым  
Живет во мне старинный симфонист...

...Горькое утешение, но все же утешение в том, что мне не раз доводилось говорить все это Льву Адольфовичу лично, вслух и прилюдно...

\*\*\*

Я заброшен в эту эпоху,  
В эту волглую полутьму,  
В этот край, неугодный Богу  
И подвластный ему одному.  
Я заброшен судьбой или роком,  
То ли другом, то ли врагом,  
Между Западом и Востоком,  
Между святостью и грехом.  
Не в свою родившийся пору  
И почтивший за благо нужду...

Эти горькие строки появились в “Новом мире” в июле, когда автора уже не стало... Бесконечно печально что Льва Адольфовича нет с нами... Но, думаю, что мы все, любившие его, должны быть благодарны судьбе, что “заброшены в эту эпоху”, в ту же эпоху, что и Лев Озеров, и что дороги наши пересеклись и в пространстве, и во времени... И какое счастье, что Лев Озеров был, есть — и будет!..

Елена Николаевская

## ПРОЛОГ К ВОСПОМИНАНИЯМ

Мне и самому трудно в это поверить, но наше знакомство состоялось в бесконечно далекие времена — не то в двадцатом, не то в двадцать первом году. Нас объединил зеленый киевский двор. Помню ровесника в белой панамке, таких же полотняных штанишках и выдавших виды сандаликах. Первое общение сразу же перешло во взаимную приязнь, которая длилась — опять же, страшно сказать! — три четверти века, до последних дней профессора Озерова. И ни разу ничем не была омрачена.

Ссорились мы разве что в раннем детстве, и то ненадолго, когда, играя, затевали озорную потасовку, усердно вываливая друг друга в песке или вчерашней дождевой луже.

Позднее мы росли на разных улицах, учились в разных школах, виделись реже, но близкое приятельство продолжалось.

Однажды я пришел к Левушке на Тарасовскую. Стол его был завален школьными тетрадями, нотами, — мой друг учился игре на скрипке, — карандашными рисунками, — имелись у него и задатки графика. Вдруг среди всего этого я увидел листок в косую линейку, на котором каллиграфическим почерком были записаны стихотворные строки, кое-где аккуратно исправленные.

Я, к тому времени уже печатавший свои первые опусы в журнале “Пионер” за подписью “Деткор Яша Хелемский”, воскликнул:

— Ого ! Ты тоже сочиняешь вирши?

В ответ хозяин комнаты сел на подоконник первогоэтажного распахнутого окна, затушеванного вьюнком, взял в руки тетрадь и начал читать стихи. Выслушав его, я тут же сказал:

— Завтра идем к Николаю Ушакову.

Деле в том, что я только что начал посещать студию, которой руководил наш земляк, уже знаменитый.

На другой день я привел Леву на очередной семинар, и Николай Николаевич стал нашим первым поэтическим наставником, верность которому мы сохранили на всю жизнь.

(Кстати, параллельный семинар будущих прозаиков посещал Вика Некрасов, к которому мы относились уважительно — он был старше и уже учился в строительном институте.)

Между тем мы с Левою обменивались книгами, запоем читали творения самых разных поэтов — от “Облака в штанах” до “Юго-Запада”, от “Орды” и “Браги” до “Повести о рыжем Мотеле”. Вдруг всё заслонили два номера “Красной нови”, где были напечатаны пастернаковские циклы из будущего “Второго рождения”. Стихи эти поразили нас. К тому же в них то и дело воспевался наш Киев, “который в зной лучей обернут”. Мы завороченно повторяли: “Соседней Рейтарской квартал... Ирпень — это память о людях и лете... Недвижный Днепр, ночной Подол”. А вскоре раздобыли “Сестру мою — жизнь” и навсегда заболели Пастернаком.

В Леве пробудились также исследовательские наклонности. Свой первый доклад о творчестве Бориса Леонидовича он прочитал в студии Ушакова еще в тридцать третьем.

А потом — Москва. Я работал в “Пионерской правде”, поступил во ВРЛУ — был такой вечерний предшественник нынешнего Литинститута. Лева приняла в ИФЛИ. Литература становилась нашей профессией.

Дальнейший путь Озерова известен. Одну из моих книжных полок почти целиком занимают его тома и томики с дарственными надписями. На той же полке посмертные издания Пастернака, составленные и прокомментированные Львом Адольфовичем. Это была начальная в нашем литературоведении, достаточно смелая попытка научно истолковать стихотворное наследие поэта. В свое время Озеров многое почерпнул из личных встреч с живым классиком. Это несомненно способствовало успеху его углубленного труда. Благосклонностью одаряли нашего друга и другие корифеи стиха. У меня сохранились пригласительные билеты в Дом актера, где звучала “Устная библиотека поэта”, созданная Львом Озеровым. Один из первых вечеров посетила Ахматова. А один из последних — уже в начале девяностых — был посвящен памяти Пастернака. На билете указано — выпуск 206-й. Этот вечер, как и все предыдущие, вел Лев Адольфович. Так шесть десятилетий спустя после юношеского доклада на ушаковском семинаре, он отдал зрелую дань творчеству великого современника, закольцевав давнее увлечение. Двести шесть выпусков! Это — своеобразный подвиг. И если бы не пожар, уничтоживший Дом актера, “Устная библиотека” длилась бы еще...

Что же до нашей дружбы, насчитывающей три четверти века, воспоминаний хватило бы на объемистую книгу. У Озерова было много доброжелателей, учеников, единомышленников. Думаю, что каждый из них может сказать свое слово о нем.

А сейчас мне остается добавить лишь несколько строк. Боль утраты еще не унялась. Но дни поминок миновали. За последние месяцы вышло четыре новые книги Озерова. Тираж их невелик, но они существуют. Появились стихи и проза поэта в периодике. Мы вновь и вновь встречаемся с нашим общим другом. Он оживает в каждой публикации. Литературное наследие его весомо. На счету его много добрых дел. Позади — многолетнее прошлое мастера, безупречное и плодоносное. Будем надеяться, что будущее Льва Озерова окажется столь же протяженным и достойным.

**Яков Хелемский**

**(Из выступлений на вечере памяти**

**Льва Озерова в Литературном музее 25 ноября 1996 г.)**

# СОДЕРЖАНИЕ

|                   |   |
|-------------------|---|
| От редакции ..... | 3 |
|-------------------|---|

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| <i>Александр Кушнер</i>                            |     |
| Новые стихи .....                                  | 4   |
| <i>Сергей Юрьенен</i>                              |     |
| Дочь генерального секретаря. Глава из романа ..... | 6   |
| <i>Елена Аксельрод</i>                             |     |
| Стихотворения последних лет .....                  | 24  |
| <i>Борис Фальков</i>                               |     |
| Два рассказа .....                                 | 27  |
| <i>Владимир Аристов</i>                            |     |
| Прототипы эпохи. Стихи .....                       | 43  |
| <i>Людмила Петрушевская</i>                        |     |
| Королева Лир. Рассказ .....                        | 48  |
| <i>Владимир Строчков</i>                           |     |
| Между Добром и Злом. Стихи .....                   | 66  |
| <i>Анатолий Кудрявицкий</i>                        |     |
| Криптомерон. Новеллы .....                         | 71  |
| <i>Наталья Ванханен</i>                            |     |
| Планета все кружится... Стихи .....                | 88  |
| <i>Рада Полищук</i>                                |     |
| Возможны варианты. Повесть .....                   | 92  |
| <i>Галина Гордеева</i>                             |     |
| В перевернутой высоте. Стихи .....                 | 120 |
| <i>Наталья Семенина</i>                            |     |
| Кое-что о страхах. Рассказ .....                   | 125 |
| <i>Александр Макаров-Кротков</i>                   |     |
| Всего понемногу. Стихи .....                       | 132 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <i>Лариса Шульман</i>                         |     |
| Чего уж там... Отрывки из романа.....         | 135 |
| <i>Ры Никонова-Таршис</i>                     |     |
| Избранные неинтеграционные стихотворения..... | 145 |
| <i>Виктор Санчук</i>                          |     |
| Обстоятельства уточняются. Рассказ.....       | 150 |
| <i>Сергей Бирюков</i>                         |     |
| Общее языкознание. Стихи.....                 | 159 |
| <i>Валерий Чаава</i>                          |     |
| Смысл жизни. Рассказ .....                    | 163 |
| <i>Сергей Нещеретов</i>                       |     |
| В словаре блюд. Стихи.....                    | 168 |
| <i>Ольга Постникова</i>                       |     |
| Диссертация. Рассказ.....                     | 172 |
| <i>Сергей Тиханов</i>                         |     |
| Тетрадка. Прозаические миниатюры.....         | 176 |

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <i>Михаил Зенкевич</i>               |     |
| Между двумя сфинксами. Рассказ ..... | 178 |

## НЕРУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <i>Шамай Голан</i>                                        |     |
| Возвращение. Рассказ. Перевод с иврита Ефраима Бауха..... | 199 |

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <i>Марк Липовецкий</i>                      |     |
| “Театр жестокости” Владимира Сорокина ..... | 212 |
| <i>Сергей Бирюков</i>                       |     |
| “Скликая дикие глаголы... ..                | 238 |

## ЭССЕ

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Лев Аннинский</i>                                          |     |
| Русский человек на rendez-vous .....                          | 241 |
| <i>Евгений Сливкин</i>                                        |     |
| Тарзан из рода обезьян как парадигма русского футуризма ..... | 259 |

## ВОСПОМИНАНИЯ

*Генрих Сапгир*

Встречи с Эрнстом Неизвестным ..... 264

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

*Александр Глезер*

Центр Помпиду: “Лицом к истории” ..... 268

*Александр Глезер*

Изошренный примитивизм и космический сюрреализм.

В Санкт-Петербурге и в Москве ..... 272

*Оскар Рабин*

Три жизни. Воспоминания ..... 275

*Александр Глезер*

Как это было. Воспоминания ..... 292

*Александр Давыдов*

“Незнакомая Россия” ..... 299

*Александр Глезер*

Третий русский музей ..... 301

## НАШ ЮБИЛЕЙ

“Третьей волне” — двадцать лет ..... 303

## ИНТЕРВЬЮ

Двадцать лет спустя. Беседа Генриха Сапгира, Валерии

Нарбиковой и Александра Глезера ..... 304

Памяти Льва Озерова ..... 312

**Издательством “Третья волна”  
присуждены и вручены премии  
за публикации в альманахе “Стрелец”  
в 1996 году**

**Премия имени Владимира Набокова  
Валерии Нарбиковой  
за роман “Инициалы”**

**Премия имени Александра Солженицина  
Феликсу Розинеру  
за повесть “Медведь Великий”**

**Премия имени Осипа Мандельштама  
Юрию Кублановскому  
за подборку “Четыре стихотворения”**

**и  
Евгению Рейну  
за поэму “Бабий яр”**

**Премия имени Велимира Хлебникова  
Генриху Сапгиру  
за подборку стихов “Гротески-95”**

**Премия имени Юрия Тынянова  
Льву Аннинскому  
за эссе “Рыжий ворон”**

*Александр Глезер и Оскар Рабин*



**Москва. Клуб „Дружба“, 1967**

*Оскар Рабин, Георгий Костаки, и Леонид Нутович*

